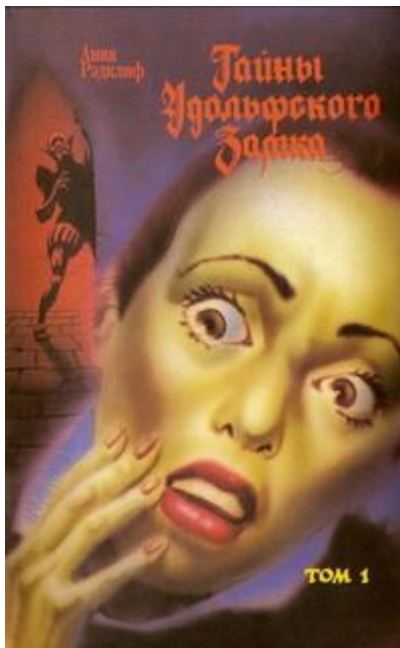


Анна Рэдклиф
Тайны Удольфского замка. Том 1



&SpellCheck Татьяна Ситникова
«Тайны Удольфского замка. Том 1»: Амех; Москва; 1993
ISBN 5-85689-007-8

Аннотация

Шедевр знаменитой английской писательницы Анны Рэдклиф «Тайны Удольфского замка» относится к жанру готических романов тайн и ужасов и вот уже более века пользуется неизменной популярностью среди широкого круга читателей.

Анна Рэдклиф
Тайны Удольфского замка
Том 1

АННА РЭДКЛИФ

Анне Рэдклиф принадлежит выдающееся место среди знаменитых романисток, и вся европейская критика с удивительным единодушием признает ее выдающееся значение в литературе. Романы ее долгое время пользовались обширной популярностью; хотя теперь она известна только по имени, но в течение семи лет она сияла яркой звездой на литературном небосклоне и затем быстро исчезла с горизонта. Однако влияние этой писательницы, пронесшейся как блестящий метеор, можно проследить не только в английской литературе, но во всей европейской почти до нынешнего времени. Г-жа Рэдклиф является главой целой школы романистов; в числе ее почитателей и последователей было немало выдающихся писателей. Имя ее часто упоминается теперь вскользь, неопределенным образом — вот почему не мешает дать публике случай познакомиться с одним из ее сочинений, пользовавшихся самой громкой известностью. Хотя Анна Рэдклиф по рождению принадлежит Лондону, но отец ее Вильям Уард был дворянин из Лейчестера и вел дела в Гольборне, где и увидела свет будущая романистка — 9 июля 1764 года. Семья ее была довольно знатного происхождения, но она в такой же степени была обязана полученному в детстве воспитанию, сколько влиянию наследственности. Воспитание ее имело практический

характер. С домашним хозяйством она, пожалуй, больше была знакома, чем с классической литературой, и в конце жизни первым ее наслаждением было заниматься своим хозяйством. Как видно из ее сочинений, она отличалась темпераментом до крайности романтическим, страстно любила все великое и прекрасное в природе и, кроме того, имела склонность к таинственному и сверхъестественному. Она много читала, большей частью стихотворения и романы; сочинения Грея, Томсона и Руссо находили отзывчивую струну в ее душе. В доме своей тетки, г-жи Бентли, она встречалась со многими знаменитостями, но ее чрезвычайная застенчивость — она всегда больше любила слушать, чем участвовать в разговоре — мешала этим выдающимся людям сразу замечать ее даровитость.

Двадцати трех лет она вышла замуж за Вильяма Рэдклифа, впоследствии издателя «Английской Хроники». Свадьба была отпразднована в Батсе в 1788 году, и г-жа Рэдклиф, сразу попав в лондонскую литературную среду, начала писать, чтобы чем-нибудь наполнить часы досуга. Тогда-то и открылся ее талант, и вот после первой удачной попытки ее богатая фантазия полилась неудержимым потоком, создавая увлекательные романы, установившие ее литературную славу. Вторая ее книга «Роман в Сицилии», появившаяся в 1790 году, привела в восторг всю читающую публику, обнаружив в авторе блестящее описательное дарование. Ее волшебное перо рисовало дивные картины природы, а прекрасный слог ее романов доставил ей почетное место среди поэтов-прозаиков. «Роман в лесу», вышедший в 1791 году, окончательно установил ее известность. Поразительная свежесть ее творчества, живость ее фантазии очаровывали читающую публику; слава ее так возросла, что за ее «Тайны Удольфского замка», четвертый и самый популярный из ее романов, издатели заплатили ей 500 ф.стерл.

Заглавие книги было выбрано удачно: оно привлекало внимание и возбуждало любопытство. Рассказ начинается с описания идиллических сцен в Гасконии и, правда, грешит кое-какими анахронизмами, так, напр., сценарий XVIII столетия применяется к XV столетию, но подобные промахи простительны ввиду обаятельности картины, развертывающейся перед взорами читателя. Может ли быть что-нибудь прелестнее безыскусственной простоты жизни в семье Сент Обера, живописных окрестностей их дома, зеленых рощ и пастбищ, благоуханного воздуха, кристального потока, низвергающегося с вершин Пиренеев и протекающего вдоль лесной тропинки по романтической долине. Какой резкий контраст с шумной сутолокой света представляет ясная, спокойная жизнь Сент Обера; обыкновенно он проводил летние вечера в кругу семьи, под величественным шатром платана. «Он любил тот тихий час, когда угасают последние лучи света, когда звезды одна за другой трепетно загораются в эфире, отражаясь в темном зеркале вод — тот час, который сильнее всякого другого навеивает кроткую меланхолию и часто возносит душу до вершин созерцания. Иногда глубокие сумерки заставляли Сент Обера под любимым платаном, всходила луна и проливала кроткий свет сквозь листву; часто ему приносили под дерево его скромный ужин, состоявший из молока или плодов. И вот, в тишине ночной раздавалась вдруг чарующая песня соловья, пробуждая в сердце безротчетную грусть».

Эта картина дышит поэзией и мечтательностью; из нее видно, что Анна Рэдклиф была сентименталистка, как Маками, Стерн и Руссо; этого факта не следует упускать из виду, что в романе «Тайны Удольфского замка» она является прямой последовательницей и преемницей авторов «Замка Отранто» — Вальплоля, «Старого Английского барона» — Ривса и других авторов «страшных» рассказов. Склонность Анны Рэдклиф ко всему мрачному, ужас наводящему встречает противовес в ее страсти к романтическим местоположениям и к тонкому изяществу. Она резко подчеркивает различие между утонченными наслаждениями искусством, литературой и светской пошлостью в описании посещения Кенелями Сент Обера. Они появляются на сцену с шумной вульгарностью пустых светских щеголей, в ландо, запряженном парой взмысленных коней! Ландо в 1584 году — здесь видно некоторое пренебрежение г-жи Рэдклиф к исторической точности; но вот после отъезда Кенелей описывается, с каким наслаждением Сент Обер вернулся к своим книгам и изящным занятиям; автор окружает свою героиню живописной обстановкой. После

того как смерть вносит расстройство в мирную жизнь семьи Сент Обера, повествуется о путешествии в Пиренеях; это доставляет автору случай щегольнуть своим блестящим описательским дарованием. Картины ее напоминают живопись Сальватора Розы — «дикие скалы, местами обожженные молнией, местами поросшие зеленью плюща, громоздятся над живописными долинами и чудными уголками, вид которых смягчает душу, как звуки тихой музыки». Вслед затем в описании крестьянской пляски по случаю сбора винограда опять сквозит склонность писательницы к сверхъестественному. В то время как в лесу раздаются веселые крики поселян, внезапно сердца их поражены ужасом: раздаются звуки таинственной музыки, сопровождающей голос столь чарующий и нежный, что он представляется им неземным. Звуки, то усиливаясь, то слабея, доносятся бризом по озаренному луной лесу к хижине, где лежит умирающий Сент Обер: он прислушивается и с пророческой прозорливостью решает, что в этих звуках нет ничего сверхъестественного. Но крестьяне, менее привычные к музыке Италии, поражены суеверным страхом. По их мнению, эта мелодия предвещает беду, и в данном случае предчувствия их оправдываются кончиной Сент Обера.

От трогательных сцен г-жа Рэдклиф переходит к описанию соблазнительных картин Венеции, города островов, дворцов и башен. Она рисует пышное, сластолюбивое общество, искусной рукой изображает все моменты венецианской жизни — и «карнавал», и ночные пиры при лунном свете, и тихие сумерки и другие сцены под небесами жаркого юга. Но как ни хороши некоторые из этих описаний, они все-таки значительно уступают дивной картине, рисующей замок Удольфо при первом взгляде на него Эмилии: эти страницы восхищали Вальтера Скотта и многих других. Приводим здесь это место как образчик стиля г-жи Рэдклиф; подобно всем другим ее описаниям фантастических сцен, оно отличается какой-то мистической таинственностью и оставляет в читателе впечатление о замке, как о каменной громаде гигантских размеров.

«К вечеру дорога стала спускаться в глубокую лощину. Ее обступали горы, щетинистые кручи которых казались почти недоступными. На востоке открывалась расщелина, и оттуда виднелись Апеннины во всей их суровой неприступности: длинная перспектива вершин, громоздящихся одна над другою и одетых по бокам соснами, представляла величественную картину, какой Эмилия еще никогда не видывала в жизни. Солнце как раз садилось за вершины гор, по которым спускались путники и которые бросали длинные тени в долину; косые лучи солнца, прорываясь сквозь щель в скалах, озаряли желтым сиянием макушки лесов на противоположных крутизнах и со всей силой ударяли в башни и зубцы замка, простиравшего свои пены по самому краю утеса. Величавость этих ярко освещенных зданий еще усиливалась резкой тенью, сгустившейся внизу долины. Эмилия с грустью и страхом глядела на замок, поняв из слов Монтони, что это и есть цель их путешествия; хотя он в эту минуту освещался заходящим солнцем, но готический стиль его сооружения и серые стены, покрытые плесенью, придавали ему мрачный, угрюмый вид. Пока она рассматривала замок, свет погас на его стенах, оставляя за собой холодный фиолетовый оттенок, который все сгущался, по мере того как испарения ползли вверх по горе, тогда как наверху зубцы все еще были залиты ярким сиянием. Но вот и там лучи скоро погасли, все здание погрузилось в торжественную вечернюю тьму. Безмолвное, одинокое, величавое, оно как бы царило над всем окружающим и сердито хмурилось на всякого, кто осмелился бы подойти к нему».

Главный интерес романа сосредоточен вокруг Эмилии Сент Обер и ее опекуни, г-жи Шерон, сестры Сент Обера, попечению которой была поручена Эмилия. Героиня, потерявшая своих родителей, вдруг попала из своей семьи, которая вела тихий, мечтательный образ жизни, в суровую школу жизни. Многие из портретов Анны Рэдклиф нарисованы искусной рукой и полны жизненной правды. Г-жа Шерон, женщина грубая и вульгарная, обрисована такими же резкими чертами, как например Скедони в романе «Итальянец», одном из самых блестящих произведений того же автора. При всем своем знании света г-жа Шерон делается жертвой козней Монтони, сомнительной личности,

владеющей дворцом в Венеции и замком в Апеннинах. После брака Монтони и ее тетки Эмилия, потерпевшая неудачу в своей любви к Валанкуру, сопровождает тетку в Венецию. Там-то впервые и обнаруживается настоящий характер Монтони. Он тщетно старается заставить жену отдать ему свои имения и поощряет ухаживание графа Морано за Эмилией, но она отвергает его предложение. Далее действие переносится в Удольфский замок, где и начинается самая трагедия.

Г-жа Рэдклиф, следуя своему обычному методу, подводит нас к каждой трагической развязке целым рядом картин, сменяющихся как в панораме, и тщательно выработанных мелочей, которыми она ловко пользуется, чтобы прикрыть те реальные ужасы, которые быстро чередуются друг за другом в замке Удольфо.

Удольфский замок — вместилище всяких ужасов; портрет под покрывалом, замогильный голос, смущающий гостей Монтони, пожар в Сент Эльмо, таинственный посетитель на укреплениях — все это скопление ужасов способно устроить самое мужественное сердце. Содрогание вызывает также все пережитое Эмилией в ее уединенной комнате, недалеко от таинственного покоя, где водятся привидения. Даже после того как ей удалось вырваться из страшного замка, где г-жа Шерон покончила жизнь, ее продолжают преследовать демоны, созданные фантазией г-жи Рэдклиф. В замке Леблан есть также ряд комнат, посещаемых духами; страшный черный саван лежит на постели в комнате, где сторожил Людовико.

Это место всегда считалось образцом фантастического вымысла в духе сверхъестественного. Но не следует предполагать, что пользование этими ужасами составляет главную черту «Удольфских тайн» или других романов Анны Рэдклиф. По справедливому замечанию одного из ее издателей, «ни в чем не выражаются так ясно ее достоинства, как в разумном и смелом пользовании этими наводящими ужас эффектами. Тихий стон, вырывающийся из-под сводов; таинственный голос, раздающийся среди гостей, след крови на лестнице замка; странная музыка, несущаяся среди озаренного луною леса — все это действует на воображение сильнее, чем могли бы подействовать какие-нибудь неистовые заклинания и кровавая резня».

Во всех романах Анны Рэдклиф сквозит ее страсть к природе и к живописным ландшафтам, точно так же как и к эффектам, наводящим ужас. Любовь ее к природе отражается и в ее героине, но в ее описаниях нет той кропотливой мелочности, какая отличает работу других писателей. Она любит широкие взмахи кисти и, как справедливо указал сэр Вальтер Скотт, она первая ввела поэзию в английский роман; в этом отношении интересно проследить развитие художественных описаний природы после нее, в позднейшей литературе.

В то время как печатались «Тайны Удольфского замка», г-жа Рэдклиф со своим супругом путешествовала по Европе. Их поездка, однако, неожиданно оборвалась в Фрейбурге, где они испытали такие неприятности, что решили вернуться в Англию. Таким образом, вопреки общераспространенному мнению, ее картинные описания природы не были результатом личных наблюдений; надо признаться, что они не передают местного колорита и во многих случаях сбили бы с толку туриста, который попробовал бы посетить которое-нибудь из описанных ею прелестных местечек. По возвращении в Англию она посетила округ озер и в 1795 году издала свои «Путевые записки». По ним видно, как искренне она наслаждается горными ущельями, густым лесом, подвижными тенями, дивными небесами и роскошными солнечными закатами. Как превосходно описывает она сельские красоты Англии, с какой любовью говорит о ее пышных рощах и зеленых лужайках, ее деревнях и аристократических замках, осененных вековыми деревьями. Следующим ее произведением и, в сущности, последним был «Итальянец», в котором она описывает страшные злодеяния разбойников и жестокие пытки инквизиции. За эту книгу, появившуюся в 1797 году, г-жа Рэдклиф получила 800 ф.ст.; роман этот захватил публику приступом. В том же году, 15 августа, в театре Гей Маркета была представлена драма, заимствованная Боаденом из этого романа, а аббат Мореле перевел ее на французский язык.

Но после семилетней усердной деятельности и рука автора стала заметно слабеть; хотя около этого времени и был написан ею еще роман «Гастон де Блондель», но она сама признавала его недостойным своего таланта, и он был издан лишь после ее смерти.

Все ее романы отличаются большим достоинством — оригинальностью. Она пренебрегала шаблонными приемами; искусное развитие ею фабулы поддерживает до конца интерес в читателе. Один английский критик называет ее волшебницей, а Шенье в своих статьях об английских романистах ставит ее чуть не наряду с Шекспиром.

После смерти ее отца в 1798 и матери в 1800 году Анна Рэдклиф перестала писать для печати. Она наследовала крупное состояние, несколько поместьев, фермы и т.п. в окрестностях Лейчестера. Вероятно, она чувствовала, что уже не в силах написать ничего лучшего, но можно предполагать также, что ее останавливали от дальнейшего писательства многочисленные плохие подражания ее романам. Для такой чуткой натуры, как у г-жи Рэдклиф, появление книги вроде «Монаха» Льюиса, должно было явиться ударом. Чистота и свежесть ее собственных романов доставили им огромную популярность, и на нее должна была болезненно подействовать такая безвкусная подражательность. Все свободное время она посвящала длинным поездкам в экипаже со своим мужем; рассказы об этих странствиях изобилуют прекрасными описаниями и показывают, как искренне она упивалась красотами природы. Она много раз посещала Дербишайр и Лейчестер, где находились ее поместья, нередко жила в своем доме в Батсе, который очень любила.

Анна Рэдклиф была среднего роста, необыкновенно пропорционального сложения, с миловидными чертами лица и прекрасным цветом кожи.

Ее внешность отличалась вообще редким изяществом, а блестящие глаза придавали ее лицу выражение живости, составлявшей странный контраст с ее степенными манерами в присутствии чужих, так как она была чрезвычайно застенчива. В течение многих лет она страдала астмой и в начале 1823 года заболела воспалением легких. Едва оправившись, она опять слегла, на этот раз заболев воспалением мозговых оболочек. Эта болезнь и свела ее в могилу 7 февраля 1823 года. Ее похоронили в часовне в Базуатере, и насколько известно, не существует даже памятника над ее могилой, хотя она была одной из самых даровитых писательниц Англии.

В русской литературе романы Анны Рэдклиф и переводились, и вызывали множество подражаний. В каталогах под именем Анны Рэдклиф можно найти больше десятка романов. «Тайны Удольфского замка» вышли в Москве в 1802 году под именем «Таинства Удольфские», в 1811 и 1816 гг. под именем «Таинства Черной Башни» и проч.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Эмилия Сент Обер.

Г. Сент Обер, отец ее, дворянин, удалившийся от света и живущий в Гасконии; он умирает в начале романа, оставив Эмилию сиротой.

Г. и Г-жа Кенель, чета жизнерадостных помещиков; шурины и невестка Сент Обера.

Г-жа Шерон, сестра Сент Обера и опекунша Эмилии; впоследствии выходит замуж за Монтони.

Г-жа Клерваль, пожилая вдова в Тулузе.

Синьор Монтони, искатель приключений, итальянец, владелец Удольфского замка; женится на г-же Шерон и замучивает ее до смерти; преследует Эмилию.

Верецци, Бертолини и др. его сообщники.

Граф Морано, итальянский дворянин, влюбленный в Эмилию, враг Монтони.

Бернардини, Бертран, Уго, Себастьян, Роберто, кондотье-ры, помощники Монтони в Удольфском замке.

Старик Карло и Катерина, слуги в Удольфском замке.

Аннета, горничная г-жи Монтони и сообщница Эмилии при их бегстве.

Людовико, жених Аннеты.

Шевалье Валанкур, влюбленный в Эмилию.
Месье Дюпон, француз, пленный в Удольфском замке, влюбленный в Эмилию, которую спасает.
Граф и Графиня Вильфор, помещики в Лангедоке.
Анри и Бланш, их дети.
Доротея, старая служанка Вильфоров.

ГЛАВНЫЕ МЕСТА ДЕЙСТВИЯ

Замок Сент Обера на берегах Гаронны, в Гаскони, поместье г.Кенеля; Венеция; Удольфский замок в Апеннинах; замок Вильфора в Лангедоке.

Время — 1584 год. Исторические и географические данные большей частью вымышленные.

ГЛАВА I

*... Очаг домашний!
Приют любви и радости и изобилья!
Взаимной помощью и общим счастьем нуждаясь,
Там сходятся друзья и родственники дорогие!*
Томсон.

На живописных берегах Гаронны, в провинции Гаскони, в 1584 году стоял замок, принадлежавший дворянину Сент Оберу. Из окон замка открывался вид на равнины Гиенны и Гаскони, расстилавшиеся вдоль реки, пестрея виноградниками, рощами и плантациями оливок. К югу вид замыкался величественными Пиренеями, грозные вершины которых, то скрываясь за облаками, то сверкая на солнце сквозь голубоватую дымку воздуха, местами поросли мрачными сосновыми лесами, спускавшимися до самой подошвы. Внизу нежная зелень пастбищ и рощ составляла контраст с грозными пропастями, и после суровых утесов глаз с отрадой отдыхал на стадах, лугах и скромных деревенских хижинах. К северу и востоку равнины Гиенны и Лангедока терялись в туманной дали; на западе Гасконь омывалась водами Бискайского залива.

Владелец замка Сент Обер любил бродить с женой и дочерью по берегам реки и прислушиваться к журчанию ее струй. Когда-то он вел совершенно иной образ жизни, далекий от сельской простоты, и погружался с головою в наслаждения суетного света, но суровый опыт не оправдал того прекрасного образа человечества, какой он создал себе в ранней юности. Однако даже среди светских треволнений принципы его остались несокрушимыми, доброта сердца не иссякла; удалясь от света, он унес с собой чувства жалости, но не озлобления и отдался простой жизни на лоне природы, чистым наслаждениям литературой и утехам семейной жизни.

Он был потомком младшей линии знатной фамилии, и в его семье решено было, что недостаток богатства он восполнит или выгодной женитьбой, или отдавшись общественной деятельности. Но у Сент Обера было слишком развито чувство чести, чтобы осуществить эту надежду, и слишком мало честолюбия, чтобы принести в жертву то, что он считал счастьем, стяжанию богатства. После смерти отца он женился на прекрасной девушке хорошего рода, но не богатой. Расточительность или, вернее, сумасбродства старика Обера так расстроили его состояние, что сын счел нужным расстаться с частью родового имения и несколько лет спустя после женитьбы продал ее г.Кенелю, брату своей жены, а сам поселился в небольшой усадьбе в Гаскони, где делил свое время между семейными обязанностями, сокровищами науки и гениальными произведениями литературы.

К этому поместью он был привязан с детства. Еще мальчиком он часто ездил сюда со своими родителями; до сих пор у него осталось в памяти воспоминание о добродушном,

ласковом старике-крестьянине, управляющем имения, и о вкусном угощении из фруктов, меда и сливок. Зеленые луга, где он так часто реавился в избытке здоровья и юношеских сил, леса, под свежей сенью которых он задумчиво бродил юношей, отдаваясь меланхолии, впоследствии сделавшейся одной из главных особенностей его характера; горные тропинки, чудесная река, далекие равнины, казавшиеся беспредельными, как его молодые надежды, — обо всем этом Сент Обер не вспоминал иначе как с восторгом и сожалением. И вот наконец ему удалось осуществить свое давнишнее желание: удалиться в уединение.

Жилой дом в этом поместье был в то время не более как летняя дача, привлекательная своей уютной простотой и живописностью окружающей природы, но необходимо было произвести в доме значительные перестройки, чтобы приспособить его для житья целой семьи. Сент Обер чувствовал какую-то нежность к каждой части старого здания, памятного ему с детства, и не допускал, чтобы сдвинули с места хоть единый камень; так что новые пристройки были приспособлены к стилю старого здания и составили вместе с ним простое и уютное жилище. Г-жа Сент Обер, с присущим ей вкусом, постаралась о внутреннем убранстве дома, отличавшемся той же незатейливой, элегантною простотой в меблировке и отсутствием лишних украшений, — в этом убранстве сказывались характер и привычки обитателей дома.

Библиотека занимала западную часть здания и состояла из коллекции лучших сочинений на древних и новых языках. Эта комната выходила в рощу, расположенную на краю отлогой покатости, спускавшейся к реке; высокие деревья бросали в комнату мягкую, меланхолическую тень; из окон глаз мог охватить сквозь раскидистые ветви веселую, роскошную местность, расстилавшуюся к западу и замкнутую слева крутыми склонами Пиренеев. Рядом с библиотекой помещалась оранжерея, полная редких, прекрасных растений; одним из любимых развлечений Сент Обера было изучение ботаники: зачастую он проводил целые дни в горах, занимаясь своей любимой наукой. Иногда его сопровождали в этих маленьких экскурсиях г-жа Сент Обер, а часто и дочь его; забрав с собой плетеную корзинку для сбора растений и другую с холодной закуской, они бродили среди романтических и великолепных местностей и любовались дивными картинами природы. Устав бродить среди скал и взбираться на высоты, доступные разве только энтузиастам и где не видно было ни единого живого существа кроме ящериц, — они отыскивали какое-нибудь укромное убежище на склоне горы и там, под тенью раскидистой лиственницы или кедра, наслаждались своей незатейливой трапезой, запивая ее водой из прохладного ключа, протекающего в густой мураве, и вдыхая благоухание диких цветов и ароматных трав.

К восточной стене оранжереи примыкала комната, обращенная к равнинам Лангедока — Эмилия называла эту комнату своей, — там были собраны ее книги, рисунки, музыкальные инструменты, ее любимые птички и цветы. Там она занималась изящными искусствами, к которым влекли ее и вкус и природное дарование; в этих занятиях ею руководили советы и наставления отца и матери. Окна этой комнаты были особенно привлекательны; они доходили до самого пола и были обращены на лужайку, окружавшую дом. За рощами рябин, лимонных, пальмовых и миртовых деревьев открывался вид на далекие равнины, орошаемые Гаронной.

Часто по вечерам можно было видеть, как поселяне этого благословенного уголка, по окончании дневного труда, плясали группами на берегу реки. Их веселые песни, незатейливые танцы, своеобразные живописные наряды девушек придавали этим сценам характерный, чисто французский колорит.

С главного фасада замка, обращенного к югу, то есть в сторону величавых гор, помещались внизу большие сени и две прекрасные приемные; верхний этаж был отведен под спальни, кроме одной комнаты с балконом, где семья обыкновенно завтракала.

В саду, окружавшем замок, Сент Обер сделал много существенных преобразований по своему вкусу, но он так любил все старое, напоминавшее ему детство, что во многих случаях приносил вкус в жертву чувству. Возле дома росли две старые лиственницы, бросавшие на него тень и загораживавшие вид. Сент Обер часто говаривал, что он, по слабости своей,

готов был бы заплакать, если б кто срубил эти деревья. Вдобавок к лиственницам он насадил на этом месте рощицу из берез, сосен и рябин. На высокой террасе, образуемой крутым берегом реки, была плантация помаранцевых и лимонных деревьев, цвет и плоды которых распространяли по вечерам чудное благоухание. К ним прибавлено было еще несколько деревьев, других пород. Здесь, под широкой тенью платана, простиравшего свой роскошный шатер над берегом реки, Сент Обер любил сидеть тихими летними вечерами с женой и детьми, любуясь сквозь ветви на заходящее солнце и наблюдая, как его яркое сияние мало-помалу гаснет на горизонте, пока сумерки не окутают весь пейзаж однообразной серой тенью. Здесь он любил читать и беседовать с г-жой Сент Обер, или же играть с детьми, отдаваясь обаянию тех сладких чувств, которые неразлучны с простой жизнью и природой. Часто он говаривал со слезами счастья на глазах, что подобные минуты несравненно отраднее для него, чем время, проведенное среди шумных блестящих собраний, которыми так дорожит свет.

Сердце его было полно; он не мечтал ни о каком ином счастье — что редко встречается на свете; сознание того, что он живет по правде и совести, придавало ясность и спокойствие его душе и делало его способным ценить все окружающие его блага.

Часто глубокие сумерки заставляли его под сенью любимого платана. Ему нравился этот тихий час, когда угасают последние лучи света; когда звезды одна за другой загораются в эфире, отражаясь в темном зеркале вод; час, который навевает на душу задумчивую нежность и порою возносит ее на вершины созерцания. Он любил наблюдать, как всплывала луна, проливая кроткий свет сквозь листву; он так долго засиживался под платаном, что иногда ему подавали туда его скромный ужин, состоявший из плодов или молока. Вдруг среди тишины ночной раздавалась чарующая песня соловья и пробуждала в сердце безотчетную грусть.

В первый раз счастье этой семьи, удалившейся от света, было нарушено смертью двух маленьких сыновей Сент Обера. Из уважения к отчаянию жены Сент Обер старался не выказывать своего горя и переносил его философски, однако, в сущности, никакая философия не могла доставить ему утешения в такой потере. Теперь у него оставалась в живых единственная дочь; с тревожной нежностью следя за развитием ее детской души, он неусыпно старался бороться с теми чертами и наклонностями, которые впоследствии могли помешать ее счастью: с раннего возраста она проявляла необыкновенную чуткость души, теплоту привязанности и доброе сердце; но вместе с тем у нее замечалась чересчур тонкая чувствительность, и это могло вредно отозваться на ней. С годами эта чувствительность придавала оттенок грусти ее настроению, мягкость ее манерам и особую трогательную грацию ее красоте. Но Сент Обер, как человек разумный и дальновидный, не мог не понимать, что такие качества хотя и очаровательны, но опасны для их обладательницы. Поэтому он старался укрепить ее ум, приучить ее владеть собою, не поддаваться первому побуждению своего чувства и встречать разочарования с хладнокровной осмотрительностью. Научая ее не увлекаться первым своим впечатлением, приобретать ту стойкую твердость духа, которая одна может служить противовесом нашим страстям и поставить нас — насколько это совместимо с нашей натурой — выше обстоятельств, он сам учился выдержке, потому что часто ему приходилось смотреть с кажущимся равнодушием на слезы и борьбу, вызванные у нее его уроками.

Наружностью Эмилия походила на мать: та же изящная правильность линий, та же тонкость черт, те же голубые глаза, полные кроткой прелести. Но главной, неотразимой ее привлекательностью было постоянно меняющееся выражение ее лица, но мере того, как во время разговора пробуждались тончайшие чувства ее души.

Сент Обер тщательно развивал ее ум. Он давал ей уроки по всем наукам и близко ознакомил ее с изящной литературой. Кроме того, он преподавал ей языки латинский и английский, главным образом с той целью, чтобы она могла понимать красоты лучших произведений поэзии. С самых ранних лет она обнаружила врожденный вкус к прекрасному, а Сент Обер считал за правило поощрять все то, что могло содействовать ее счастью.

«Развитой ум, — говорил он, — есть лучшая охрана против заразы безумия и порока. Ум мало сведущий постоянно ищет развлечений и готов погрузиться в заблуждение, чтобы избежать томления лени. Обогащите этот ум идеями, научите его мыслить, и соблазны внешнего мира встретят противовес со стороны внутреннего мира. Мышление и образование одинаково необходимы для счастья и в сельской и в городской жизни; в первом случае они устраняют неприятное ощущение лени и доставляют высокое наслаждение, пробуждая вкус к прекрасному и великому; во втором случае они делают рассеянную жизнь не столь необходимой и, следовательно, ослабляют интерес к ней.

С самого раннего возраста Эмилия обнаружила любовь к природе; притом ей больше всего нравились не блещущие красками мирные пейзажи; она любила дикие лесные тропинки в горах, мрачные ущелья, где безмолвие и величие уединенности навевали священный трепет на ее душу и возвышали ее помыслы, направляя их к Творцу неба и земли... Там она часто подолгу оставалась одна, охваченная каким-то очарованием, до тех пор, пока не потухал последний луч заката и вечерняя тишина нарушалась лишь одиноким колокольцем овец или отдаленным лаем сторожевой собаки. Тогда мрак леса, ветерок, шелестящий листвою, летучая мышь, мелькнувшая в сумерках, свет в хижинах, то появляющийся, то исчезающий, — все это трогало ее душу и пробуждало в ней восторг и поэзию.

Любимой целью ее прогулок была маленькая рыбацья хижина, принадлежащая Сент Оберу, в лесистой долине на берегу речки, которая вытекала из Пиренеев, пенясь, пробивалась среди скал и затем безмятежно струилась по лесу, отражая в себе тенистые ветви. Над лесом, защищавшим долину, вздымались вершины Пиренеев, местами видные сквозь прогалины. Кое-где выделялся какой-нибудь дикий утес, увенчанный кустарником, или пастушья хижина, прилепившаяся к скале, под тенью темного кипариса. Сквозь прогалины леса открывался вид на далекий ландшафт, где роскошные пастбища и покрытые виноградниками склоны Гаскони полого спускались к равнинам; там, на извилистых берегах Гаронны, рощи, села и виллы с очертаниями, смягченными расстоянием, сливались вдали в одну роскошную гармоничную картину.

Этот домик был любимым убежищем самого Сент Обера; он часто искал там защиты от полуденного зноя, с женой, дочерью и книгами или приходил туда в тихий вечерний час послушать песню соловья. Иногда он приносил с собою музыкальный инструмент и будил далекое эхо нежными звуками гобоя; к ним зачастую присоединялся голос Эмилии, звонко разносившийся над водами горной речки.

В одну из таких экскурсий Эмилия заметила следующие строки, написанные карандашом на деревянной обшивке стены:

СОНЕТ

Спешу, мой карандаш! послушный моим вздохам.
Спешу поведать нимфе здешних мест,
Когда раздастся звук ее шагов воздушных.
Причину слез моих и скорби нежной!
Изобрази ее прелестный образ
И взор ее, где светится душа,
И лик задумчивый и кроткий,
Улыбку грустную, и грацию движений, —
Портрет тебе подскажет юноша влюбленный.
О, выскажи ей все, что у него на сердце...
Но нет, не всю ту грусть скажи, что в сердце он таит;
Так, часто под шелковым лепестком цветка
Таится яд, что может искру жизни погубить.
Но кто, глядя на эту ангельскую улыбку,
Может бояться ее чар и думать, что она обманет!

При стихах не было никакого посвящения, поэтому Эмилия не могла отнести их к себе, хотя несомненно она, а не кто другой, могла быть названа нимфой здешних мест. Перебрав в уме весь небольшой кружок своих знакомых, она не могла найти никого, кому бы эти стихи могли быть посвящены, и таким образом она осталась в неуверенности; такая неуверенность была бы, может быть, тягостна для всякого праздного ума, но Эмилия не имела досуга придавать значение такому пустому случаю; легкое тщеславие, возбужденное похвалами, скоро изгладилось, и она перестала об этом думать среди чтения, занятий науками и делами благотворительности.

Около того же времени Эмилия была встревожена нездоровьем отца; он захворал лихорадкой, хотя и не опасного свойства, но сильно изнурявшей его организм. Г-жа Сент Обер и Эмилия с неусыпной нежностью ухаживали за больным. Выздоровление шло медленно; но когда наконец Сент Обер начал поправляться, здоровье его жены, напротив, сильно пошатнулось.

Первое место, куда он направился, лишь только был в состоянии выходить на воздух, была его любимая рыбацья хижина. С утра туда послали из дома корзину с провизией, несколько книг и лютню Эмилии; рыболовных снарядов не требовалось, — Сент Обер никогда не находил удовольствия в том, чтобы мучить и истреблять животных.

Сперва занялись ботаникой, потом сели обедать; все радовались выздоровлению отца семейства и возможности побывать в своем любимом уголке. Г. Сент Обер разговаривал с привычным оживлением; все окружающее восхищало его.

Для здоровых людей непонятна та живительная радость, которую ощущает больной, очутившись среди природы в первый раз после долгих страданий и заточения в одной комнате. Зеленъ лесов и пастбищ, луга, испещренные цветами, ароматный воздух, журчание прозрачного ручья, даже жужжание малейшего насекомого в тени деревьев как будто возрождают душу и делают жизнь отрадой.

Г-жа Сент Обер, радуясь веселости и выздоровлению мужа, забыла о собственном нездоровье; гуляя по лесным тропинкам романтической долины и беседуя с мужем и дочерью, она глядела на них с нежностью и со слезами на глазах. Сент Обер замечал это и тихо укорял жену за излишнюю чувствительность; но она только улыбалась, жала руку мужу или Эмилии и не могла удержать слез. Он чувствовал, что и ему сообщается это растроганное умиление, острое до боли; тень печали омрачила его черты, и он подумал с тайным вздохом: «Когда-нибудь я с безнадежным сожалением буду вспоминать об этих минутах, как о вершине счастья! Дай Бог мне не дожить до того, чтобы оплакивать потерю существ, которые мне дороже жизни!»

Под влиянием своего настроения он попросил Эмилию принести лютню, на которой она умела играть с трогательным чувством. Подходя к рыбацкой хижине, она с удивлением услышала звуки этого инструмента: чья-то рука исполняла печальную мелодию. Она стала слушать в глубоком молчании, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть музыканта. В домике было тихо и никто не показывался; она продолжала слушать, но скоро восхищение ее сменилось легким испугом; ей вспомнились строки, написанные карандашом на стенке домика, и она не знала, что делать — идти ли в хижину или вернуться.

Покуда она колебалась, музыка замолкла; после минутной нерешительности она собралась с духом, направившись к рыбацкой хижине, вошла и увидела, что она пуста! Ее лютня лежала на столе; все казалось нетронутым, и ей уже представилось, не слыхала ли она звуки какого —нибудь другого инструмента, но вдруг она вспомнила, что, уходя отсюда с отцом и матерью, она оставила лютню на подоконнике, теперь же она очутилась на столе. Она встревожилась, сама не зная почему; меланхолический вечерний полумрак, глубокая тишина, царившая кругом, прерываемая лишь легким шелестом листвы, усиливали ее жуткое чувство. Она хотела выйти из домика, но почувствовала дурноту и села. Случайно взгляд ее скользнул по строкам, начертанным карандашом на деревянной обшивке стены: она вздрогнула, точно увидела чужого человека, но подавила волнение и подошла к окну. К

строкам, замеченным ею раньше, были прибавлены новые, где упоминалось ее имя.

Теперь, уже не сомневаясь, что стихи обращены именно к ней, она все-таки не могла догадаться — кто их автор. В эту минуту ей показалось, что она слышит шаги возле домика; в испуге она схватила свою лютню и поспешно убежала. Она нашла отца и мать гуляющими по тропинке по склонам долины.

Достигнув вершины зеленеющего холма, осененного пальмами, откуда открывался вид на равнины и доли Гаскони, они все трое уселись на траве. Пока они любовались дивным видом, вдыхали аромат цветов и травы, Эмилия сыграла и спела несколько любимых мелодий со свойственным ей чувством и тонкостью выражения; слушая музыку и тихо беседуя между собою, они замешкались в этом живописном местечке до тех пор, пока последний луч солнца не погас над равниной: потускнели белые паруса, скользившие по Гаронне у подножия гор, и вечерние тени окутали всю местность. Настала тьма, печальная, но не лишенная приятности. Сент Обер и его семейство встали и с сожалением покинули холм; увы! г-жа Сент Обер не подозревала, что никогда больше не увидит его!

Дойдя до рыбацкой хижины, она заметила, что потеряла браслет, и вспомнила, что сняла его с руки после обеда и оставила на столе, когда пошла гулять. После долгих поисков, в которых Эмилия принимала деятельное участие, г-жа Сент Обер принуждена была смириться с потерей браслета. Он был ей особенно дорог потому, что в него был вделан миниатюрный портрет ее дочери, поразительно похожий и лишь недавно написанный. Когда Эмилия убедилась, что браслет действительно пропал, она вспыхнула и задумалась. Что входил кто-то чужой в рыбацкую хижину во время ее отсутствия, это она еще раньше знала, благодаря случаю с лютней и строками, набросанными карандашом. Из смысла этих строк можно было заключить, что поэт, музыкант и вор — одно и то же лицо. Но хотя слышанная ею музыка, стихи на стенке и исчезновение портрета представляли замечательное стечение обстоятельств, что-то удерживало ее от упоминания об этих фактах. Однако про себя она решила никогда больше одной не посещать рыбацкого домика.

Тихо побрели они домой; Эмилия размышляла о только что случившемся. Сент Обер с чувством спокойной благодарности думал о том счастье, какое послала ему судьба, а г-жа Сент Обер была несколько опечалена и встревожена потерей портрета дочери. Подходя к дому, они заметили вокруг него необычайное движение и суету; перекликались голоса; люди и лошади мелькали меж деревьев, и наконец застучали колеса перед фасадом замка; на лужайке они увидели ландо, запряженное взмыленными конями. Сент Обер узнал лицо своего родственника и в сенях встретился с г. и г-жой Кенель, уже входившими в дом. Они выехали из Парижа несколько дней тому назад и теперь находились на пути в свое имение, отстоявшее всего на десять миль от «Долины» и приобретенное ими за несколько лет до этого у Сент Обера. Кенель был единственный брат г-жи Сент Обер; но так как, несмотря на близкое родство, между обеими семьями не было ни дружбы, ни симпатии, то сношения между ними не были часты. Г. Кенель вел светскую жизнь; цель его была достигнуть высокого положения в обществе, а вкусы направлены к роскоши и блеску. Ловкость его и знание людей помогли ему достигнуть почти всего, о чем он мечтал. Не удивительно, что подобный человек не мог оценить Сент Обера; тонкость вкуса, простота и умеренность в желаниях считались им признаками недалекого ума и ограниченных взглядов. Брак сестры его с Сент Обером был ему неприятен: он рассчитывал, что ее замужество поможет ему в его честолюбивых замыслах; действительно, у нее было перед тем несколько женихов, сановных и богатых, льстивших его пылкими надеждами. Но сестра его, за которой тогда ухаживал и Сент Обер, поняла, что счастье и блеск не одно и то же; она не колеблясь пожертвовала этим блеском для достижения истинного счастья. Так ли думал Кенель или иначе, но он готов был принести в жертву благополучие сестры для удовлетворения своего собственного честолюбия; и когда она вышла за Сент Обера, он не стесняясь высказал ей, как презирает ее нелепый выбор. Г-жа Сент Обер, хотя и скрыла от мужа это оскорбление, но в глубине сердца затаила горькую обиду на брата. С этих пор в их отношениях установилась холодность; брат это замечал и чувствовал.

В своем собственном браке он не последовал примеру сестры. Жена его была итальянка и богатая наследница, а по природе и воспитанию — женщина пустая и легкомысленная.

Кенели, посетив Сент Обера, решили в этот день остаться у него ночевать, а так как в замке не нашлось места для слуг, то их отправили в ближайшую деревню. После первых приветствий завязалась беседа, в которой г.Кенель щегольнул своим остроумием и светскими связями. Сент Обер, уже достаточно долго пробывший в уединении, чтобы отвыкнуть от этих тем, несмотря на это, слушал его терпеливо и внимательно, и Кенель остался в уверенности, что пустил пыль в глаза своему собеседнику. Ввиду смутного времени, при дворе Генриха III было тогда мало пиров; но те немногие празднества, что происходили там, Кенель описывал с мельчайшими подробностями, не упуская случая прихвастнуть. Но когда он завел речь о герцоге Жуайезе, о тайном договоре, якобы заключаемом с Портой, и о том, как смотрят при дворе на Генриха Наваррского, — Сент Обер наглядно убедился, что его гость мало смыслит в политике и вообще не занимает того положения, каким кичится. Кенель выражал такие мнения, что Сент Обер избегал спорить с ним, поняв, что его гость не способен чувствовать и понимать что хорошо и справедливо. Тем временем г-жа Кенель изливалась перед г-жой Сент Обер; удивлялась, как она может проводить жизнь в такой «берлоге», и, с очевидным желанием возбудить ее зависть, расписывала пышность балов, бАннетов и церемоний, только что происходивших при дворе по случаю бракосочетания герцога Жуайеза с Маргаритой Лотарингской, сестрой королевы. С одинаковой подробностью она изображала и те празднества, которые сама видела, и те, на которые не попала. Живая фантазия Эмилии, с юношеским любопытством слушавшей эти рассказы, еще дополняла и украшала их. А г-жа Сент Обер, глядя на свою семью, со слезами на глазах думала, что, действительно, богатство и роскошь могут украсить счастье, но создать прочное счастье способна одна лишь добродетель.

— Скоро двенадцать лет, не правда ли, Сент Обер, как я приобрел ваше родовое имя? — сказал г.Кенель.

— Да, около того, — подтвердил Сент Обер, подавляя вздох.

— Вот уже пять лет, как я не бывал там, — продолжал Кенель. — Париж и его окрестности — единственное место в мире, где можно жить. Я так погружен в политику, у меня столько важного дела на руках, что мне трудно отлучиться хотя бы на месяц или два.

Сент Обер молчал, и Кенель заговорил снова.

— Не понимаю, как вы, несмотря на то, что жила в столице и привыкли к обществу, можете существовать в другом месте, а в особенности в такой глуши, как здесь, где ничего нельзя ни видеть, ни слышать, словом, где вовсе и не ощущаешь жизни.

— Я живу для себя и для семьи, — возразил Сент Обер, — теперь только я узнал счастье — с меня этого довольно; а прежде я знал жизнь.

— Я намерен истратить тридцать-сорок ливров на разные переделки в замке, — объявил г.Кенель, как будто не замечая слов Сент Обера, — потому что будущим летом я хочу пригласить сюда месяца на два своих друзей, герцога Дюрефора и маркиза Рамона.

На вопрос Сент Обера, в чем будут состоять эти переделки, Кенель отвечал, что он снесет весь восточный флигель замка и возведет на его месте ряд конюшен.

— Затем я пристрою, — продолжал он, — еще гостиную, столовую и наконец ряд комнат для прислуги — теперь мне некуда поместить и третьей части моего собственного штата.

— Помещалась же там прислуга моего отца! — заметил Сент Обер, огорченный мыслью, что старинное здание будет переделано, — а штат у отца был не малый.

— Наши понятия несколько развились с тех пор, — сказал Кенель, — что тогда считалось приличным образом жизни, теперь уже никуда не годится!

Даже спокойный Сент Обер вспыхнул при этих словах; но гнев его скоро сменился презрением.

— Местность вокруг замка загромождена деревьями, — добавил Кенель, — часть их я хочу вырубить.

— Как! и деревья вырубить! — воскликнул Сент Обер.

— Ну, разумеется. Почему же и нет — деревья загораживают вид. Там есть каштан, который своими ветвями заслоняет весь южный фасад замка — он такой старый, что, говорят, в дупле его может поместиться человек двенадцать: вы сами со своей восторженностью вряд ли не согласитесь, что нет ни красоты, ни пользы от такого отжившего, ветхого дерева!

Боже милостивый! — возмутился Сент Обер, — неужели вы решили погубить этот благородный каштан, вековую гордость имения! Он был в цвете лет, когда строился дом. Как часто, бывало, в юности я лазил по его могучим ветвям, помещался как в беседке среди его густой листвы; и когда дождь лил ливнем — ни одна капля не попадала на меня! Как часто я сживал там с книгой в руке, то читая, то любуясь из-за ветвей на окружающий пейзаж, на заходящее солнце, до тех пор, пока не наступали сумерки, загоняя птичек домой в их гнездышки среди густой зелени! Часто бывало... однако, простите, — спохватился Сент Обер, вспомнив, что он говорит с человеком, который не мог ни понимать, ни одобрять его чувств, — я говорю о временах и чувствах старосветских, как та жалость, которая побуждает меня скорбеть об этом почтенном дереве.

— Конечно, оно будет срублено, — решил г.Кенель, — я думаю насадить в каштановой аллее несколько ломбардских тополей; моя жена очень любит тополя; она говорит, что они замечательно украшают виллу ее дяди в окрестностях Венеции.

— На берегах Бренты, еще бы! — сказал Сент Обер, — там тополя со своей пирамидальной формой рядом с пиниями и кипарисами, осеняя легкие, изящные портики и колоннады, бесспорно украшают вид; но среди исполинов леса, возле массивного готического здания...

— Прекрасно, милый мой, — прервал его г.Кенель, — я не стану спорить с вами; вы должны непременно сперва побывать в Париже и только тогда мы с вами столкнемся. Но кстати о Венеции: я имею намерение отправиться туда будущим летом; события, может быть, так сложатся, что я сделаюсь обладателем этой самой виллы. Мне рассказали, что прелестнее ее ничего нельзя себе представить! В таком случае я отложу упомянутые перестройки в замке до будущего года; может быть, я соблажнюсь остаться в Италии на долгое время.

Эмилия несколько удивилась, услышав, что он говорит о намерении остаться за границей, после того, как уверял, будто его присутствие в Париже так необходимо, что он с трудом мог вырваться оттуда на месяц или на два; но Сент Обер слишком хорошо знал бахвальство этого человека, чтобы удивляться его словам: возможность отсрочки проектируемых перестроек подавала ему надежду, что они так никогда и не осуществляются!

Прежде чем разойтись на ночь, Кенель пожелал переговорить с Сент Обером наедине; они удалились в соседнюю комнату и оставались там продолжительное время. О чем был разговор — никто не знал; как бы то ни было, Сент Обер, вернувшись в столовую, казался расстроенным; тень грусти по временам отуманивала его черты, и это тревожило г-жу Сент Обер. Когда муж с женой остались одни, ей захотелось спросить о причине его озабоченности, но ее удерживала деликатность, всегда отличавшая ее поступки. Она рассудила, что если бы Сент Обер желал сообщить ей о причине своего беспокойства, то он не стал бы ждать ее расспросов.

На другой день перед отъездом г. Кенель имел вторичный разговор с Сент Обером.

Гости, пообедав в замке, выехали, пользуясь прохладной порой дня, в свое имение Эпурвилль и на прощанье усердно приглашали к себе всю семью Сент Обер; в сущности им не столько хотелось доставить удовольствие друзьям, сколько похвастаться перед ними своим великолепием.

После их отъезда Эмилия с радостью вернулась к своим обычным занятиям, прогулкам, беседам с отцом и матерью, которые тоже не менее нее радовались, избавившись от своих тщеславных и заносчивых гостей.

Г-жа Сент Обер, жалуясь на легкое недомогание, отказалась от обычной вечерней

прогулки, и Сент Обер с дочерью отправились одни.

Они выбрали дорогу, ведущую в горы, намереваясь посетить нескольких старых пенсионеров Сент Обера, которым он ухитрялся уделять пособия из своего скудного дохода.

Раздав бедным их еженедельный паек, терпеливо выслушав жалобы некоторых из них, смягчив их горести и недовольство добрым словом сочувствия и сострадания, Сент Обер вернулся домой через лес.

— Люблю я этот вечерний сумрак в лесу, — молвил Сент Обер, душа которого наслаждалась дивным спокойствием от сознания совершенного доброго дела. — Помню, еще в юности, этот сумрак вызывал в моем воображении целый рой волшебных видений и романтических образов; признаюсь, я и теперь не совсем нечувствителен к тому высокому энтузиазму, который будит мечту поэта: я способен подолгу задумчиво бродить в мрачной тени, вглядываясь в сумрак и с восторгом прислушиваться к мистическому шепоту леса.

— Ах, милый отец, — сказала Эмилия с внезапно нахлынувшей слезой, — ты описываешь как раз то самое, что я сама чувствую так часто, думая, что эти грезы свойственны мне одной! Но слушай! как ветер зашумел в верхушках деревьев! Как торжественна наступившая затем тишина! А вот снова повеял бриз, словно голос лесного духа, что сторожит лес по ночам. Но что за огонек мелькнул вдали? Исчез... а вот он снова появился у корня того старого каштана... Гляди, отец!

— Ты такая любительница природы, — сказал Сент Обер, — а не узнала светлячка? Однако пойдем дальше, может быть увидим фей — они бывают иногда его спутницами. Светлячок дает свет, а они чаруют его музыкой и пляской.

Эмилия усмехнулась.

— Хорошо, папа, — сказала она, — если ты допускаешь такой союз фей со светлячком, то я сознаюсь, что я предупредила твою мысль и, пожалуй, решусь прочесть тебе стихи, сочиненные мною однажды вечером в этом самом лесу.

Решайся, отбрось колебание: послушаем причудливую игру твоей фантазии. Если она наделила тебя чарами, то тебе нечего завидовать и феям.

Если моей фантазии удастся очаровать твой ум, — сказала Эмилия, — то, конечно, мне не стоит завидовать феям.

И пока они шли по лесу она прочла отцу сочиненную ею поэму о светлячке и о лесных феях.

СВЕТЛЯЧОК

Отраднa тeнь в лeсy нa мyгoкoй мyрaвe зeлeнoй
В лeтний вeчeр, кoгдa пpoйдeт oсвeжaющий дoждь,
Кoгдa кoсые зoлoтистые лyчи свeркaют сквoзь листвy
И в рeзрeжeннoм вoздyхe рeeт лeгкoкрылaя лaстoчкa!

Нo eщe прeлeстнee нaблюдaть, кaк сoлнцe oтхoдит нa пoкoй.
Нaстyпят сyмeрки, и вeсeлые фeи
Зaплaшyт пo лeсным трoпинкaм, гдe цвeты
Нe склoняют сoвoих гoрдых гoлoвoк пoд их рeзвыми игрaми.
Пpи звyкaх нeжнoй мyзыки oни тaнцyют дo тeх пoр.
Пoкa вoйдeт лyнa, и лyч ee, пpoнизывaя трeпeшyщyю листвy
И бpoсaя свeтлые блики нa зeмлю, нaпpaвит фeй
В тy чaщy, гдe тoскyет сoлoвeй.
Тaм oни пeрeстaют плaсaть, пoкa нe зaмpeт пeснь гpyстнaя eгo

—
Бeзмoлвнe, кaк нoчь, внимaют oни пeснe.
И вoт, рaстрoгaнные слaдкoю
Мeлoдиeй, oни клaнyтcя сoлoвьeм, чтo бyдyт oхрaнять
Пpиyт eгo свaщeнный oт втoржeния людскoгo;

Когда звезда вечерняя опустится за горы
И томная луна покинет свод небесный.
Как станет грустно им, хотя они и феи,
Если не подоспею я со своим бледным фонарем,
И хотя им было б грустно без меня, но они неблагодарны и
любви моей не ценят.
Порою, когда путник запоздает в лесу
И я попадусь ему на пути, желая посветить ему и помочь
выбраться из леса,
Они своими волшебными чарами заставляют меня сбить его с
дороги
И бросить его в грязи, покуда не потухнут звезды.
Тогда они начнут мелькать пред ним в причудливых образах
И поднимают заунывный вопль в лесу.
Тогда я в ужасе забиваюсь в свою норку.
Но вот, глядите! крошечные феи выются в хороводе
Под веселые звуки труб, рогов и тамбуринов
И звонких дудок и нежной лютни.
Пляшут они вокруг дуба — пока не взойдет утренняя заря.
Вон крадется в прогалине влюбленная чета, стараясь избежать
царицу фей,
Которая злится на их нежные чувства и ревнует меня.
Вчера я ввечеру светил им в темноте, в траве росистой.
Когда они искали алый цвет, чей сок способен избавить их от
ее волшебных чар.
Чтоб наказать меня, царица держит вдалеке свой резвый рой
С веселой музыкой труб, лютней, тамбуринов,
И если я приближусь к дубу, то она махнет своим волшебным
жезлом —
Танцы прекратятся и музыка замолкнет.
Ах, если б мне добыть тот алый цвет, чей сок способен
победить ее чары.
И если б я умел извлечь тот сок и пустить его по ветру,
Я перестал бы быть ее рабом и путников морочить,
А стал бы помогать влюбленным, не боясь волшебниц.
Но скоро рассеется туман в лесу, погаснет бледная луна,
исчезнут звезды
И станет грустно им, хотя они и феи, без тусклого сиянья
моего.

Что бы ни думал Сент Обер об этих стихах, он не мог отказать своей дочери в удовольствии надеяться, что он одобряет их. Похвалив ее поэму, он погрузился в задумчивость, и оба молча продолжали путь, пока не достигли замка; г-жа Сент Обер уже удалилась на покой. За последние дни она чувствовала слабость, недомогание и через силу перемогалась ради гостей; зато она теперь совсем расхворалась. На другой день у нее появились лихорадочные симптомы. Сент Обер призвал доктора, и тот определил, что больная страдает той же горячкой, от которой он сам недавно оправился. Она заразилась, ухаживая за мужем, ее слабая натура не в силах была противостоять заразе, которая вызвала тяжелое изнурение. Сент Обер удержал врача у себя в доме. Он вспомнил те чувства и размышления, которые томили его сердце в тот день, когда он в последний раз посетил рыбацкий домик вместе с женой, и у него явилось предчувствие, что эта болезнь будет иметь роковой исход. Однако он скрыл это впечатление от больной и от своей дочери, стараясь,

напротив, поддерживать в ней надежду, что ее неусыпный уход не останется напрасным. На вопросы Сент Обера доктор высказал мнение, что исход болезни зависит от многих обстоятельств, которых он не в силах предвидеть. Но сама больная, по-видимому, твердо знала к чему дело клонится, и это можно было прочесть по ее глазам. Она часто устремляла взор на своих встревоженных родных с выражением жалости и нежности, как будто предвидела ожидавшую их печаль; ее взгляд, казалось, говорил, что только ради них она сожалеет о жизни. На седьмой день наступил кризис. У доктора было очень озабоченное лицо; она это заметила и, воспользовавшись минутой, когда ее родные вышли из комнаты, сказала ему, что она предчувствует близкую кончину.

— Не пытайтесь обманывать меня, — промолвила она, — я знаю, что мне недолго осталось жить: я приготовилась к смерти, издавна готовилась к ней! Но раз мне недолго остается жить, то не пробуйте из ложного сострадания поддерживать надежды у членов моей семьи. Это только еще усилит их мучения, когда они лишатся меня. Я постараюсь собственным примером на-учить их покорности.

Доктор был глубоко растроган; он дал слово повиноваться больной и прямо объявил Сент Оберу, что надежды нет. Сент Обер, при всей своей философской стойкости, не мог сдержать своего горя, получив такое ужасное извещение; но боязнь, что его горе измучит жену, заставила его все-таки владеть собою в ее присутствии. Эмилия в первую минуту была ошеломлена приговором врача; но затем у нее явилась надежда, что, несмотря ни на что, мать ее может поправиться; за эту надежду она упорно цеплялась до последней минуты.

Болезнь шла своим ходом; г-жа Сент Обер терпеливо выносила страдания; спокойствие, с каким она ожидала смерти, почерпалось ею из глубокого сознания вечного присутствия Бога и надежды на иной, лучший мир. Но, при всей своей религиозности, она не могла совершенно подавить в себе горя при разлуке с близкими ее сердцу. В эти последние часы она долго беседовала с мужем и Эмилией о загробной жизни и на другие религиозные темы. Ее ангельская покорность судьбе, твердая надежда встретить своих близких в будущей жизни, усилия скрыть свою печаль по поводу предстоящей временной разлуки, порою так сильно волновали Сент Обера, что он принужден был отходить от ее постели. Выплакавшись в соседней комнате, он торопливо отирал слезы и возвращался к больной уже со спокойным лицом; но это усилие еще больше растравляло его горе. Никогда еще Эмилия не сознавала так ясно пользу отцовских наставлений, учивших ее сдерживать свои чувства, как в эти минуты тяжкого испытания. Но когда все было кончено, она сразу отдалась своему горю и убедилась, что до сих пор ее поддерживала только надежда.

ГЛАВА II

*Я мог бы повесть рассказать такую,
Что слово каждое тебе бы растерзало душу.*

Шекспир

Г-жу Сент Обер похоронили на соседнем сельском кладбище; муж и дочь провожали ее до могилы вместе с длинной вереницей поселян, искренне оплакивавших эту превосходную женщину.

Вернувшись с похорон, Сент Обер заперся у себя. Когда он вышел, лицо его было спокойно, хотя бледно и истомлено страданием. Он приказал всем домочадцам собраться в зале. Одна Эмилия отсутствовала: угнетенная печалью после пережитой тяжелой сцены похорон, она удалилась в свой комнату, чтобы наплакаться в одиночестве. Сент Обер пошел за ней и молча взял ее за руку; несколько мгновений он не мог овладеть своим голосом.

— Эмилия, — сказал он наконец, — я хочу помолиться со всеми домочадцами, и ты присоединишься к нам. Мы должны просить поддержки свыше. Где же нам найти опору, как не там?

Эмилия подавила слезы и последовала за отцом в залу, где уже собрались слуги. Сент

Обер тихим, торжественным голосом прочел вечернюю службу, прибавил молитву за усопшую. Голос его несколько раз срывался, слезы капали на страницы книги, и наконец он умолк. Но искренняя, горячая молитва мало-помалу принесла отраду и утешение его сердцу.

По окончании молитвы, когда слуги разошлись, он нежно поцеловал Эмилию и сказал:

— С самого раннего детства я старался научить тебя владеть собою; я указывал тебе, как это важно в жизни, не только потому, что самообладание предохраняет нас от опасных соблазнов, и отвлекающих нас с пути истины и добродетели, но и потому, что оно помогает сдерживать такие движения души, которые, хотя и считаются добрыми, но если переходят известную границу, становятся уже порочными, потому что последствия их дурны. Всякое излишество вредно: даже печаль, святая в источнике, становится страстью эгоистичной и несправедливой, если ей дать волю в ущерб нашему долгу; под долгом я разумею то, что мы обязаны делать в отношении самих себя и других. Предание излишнему горю нервирует ум и почти лишает его способности наслаждаться теми благами, какие милосердный Бог предназначил быть солнцем нашей жизни. Милая моя Эмилия, помни и исполняй те правила, которые я так часто внушал тебе, — ты уже познала собственным опытом, насколько они разумны. Печаль твоя тщетна. Не считай эти слова общим местом, но старайся с помощью разума победить свое горе. Я не хочу подавлять твоих чувств, дитя мое, а только учу тебя владеть ими; как ни велико зло, проистекающее от слишком чувствительного сердца, но от бесчувственного сердца уже ничего нельзя ожидать хорошего. Тебе известно, как я страдаю, и поэтому ты знаешь, что это не пустые слова, которые в подобных случаях так часто говорятся для того, чтобы заглушить самый источник искреннего горя, или просто, чтобы щегольнуть фальшивой философией. Я хочу доказать своей Эмилии, что сумею исполнить на деле то, что высказываю. Все это я говорю тебе потому, что мне невыносимо видеть, как ты предаешься тщетному горю, за недостатком того сопротивления, которого надо ждать от рассудка. До сих пор я этого не говорил потому, что во всяком горе бывает период, когда доводы рассудка должны уступать природе. Период этот миновал и наступает другой, когда чрезмерное горевание, войдя в привычку, уничтожает эластичность духа, так что становится почти невозможным совладать с собой — этот период еще предстоит тебе. Ты, моя Эмилия, наверное докажешь, что хочешь избежать этого.

Эмилия сквозь слезы улыбнулась отцу.

— Дорогой мой, — проговорила она дрожащим голосом и хотела прибавить: я постараюсь доказать, что достойна быть твоей дочерью, но нахлынувшие чувства благодарности, дочерней любви и горя не дали ей договорить.

Сент Обер дал ей выплакаться, затем перевел разговор на посторонние темы.

Первый, кто посетил Сент Обера в его горе, был некто Барро, человек с виду суровый и нечувствительный. Его сблизило с Сент Обером общее увлечение ботаникой, и они часто встречались во время экскурсий в горах. Барро удалился от света и почти отказался от общества, живя в прелестном замке у опушки леса, неподалеку от «Долины». И он также разочаровался в людях; но он не питал к ним жалости и не печалился за них, как Сент Обер; он больше возмущался их порочностью, чем сострадал их слабостям.

Сент Обер несколько удивился, увидав его; прежде на его многократные приглашения он всегда уклонялся от посещений замка, а теперь явился без зова и вошел в приемную как старый друг. Несчастье Сент Обера как будто сгладило всю суровость и предрассудки его сердца. Но он выказывал сочувствие своим друзьям не столько словами, сколько обхождением; о самом предмете их скорби он говорил мало, но нежная внимательность к друзьям, смягченный голос и задушевные взгляды были красноречивее слов и шли прямо от сердца.

В этот грустный период его жизни Сент Обера посетила также г-жа Шерон, его единственная сестра, овдовевшая несколько лет тому назад и теперь поселившаяся в своем имении под Тулузой. Сношения между ними никогда не были особенно часты. Ее соболезнования отличались необыкновенным многословием, но ей было чуждо волшебство взгляда, проникающего в душу, и волшебство голоса, проливающего бальзам на раны

сердца. Она старалась уверить Сент Обера, что искренне сочувствует его горю, восхваляла добродетели его покойной жены и вообще утешала его как умела. Эмилия плакала, не осушая глаз, пока тетка разглагольствовала; Сент Обер был спокоен, молча слушал ее и, выслушав, переводил разговор на другие темы.

Прощаясь, она настоятельно приглашала племянницу не откладывая посетить ее.

— Перемена места развлечет вас, — говорила она, — не годится давать волю своему горю!

Сент Обер признавал, конечно, справедливость этих слов; но в то же время ему более чем когда-нибудь не хотелось покидать места, где он был так счастлив. Присутствие жены освящало каждый уголок и с каждым днем, по мере того как притуплялось его острое горе, нежные воспоминания все крепче и крепче привязывали его к дому.

Но от некоторых посещений отделаться трудно, и таким был визит, который ему необходимо было отдать своему шуруину г.Кенелю. Откладывать его более становилось невозможно и, желая вызвать Эмилию из ее угнетенного состояния, он повез ее в Эпурвилль.

Когда экипаж въехал в лес, смежный с домом его предков, глазам Сент Обера снова представились сквозь деревья каштановой аллеи увенчанные башенками углы замка. Он вздохнул при мысли, сколько воды утекло с тех пор, как он был здесь в последний раз; ему мучительно было вспомнить, что замок принадлежит в настоящее время человеку, который не умеет ни ценить, ни почитать его. Наконец въехали в аллею с высокими деревьями, бывало приводившими его в восторг, когда он был еще мальчиком, и мрачные тени которых теперь так гармонировали с его настроением. Подробности здания, поражавшего своей массивной величавостью, постепенно выступали из-за ветвей: обрисовывались и широкая башня, и сводчатые ворота, ведущие во двор, и подъемный мост и сухой ров, окружавший все здание.

Стук колес вызвал к воротам целую армию слуг; Сент Обер вышел из экипажа и повел Эмилию в готическую залу сеней, теперь уже не увешанных, как бывало прежде, оружием и старинными фамильными гербами. Все это было убрано; старые деревянные панели и балки потолка были выкрашены в белую краску. Давно исчез и длинный стол, когда-то стоявший в верхнем конце залы, где хозяин дома любил угощать своих гостей и где раздавался, бывало, их смех и громкие песни. На массивных стенах висели какие-то легкомысленные украшения и вообще все изобличало безвкусие и непонимание теперешнего владельца.

Расторопный слуга-парижанин провел Сент Обера в приемную, где сидел г.Кенель с супругой; они встретили гостей с чопорной любезностью и, проговорив несколько банальных фраз соболезнования, тотчас же и позабыли о своей покойной родственнице.

У Эмилии глаза наполнились слезами, но из гордости и обиды она старалась сдержать их. Сент Обер, спокойный и учтивый, держал себя с достоинством, но без натянутости, а Кенель чувствовал какую-то неловкость в его присутствии, сам не зная почему.

После непродолжительного общего разговора Сент Обер просил разрешения у хозяина дома переговорить с ним наедине; а Эмилия, оставшись одна с г-жой Кенель, узнала от нее, что к обеду приглашено много гостей, и между прочим принуждена была выслушать сентенции вроде того, что «все минувшее и непоправимое отнюдь не должно нарушать веселья настоящей минуты».

Когда Сент Оберу сказали, что ожидают гости, его возмутила бесчувственность и неделикатность Кенеля; сгоряча он было собрался тотчас же уехать домой. Но, узнав, что приглашена его сестра, г-жа Шерон, нарочно для свидания с ним, и кроме того сообразив, что нетактично раздражать родственников, которые могут быть полезны его Эмилии, он решил остаться: если б он уехал, его обвинили бы в бестактности те самые люди, которые сами проявляют так мало деликатности.

В числе гостей, приехавших к обеду, было два итальянца, — один, некто Монтони, дальний родственник г-жи Кенель, мужчина лет сорока, чрезвычайно красивой наружности, с выразительными, мужественными чертами; главной особенностью его лица была какая-то надменная властность и острый, пронизывающий взгляд. Синьор Кавиньи, его приятель,

человек лет тридцати, значительно уступал ему в важности осанки, но отличался такою же вкрадчивостью манер.

Эмилия была неприятно поражена приветствием, которым г-жа Шерон встретила ее отца.

— Дорогой брат! — воскликнула она, — какой у тебя болезненный вид; пожалуйста, посоветуйся с доктором!

Сент Обер с грустной улыбкой отвечал ей, что он чувствует себя не хуже обыкновенного; но Эмилии в ее тревоге за отца теперь представилось, что он действительно болен.

В другое время Эмилию развлекли бы новые лица и их разговоры во время обеда, который был сервирован с непривычной для нее изысканной роскошью, но теперь она находилась в слишком угнетенном состоянии духа. Монтони, недавно приехавший из Италии, рассказывал о смутах, волновавших страну; с жаром говорил о раздоре партий и о вероятных последствиях возмущения. Друг его с неменьшей горячностью разглагольствовал о политике своего отечества; восхвалял процветание и правительство Венеции и хвастался ее решительным превосходством над всеми прочими итальянскими государствами. Потом он обратился к дамам и с таким же красноречием заговорил о парижских модах, французской опере и французских нравах, причем не преминул вернуть тонкую лесть, особенно приятную на французский вкус. Лесть эта была как будто не замечена теми, для кого она предназначалась, но действие ее, выразившееся в каком-то раболепном внимании слушателей, не ускользнуло от его наблюдения. Когда ему удавалось отделаться от любезных ухаживаний остальных дам, он обращался к Эмилии, но та ничего не знала о парижских модах, о парижских операх; ее скромность, ее простота и сдержанность представляли резкий контраст с обращением других дам.

После обеда Сент Обер украдкой вышел из столовой, чтобы еще раз полюбоваться старым каштановым деревом, обреченным на погибель. В то время как он стоял под его тенью и глядел вверх на его ветки, все еще густые и роскошные, сквозь которые трепетали клочки голубого неба, в голове его быстро проносились события и мечтания его юных дней, образы друзей и родных, давным-давно исчезнувших с лица земли, и он чувствовал себя существом совершенно одиноким, не имеющим никого на свете, кроме Эмилии.

Так стоял он неподвижно, погруженный в воспоминания былой молодости и вот, наконец, ряд событий, вызванных его воображением, завершился образом умирающей его жены; он вздрогнул и скорее вернулся в комнаты, чтобы забыть печальное видение в кругу оживленного общества.

Сент Обер приказал подать экипаж рано, и Эмилия заметила, что всю дорогу домой отец был молчаливее и сумрачнее обыкновенного; но она приписывала это тому, что он посетил любимые места, где протекла его молодость, и не подозревала, что у него есть еще другая, скрытая причина печали.

Вернувшись домой, она почувствовала себя еще печальнее и удрученнее прежнего: более чем когда-нибудь она ощущала отсутствие дорогой матери, которая, бывало, всякий раз, как она возвращалась домой, встречала ее лаской и улыбкой; теперь дома было пусто и безмолвно!

Но чего не в силах сделать рассудок и воля, то делает время. Проходили неделя за неделей и каждая из них уносила с собой частичку ее острого горя, пока наконец оно не смягчилось до той тихой печали, которая дорога и священна всякому чувствительному сердцу.

Между тем здоровье Сент Обера видимо слабело, хотя для Эмилии, постоянно находившейся при нем, это было менее заметно, чем для посторонних. Организм его никогда не мог оправиться после перенесенной горячки; а вслед за тем жестокая утрата жены вконец подкосила его здоровье. Доктор посоветовал ему предпринять путешествие: ясно, что горе расстроило его нервную систему, уже ранее ослабленную болезнью. Надо было надеяться, что разнообразие местоположения, развлекая его ум, приведет его нервы в надлежащее

состояние. Решили ехать.

Несколько дней подряд Эмилия была занята сборами в дорогу; Сент Обер тем временем делал распоряжения, чтобы всячески сократить расходы по дому на время его путешествия — для этого он первым делом распустил почти всех слуг.

Эмилия редко вмешивалась в распоряжения отца, а то она посоветовала бы ему взять с собою слугу, так как это необходимо при его болезненном состоянии. Но когда накануне отъезда она узнала, что он уже отпустил Жака, Франсуа и Марию, она чрезвычайно удивилась и решила спросить его, зачем он это сделал?

— Затем, душа моя, чтобы сократить расходы, — отвечал отец, — и так наше путешествие обойдется не дешево.

Доктор прописал ему воздух Лангедока и Прованса; и вот Сент Обер решил проехать не спеша по берегу Средиземного моря, направляясь в Прованс.

Вечером, накануне отъезда, они рано разошлись по своим комнатам, но Эмилии надо было собрать кое-какие книги и вещицы; часы пробили двенадцать прежде, чем она окончила свои сборы, и тогда только она вспомнила, что ее рисовальные принадлежности, которые она намеревалась непременно взять с собой, остались в гостиной внизу. Идя за ними, она прошла мимо спальни отца и, заметив, что дверь полуотворена, заключила, что он сам, вероятно, в кабинете; после смерти г-жи Сент Обер у него вошло в привычку вставать ночью с постели и уходить в кабинет, чтобы чтением успокоить свои расхолодавшиеся нервы.

Спустившись вниз, Эмилия заглянула в кабинет, но отца там не оказалось; возвращаясь к себе, она постучалась в дверь его спальни и, не получив ответа, тихонько вошла, чтобы удостовериться, где он.

В спальне было темно, но виднелся свет сквозь стекла верхней части двери, ведущей в смежную каморку.

Эмилия подумала, что отец ее наверное там, и ввиду позднего часа у нее явилось подозрение, здоров ли он? Но, сообразив, что ее внезапное появление в такую пору может встревожить отца, она оставила свою свечу на лестнице, а сама беззвучно подошла к двери чулана.

Заглянув сквозь стекло внутрь, она увидела, что Сент Обер сидел за небольшим столиком, заваленным бумагами, и что-то читал с глубоким сосредоточенным вниманием, причем изредка вздыхал и всхлипывал.

Эмилия, подошедшая к двери с намерением узнать, не захворал ли отец, теперь, при виде его слез, остановилась, повинувшись смешанному чувству любопытства и жалости. Она не могла видеть его печали, не чувствуя желания узнать ее причины, и продолжала молча наблюдать его, предполагая, что эти бумаги — письма ее покойной матери.

Вдруг он опустился на колени; глаза его приняли какое-то торжественное, не свойственное ему выражение с примесью ужаса, и долго молча молился.

Когда он поднялся, по лицу его была разлита страшная бледность. Эмилия хотела поспешно удалиться; но остановилась, заметив, что он опять вернулся к кипе бумаг и вытащил оттуда плоский футляр, с миниатюрным портретом. На него падал яркий свет, и Эмилия убедилась, что это изображение какой-то дамы, но не ее матери.

Сент Обер долго с нежностью рассматривал портрет, поднес его к губам, потом прижал к сердцу и судорожно вздохнул.

Эмилия не верила глазам своим. До сих пор она не подозревала, чтобы у отца хранился портрет какой-то чужой дамы, не ее матери, а тем более портрет, который он, очевидно, ценил так высоко.

Наконец Сент Обер вложил портрет обратно в футляр, а Эмилия, вспомнив, что она невольно подглядела его тайну, тихонько вышла из комнаты.

ГЛАВА III

Возможно ль отказаться от бесценного сокровища

*Тех наслаждений, какие дарует природа поклонникам своим?
Песни звонкие пернатых в чаще леса, и берега реки,
И пышность роцц, убор полей цветущих,
И все, что солнца луч поутру похищает,
И все, что вторит вечером напевам пастуха,
И все, что защищает каменная грудь горы,
И грозное величие небес...
О, можешь ли ты это презирать и ждать себе прощенья?
Все эти прелести дадут душе твоей навеки исцеленье. Дадут ей
кротость, и любовь, и радость.*

Менестрель

Сент Обер, вместо того, чтобы ехать прямой дорогой, пролежавшей у подножия Пиренеев к Лангедоку, выбрал другую дорогу, которая, извиваясь в горах, отличалась большей живописностью и романтической красотой. Он уклонился немного в сторону, желая проститься с г.Барро; он застал его ботанизирующим в лесу неподалеку от замка; узнав о цели посещения Сент Обера, Барро выказал такое теплое участие, какого тот даже не ожидал от этого, по-видимому, черствого человека.

— Если б что-нибудь могло соблазнить меня покинуть мое уединение, — сказал г.Барро, — то это именно удовольствие сопровождать вас в вашем маленьком путешествии. Я не охотник до комплиментов, поэтому вы должны поверить мне на слово, когда я говорю, что буду ждать вашего возвращения с нетерпением.

Путешественники отправились далее.

На протяжении нескольких лье он и Эмилия ехали в молчании и задумчивости; Эмилия первая очнулась от грустных дум и ее юная фантазия, пораженная величием окружающей природы, постепенно поддалась прелести впечатлений. Дорога то спускалась вниз в долины, окаймленные огромными стенами скал, серых и оголенных, где лишь местами на вершинах кудрявился кустарник, или росла в углублениях скудная травка, которую щипали дикие козы; то опять карабкалась на высокие скалы, откуда открывались роскошные виды.

Эмилия не могла удержаться от восторга, когда взор ее поверх сосновых лесов, покрывавших горы, остановился на обширной равнине, пестревшей рощамаи, городами, алеющими виноградниками и плантациями миндаля, пальм и оливковых деревьев, — равнина расстилалась на необъятное пространство, пока ее яркие краски не сливались вдали в однообразный гармоничный тон, казалось, соединявший небо с землею. И по всей этой роскошной местности протекала величавая Гаронна, спускаясь от истоков своих в Пиренеях и катя свои голубые воды к Бискайскому заливу.

Плохая, ухабистая дорога часто заставляла путников выходить из дорожного экипажа; но за такое неудобство их с избытком вознаграждало величие и красота окружающих картин. Но все же наслаждение, испытываемое Сент Обером, было с примесью меланхолии, которая придает вещам более мягкий колорит и распространяет на все окружающее кроткую прелесть.

Путешественники предвидели, что не везде им встретятся удобные гостиницы, и потому забрали с собой запас провизии, так что могли останавливаться и закусывать в любом красивом местечке под открытым небом и располагаться на ночлег всюду, где встречали на своем пути подходящую хижину. Что касается пищи духовной, то они взяли с собой сочинение о ботанике, написанное г.Барро, и несколько книг с латинскими и итальянскими стихами; а Эмилия рисовала в альбом виды и предметы, поражавшие ее на каждом шагу.

Пустынность дороги, где лишь изредка встречались то какой-нибудь поселянин, погоняющий мула, то дети горцев, играющие между скал, — еще усиливала очарование ландшафта. Сент Обер был в таком восторге от живописности этих мест, что решил, если узнает, что туда есть дорога, проникнуть далее в горы, потом повернуть к югу в Руссильон, наконец проехать прибрежной полосой Средиземного моря и таким путем пробраться в

Лангедок.

Вскоре после полудня путники достигли вершины горы, покрытой роскошной растительностью; оттуда, как на ладони, открывался вид на части Гаскони и Лангедока. Высокие деревья давали прохладную тень; была тут и свежая вода родника, который, скользя по мураве под деревьями, низвергался оттуда по ступеням скал в пропасть, где его журчание пропадало, хотя белая пена долго еще ввднелась среди мрачной зелени сосен.

Это было местечко, удобное для отдыха. Путешественники расположились обедать, мулов выпрягли и пустили щипать сочную траву, устилавшую плоскогорье.

Эмилия и Сент Обер долго не могли оторваться от прелестного вида, чтобы приняться за свою легкую трапезу. Сидя под тенью пальм, Сент Обер объяснял течение рек, положение больших городов, показывал границы провинции, руководствуясь не столько зрением, сколько своими знаниями. Но вдруг среди беседы он остановился и задумался; на глазах его блеснули слезы. Эмилия заметила это, и сочувствующее сердце подсказало ей причину этой грусти. Картина, раскинувшаяся перед ними, представляла сходство, хотя в более грандиозном масштабе, с любимым видом г-жи Сент Обер, открывавшимся из окрестностей рыбацкого домика. Оба это поняли сразу и подумали, как понравился бы этот прелестный ландшафт той, чьи глаза закрылись навеки! Сент Обер вспомнил, как он в последний раз посетил вместе с нею рыбачью хижину, вспомнил печальные предчувствия, посетившие его в то время, — предчувствия, увы! так скоро сбывшиеся. Эти воспоминания так взволновали его, что он встал и отошел в сторону, желая скрыть свое горе от дочери.

Когда он вернулся, лицо его было по-прежнему спокойно; он взял руку Эмилии и молча с нежностью пожал ее. Вскоре он подозвал погонщика мулов Михаила, сидевшего поодаль, и стал расспрашивать его насчет горной дороги, идущей в сторону Руссильона. Михаил объяснил, что таких дорог несколько, но он не знает, до каких мест они доходят и можно ли по ним ехать. Сент Обер не хотел продолжать путь после заката солнца и осведомился, до какого селения они могут добраться к тому времени. Погонщик рассчитал, что они легко могут достигнуть селения Мато, лежавшего на их пути; но если избрать другую дорогу, спускавшуюся к югу, к Руссильону, то на этой дороге есть тоже деревушка, которой можно достигнуть до наступления вечера.

После некоторого колебания Сент Обер решил остановиться на последнем маршруте. Михаил, окончив свой обед, запряг мулов, и они двинулись дальше, но скоро Михаил вдруг остановился и, слезши с козел, преклонил колена перед крестом, воздвигнутым на скале, нависшей над дорогой. Исполнив этот обряд благочестия, он щелкнул бичом и, невзирая на тяжелую дорогу и усилия своих бедных мулов (о которых он только что сокрушался), помчался в галоп по самому краю пропасти, до того крутой, что при одном взгляде вниз голова кружилась. Эмилия была испугана почти до обморока, а Сент Обер, думая, что еще опаснее внезапно остановить возницу, решил сидеть смирно и довериться силе и рассудительности мулов, которые, по-видимому, в большей степени обладали этими качествами, чем их хозяин. Действительно, они благополучно доставили путешественников в долину и там остановились на берегу речки.

Путешественники очутились теперь в узкой долине, обрамленной утесами. Местность была оголенная и пустынная, кое-где лишь свешивались ветви лиственниц и кедров со скал и над речкой, орошающей долину. Кругом не видно было ни единого живого существа, — разве проползет ящерица между скал и повиснет на таком крутом обрыве, что смотреть на нее ужас берет, — совершенно картина в духе Сальватора Розы. Сент Обер был поражен романтической красотой этого уголка; ему казалось, что вот сейчас из-за скалы выскочат бандиты, и на всякий случай он держался рукой за оружие, всегда находившееся при нем в путешествиях.

По мере того, как они продвигались вперед, ущелье расширялось; дикий характер его смягчался, и к вечеру путешественники очутились уже среди холмистой, поросшей вереском местности, раскинувшейся на обширное пространство; вдали звенели колокольчики рассыпавшегося стада и слышался голос пастуха, сзывающего овец на ночлег. За

исключением его хижины, осененной пробковыми дубами, — единственной, кроме сосен, древесной породы в этой горной области — кругом не видно было другого человеческого жилья. Долина была покрыта яркой, свежей зеленью; в небольших горных лощинах под тенью деревьев паслись стада, коровы и овцы отдыхали на берегах речки или купались в прохладных струях.

Солнце было близко к закату; последние лучи его отражались в воде и зажигали ярким желтым и алым пламенем вереск, устилавший горы. Сент Обер осведомился у Михаила, далеко ли еще до деревушки, о которой он говорил, но тот не мог определить наверное, и Эмилия стала опасаться — не сбился ли он с дороги. Кругом не было ни единого человеческого существа, которое бы могло помочь им и направить их; пастуха и его хижину они оставили далеко позади. Между тем наступили сумерки; глаз ничего не мог различить вдали и отыскать следов жилья или селения. Алая полоса на горизонте все еще отмечала запад и это служило путешественникам хоть слабым указанием. Михаил старался поддерживать в них бодрость духа своим пением — однако его музыка была не такого сорта, чтобы рассеять меланхолию: он тянул какой-то унылый мотив, наводивший тоску, — оказалось, это был вечерний гимн архангелу Михаилу.

Они ехали все дальше и дальше, объятые той тихой грустью, какую всегда навеивает уединение и сумерки. Михаил кончил свою песню и все замолкло, только слышался шепот сонного ветерка в листве. Вдруг раздался выстрел. Сент Обер приказал вознице остановиться и стал прислушиваться. Звук не повторился; но в кустах что-то зашелестело. Сент Обер приготовил пистолет и приказал Михаилу прибавить шаг. Вслед затем послышался звук рога, пробудивший эхо в долине. Сент Обер выглянул в окно кареты и увидел молодого человека, выскочившего из кустов на дорогу, в сопровождении двух собак. Незнакомец был в охотничьем костюме, с ружьем на перевязи; на его поясе висел рог, а в руках он держал копье, придававшее еще больше мужественной грации его фигуре и удалства его движениям.

После минутного колебания Сент Обер опять велел остановить карету и стал ждать, чтобы незнакомец подошел, в расчете расспросить его о деревушке, которую они искали. Молодой человек объяснил, что она лежит в полумиле, что он сам туда направляется и охотно укажет дорогу. Сент Обер поблагодарил за услугу; ему понравился рыцарский вид и открытое лицо юноши, — он предложил ему занять место в экипаже; но тот отказался, говоря, что он и пешком не отстанет от мулов.

— Но я боюсь, что вы не найдете удобного помещения в деревушке, — заметил он, — обитатели этих гор — люди простые, не только не знакомые с комфортом, но почти лишенные самого необходимого.

— Я вижу, что вы сами не принадлежите к числу этих обитателей, — сказал Сент Обер.

— Нет, я тоже путешествую по здешнему краю.

Экипаж покатиł дальше; сумрак еще сгустился, и путешественники были очень рады заполучить проводника; частые овраги, попадавшиеся среди гор, конечно, усугубляли их беспокойство. Эмилия увидела в отдалении что-то похожее на светлое облако, повисшее в воздухе.

— Что это за свет там? — спросила она.

Сент Обер взглянул в том же направлении и убедился, что это покрытая снегом вершина самой высокой горы, на которой еще горел отблеск солнечных лучей, между тем как все окружающее погрузилось во мрак.

Наконец замелькали в сумерках огоньки и вскоре показались хижины деревушки, или, вернее, их отражения в речке, на берегу которой была расположена деревня и которая еще светилась лучами заката.

Незнакомец подошел к нашим путешественникам. Из дальнейших расспросов Сент Обер узнал, что в деревне не только нет постоянного двора, но нет и трактира, куда можно было бы пристать. Сент Обер поблагодарил за сведения и выразил желание выйти из экипажа и пройти пешком до деревни. Эмилия продолжала ехать шагом.

По пути Сент Обер спросил незнакомца, удачна ли была его охота.

— Не особенно, — отвечал он, — да я и не тужу об этом: мне нравится этот край и я намерен побродить здесь несколько недель; собак я взял с собой более в качестве спутников, чем для охоты. Этот костюм служит мне как бы вывеской и доставляет мне от жителей то уважение, которого я не получил бы как странник, без всякой цели забравшийся в их край.

— Я одобряю ваш вкус, — сказал Сент Обер, — и будь я помоложе, мне очень нравилось бы провести таким образом неделю-другую. Но теперь мой план и цели совсем иные. Я путешествую настолько же для здоровья, как и для развлечения.

Сент Обер вздохнул и остановился; затем, как бы одумавшись, продолжал:

— Если я узнаю, что отсюда есть порядочная дорога в Руссильон, я намерен поехать туда, потом по берегу моря пробраться в Лангедок. Вы, сударь, по-видимому, знакомы с краем и, вероятно, можете дать мне указания на этот счет?

Незнакомец изъявил готовность сообщить все, что сам знает, и упомянул о дороге, пролегающей несколько более к востоку и ведущей к городу, откуда легко будет проехать в Руссильон.

Путешественники наконец добрались до деревни и принялись разыскивать помещение, где можно было бы расположиться на ночлег. В тех лачугах, куда они заходили, царила нищета и грязь; хозяева глазели на приезжих с любопытством и робостью. Нигде нельзя было найти и подобия постели; Сент Обер, отчаявшись, перестал искать ночлега; тогда вмешалась Эмилия: она заметила измученное лицо отца и жалела, что они забрались в такой край, где нельзя было найти спокойного убежища для больного человека. Осмотрели и другие хижины; эти оказались немного лучше первых, состояли из двух комнат — если можно назвать это комнатами: в одной загородке помещались мулы и свиньи, в другой семейства, состоявшие в большинстве случаев из шести-восьми детей с их родителями, — все это спало на подстилках из шкур и сухих листьев. Здесь было уже посветлее, дым выходил наружу сквозь отверстие в крыше; здесь слышался довольно явственно запах спирта, так как бродячие контрабандисты, посещавшие Пиренеи, приучили народ к крепким напиткам.

Эмилии стало противно; она поглядывала на отца с тревожной нежностью, что, очевидно, подметил молодой незнакомец; отведя Сент Обера в сторону, он предложил уступить ему свою собственную спальню.

— Она довольно прилична, — сказал он, — в сравнении с тем, что мы только что видели, хотя при других обстоятельствах я бы посовестился предлагать вам такое помещение.

Сент Обер поблагодарил за любезность, но пробовал отказываться до тех пор, пока молодой незнакомец не убедил его своей настойчивостью.

— Мне будет невыносимо сознавать, что вы, человек больной, лежите на жестких шкурах, тогда как я сплю на постели. Кроме того, ваш отказ оскорбляет мою гордость; я могу подумать, что вы не хотите снизить до принятия моего предложения. Пойдемте, я покажу вам дорогу. Я не сомневаюсь, что моя хозяйка найдет возможность поместить также и вашу барышню.

Сент Обер наконец согласился; хотя его немного удивил недостаток галантности у этого молодого человека, который заботился о спокойствии больного человека, а не об удобствах привлекательной молодой девушки — ведь он ни разу не предложил уступить свою комнату Эмилии. Но Эмилия о себе не думала, и радостная улыбка, с которой она взглянула на незнакомца, доказала ему, до какой степени она рада и благодарна за отца.

Валанкур, так звали молодого незнакомца, пошел вперед, чтобы предупредить свою хозяйку; та вышла встретить Сент Обера и пригласила его в свою избу, несравненно более приличную, чем все жилища, виденные ими раньше. Добрая женщина, по-видимому, очень рада была услужить приезжим; она охотно уступила им те две постели, которые имелись в доме. По части пищи в избе ничего не оказалось, кроме молока и яиц; но на подобные случаи Сент Обер захватил с собой достаточно продовольствия; он пригласил Валанкура разделить

ужин. Их приглашение было охотно принято, и все трое провели целый вечер в приятной, интересной беседе. Сент Оберу очень понравились открытый нрав и мужественная простота его нового знакомого, а также отзывчивость его к величию и красотам природы. Он не раз видал в жизни, что такая чуткость всегда связана с искренностью и величием души.

Их беседа была прервана сильным шумом, поднявшимся во дворе, причем голос погонщика мулов слышался громче всех прочих. Валанкур вскочил и пошел узнавать, в чем дело; но и после его ухода крики и ссора продолжались. Наконец Сент Обер пошел сам и застал Михаила в жестокой перепалке с хозяйкой за то, что та отказалась пустить его мулов в ту каморку, где она должна была ночевать сама вместе со своими тремя сыновьями. Помещение было самое жалкое, но иначе этим людям некуда было деваться; и с щепетильностью, не совсем обыкновенной среди уроженцев захолустья, женщина упорно не позволяла ставить животных в комнату, где должны были ночевать ее дети. Погонщик мулов вломился в амбицию: он находил оскорбительным для своей чести, что к его мулам отнеслись с неуважением — он, кажется, охотнее дал бы самого себя приколотить.

— Мои мулы кротки и безобидны как овечки, — говорил он, — если с ними хорошо обращаются. Я никогда не видывал, чтобы они в чем провинились, кроме двух-трех случаев, когда их действительно раздражили. Один разок только один из мулов лягнул в ногу мальчишку, спавшего у них в стойле, и сломал ему ногу. Клянусь святым Антонием, они, кажется, поняли мои упреки и уже больше этого никогда не случилось.

В заключение этой красноречивой защиты он объявил, что ни за что не расстанется со своими мулами.

Спор наконец был улажен Валанкуром; он отвел хозяйку в сторону и просил, чтобы она предоставила погонщику с его мулами спорный сарай, а сыновьям своим отдала постель из шкур, приготовленную ему, Валанкуру, тогда как он сам завернется в плащ и уляжется на скамейке у дверей хижины. На это хозяйка считала своим долгом не соглашаться — ей не хотелось уступать погонщику. Но Валанкур упорно стоял на своем, и неприятное дело наконец покончили.

Было уже поздно, когда Сент Обер и Эмилия удалились в свои спальни, а Валанкур на свой пост у дверей, что при теплой погоде он предпочитал душному чулану и постели из кож. Сент Обер был несколько удивлен, увидя в его комнате несколько томов Гомера, Горация и Петрарки с фамилией Валанкура, написанной на заглавных листах.

ГЛАВА IV

*Он странный был, капризный человек,
Его пленяли наравне и мирные картины и те, что наводили ужас.
Во тьме и буре находил он наслажденье
Не менее, чем в тех минутах, когда солнце
Ярко золотит прозрачную волну,
И даже грустные превратности судьбы порою
тешат его душу,
А если иногда раздастся вздох,
И по щеке его скатится жалости слеза,
Такого сладостного вздоха, такой слезы отрадной он не желает
подавлять.*

Менестрель

Сент Обер проснулся очень рано, освеженный сном, и пожелал тотчас же отправиться в дальнейший путь. Он пригласил своего нового знакомого позавтракать вместе; заговорив опять о дороге, Валанкур сказал, что несколько месяцев тому назад он доезжал до Боже, довольно значительного города на пути в Руссильон, и советовал Сент Оберу избрать этот маршрут. Сент Обер решил последовать совету.

— Дорога из этой деревушки, — объяснил Валанкур, — и дорога в Боже расходятся на

расстоянии полутора миль отсюда; если позволите, я провожу вашего погонщика до того места; ваше общество сделает для меня эту прогулку приятнее всякой другой.

Сент Обер с благодарностью принял предложение, и они отправились вместе; молодой человек шел пешком, — он отказался занять место в тесном дорожном экипаже.

Предраассветная мгла, смягчавшая предметы своим мутным, серым колоритом, стала понемногу рассеиваться, и Эмилия с интересом наблюдала зарождение дня: сперва затрепетал свет на вершинах самых высоких скал, затем они запылали роскошным сиянием, тогда как их склоны и долина внизу все еще были окутаны росистым туманом. Между тем мрачные серые тучи на востоке стали алеть, потом они загорелись огнями разнообразнейших оттенков и наконец золотистый свет разлился по воздуху, коснулся нижних частей горных вершин и длинными косыми лучами скользнул в долину и по реке. Вся природа, казалось, пробудилась от смерти к жизни. Душа Сент Обера как бы обновилась; от полноты сердца он прослезился, и помыслы его вознеслись к Создателю.

Эмилия пожелала пройтись по траве, такой свежей и блестящей от росы, и вполне насладиться тем привольем, каким, по-видимому, наслаждалась и ящерица, бегавшая по краям скал. Валанкур часто останавливался, разговаривая с путешественниками и указывая им то, что особенно привлекало его внимание на пути.

Он очень нравился Сент Оберу. «Вот образец сердечной искренности и юношеской энергии, — думал он про себя. — Этот молодой человек наверное никогда не бывал в Париже».

Ему было от души жаль, когда достигли того пункта, где дороги расходились; за это короткое время он успел привязаться к своему спутнику.

Валанкур долго беседовал с ними, стоя у экипажа; несколько раз он собирался отходить, но все мешкал и как будто искал тем для разговора, чтобы объяснить свое промедление.

Сент Обер заметил, что, уходя, он бросил на Эмилию выразительный, задумчивый взгляд; она поклонилась ему со скромной приветливостью, и экипаж отъехал. Сент Обер, через некоторое время выглянув из окна, увидел Валанкура стоящим на краю дороги: он опирался на копьё скрещенными руками и грустным взором следил за удаляющейся каретой. Сент Обер махнул рукой в знак приветия; Валанкур, как бы пробудившись от грез, ответил на приветствие и пошел обратно.

Характер местности стал понемногу изменяться; путешественники скоро очутились среди гор, покрытых от подошвы и почти до вершин лесами мрачных сосен; кое-где лишь выделялся какой-нибудь гранитный пик со снеговой вершиной, теряющейся в облаках. Речка, берегов которой они до сих пор держались, расширилась в большую реку, отражавшую в своих глубоких, тихих водах темные нависшие тени.

Местами какой-нибудь утес вздымал свою смелую голову над лесом и облаками, носившимися на полугоре; местами у самого края воды возвышалась отвесная каменная стена, а над нею лиственница простирала свои гигантские руки, обожженные молнией или покрытые роскошной листвой.

Путешественники продолжали ехать по ухабистой, пустынной дороге, никого не встречая, кроме разве одинокого пастуха со своей собакой, бредущих по долине; они не слышали иных звуков, кроме шума потоков, скрытых в лесу, протяжного, угрюмого ропота бриза, да порою криков орла и ястреба, парящих над скалами.

Часто, в то время как экипаж медленно катился по изрытой дороге, Сент Обер выходил из него и шел пешком, собирая, ради развлечения, интересные растения по краям дороги; а Эмилия с восторгом гуляла под сенью деревьев, молча прислушиваясь к глухому шепоту леса.

На расстоянии многих миль не видно было ни селения, ни деревушки: шалаши пастуха или охотника, высоко взгроможденные на скалах, были единственными людскими жилищами, встречавшимися по пути.

Путешественники обедали опять на открытом воздухе, в живописном местечке долины,

под широкой тенью кедров; затем двинулись далее, в Боже.

Дорога стала круто подыматься и, выйдя из соснового леса, извивалась меж скалистых пропастей. Снова наступили сумерки, а наши путники не знали, далеко ли еще до Боже.

Впрочем, Сент Обер догадывался, что расстояние не должно быть очень велико, и утешался тем, что выберет более людную дорогу, когда они выедут из города, где намеревались ночевать.

В сумраке смутно выделялись леса смешанных древесных пород, скалы и горы, покрытые вереском; но скоро и эти смутные очертания исчезли в потемках.

Михаил ехал осторожно, потому что почти не мог различать дороги: но его мулы, более чуткие, шли уверенным шагом.

Обогнув встретившуюся на пути гору, они увидели вдали какой-то свет, озарявший скалы и горизонт на далекое расстояние. Трудно было определить, что это такое — большой костер или пожар. Сент Обер предполагал, что это костер, разложенный одной из многочисленных разбойничьих шаек, водившихся в Пиренеях; его беспокоила мысль, не придется ли им проезжать поблизости от костра. При нем было оружие, которое, в случае надобности, могло доставить защиту, хотя, конечно, слабую перед целой шайкой бандитов, в особенности таких отчаянных, как те, что водились в этом захолустье. В то время, как его осаждали эти тревожные думы, он услышал чей-то крик, раздавшийся сзади экипажа: кто-то приказывал погонщику мулов остановиться. Сент Обер со своей стороны понукал его, чтобы он ехал как можно быстрее; однако или Михаил заартачился, или его мулы не слушались, но они не прибавляли шагу. Ближе и ближе слышался лошадиный топот; к экипажу подскочил какой-то человек, повторяя вознице приказание остановиться; Сент Обер, уже не сомневавшийся в его недобрых намерениях, едва успел выхватить пистолет для защиты, как уже рука незнакомца легла на дверцу кареты. Раздался выстрел... человек пошатнулся на седле; за выстрелом послышался стон. Легко себе представить ужас Сент Обера, когда в эту минуту он услышал слабый голос, показавшийся ему голосом Валанкура. Теперь он сам приказал вознице остановиться; позвал Валанкура по имени и получил ответ, подтвердивший его подозрения. Сент Обер немедленно выскочил из экипажа, поспешил на помощь к раненому и увидел его сидящим на лошади, но истекающим кровью; по-видимому, он сильно страдал, хотя и старался успокоить Сент Обера, говоря, что он ранен незначительно в руку. Сент Обер с погонщиком мулов помогли ему сойти с лошади и усадили на край дороги. Сент Обер пытался наложить перевязку, но руки его так сильно дрожали, что это ему не удавалось. Так как Михаил побежал вдогонку за лошадью, которая ускакала, освободившись от своего всадника, то Сент Обер позвал к себе на помощь Эмилию. Не получая ответа, он бросился к карете и нашел дочь свою лежащей на сиденье в обмороке. Встревоженный этим, а с другой стороны боясь, как бы Валанкур не истек кровью, Сент Обер совершенно растерялся. Однако он стал приводить Эмилию в чувство и крикнул Михаилу, чтобы тот зачерпнул воды из речки. Но Михаил ушел за лошадью и не отзывался. Валанкур, слыша эти крики и несколько раз повторяемое имя Эмилии, догадался, в чем дело. Забыв о своем собственном положении, он поспешил на помощь. Эмилия уже почти пришла в себя, когда он подбежал к карете. Поняв, что тревога за него заставила ее лишиться чувств, Валанкур стал уверять ее радостно взволнованным голосом, что рана его не серьезна. Пока он успокаивал ее, Сент Обер обернулся к нему и, увидав, что кровотечение продолжается, опять встревожился и наскоро стал рвать носовые платки на перевязку. Это остановило кровь. Сент Обер, опасаясь за последствия раны, с беспокойством осведомился, далеко ли осталось до города Боже. Но даже узнав, что город отстоит всего на две мили, он не успокоился; ему казалось, что Валанкуру трудно будет вынести толчки экипажа в его теперешнем состоянии; действительно, раненый очень ослабел от потери крови, хотя сам все время уверял, что это пустяки. Михаил, уже вернувшийся с лошадью Валанкура, помог ему сесть в экипаж. Эмилия тем временем успела совершенно оправиться, и они шагом двинулись в Боже.

Немного успокоенный, Сент Обер стал расспрашивать Валанкура, какими судьбами он

попал сюда.

— Встреча с вами, — сказал Валанкур, — опять приохотила меня к обществу; после вашего отъезда деревня показалась мне мрачной пустыней, я решил уехать и направился по этой дороге, зная, что она приведет меня в красивую горную местность. А кроме того, — прибавил он не без смущения, — признаться сказать, у меня была некоторая надежда нагнать вас.

— Хорошо же я отплатил вам за вашу любезность! — сказал Сент Обер, сожалея о своей опрометчивости.

Но Валанкуру более всего хотелось изгладить в своих спутниках неприятное впечатление, связанное с несчастным случаем. И хотя он мучился от сильной боли, но старался разговаривать весело. Эмилия была молчалива и только отвечала изредка Валанкуру. Когда он обращался к ней, голос его вздрагивал и по его волнению можно было догадаться о его чувствах.

Теперь они уже настолько приблизились к огню, давно выделявшемуся в сумраке ночи, что могли различать движущиеся вокруг него фигуры. Это был один из многочисленных цыганских таборов, которые в то время кочевали в Пиренеях и грабили проезжих. Эмилия с ужасом смотрела на страшные лица этих людей при красноватом свете костра, который еще усиливал романтический эффект сцены; пламя, бросая слабый отблеск на скалы и деревья, оставляло остальное пространство в тени, и взор, казалось, страшился проникнуть сквозь эти густые массы мрака. Цыгане варили себе ужин: над огнем висел большой котел и вокруг него сутилось несколько фигур. При свете пламени можно было различить нечто вроде грубого шатра; возле копошилось множество ребятишек и собак; все это вместе представляло картину до крайности фантастическую. Путешественники поняли угрожающую им опасность. Валанкур молчал, но держал наготове один из пистолетов Сент Обера. Сент Обер вооружился другим пистолетом, а Михаилу отдал приказание погонять мулов. Но они благополучно миновали табор; бродяги, очевидно, не приготовились нападать и, слишком занятые своим ужином, в эту минуту мало интересовались проезжими.

Мили через полторы путники добрались наконец до города Боже и подъехали к единственной в нем гостинице, довольно плохой, хотя и получше тех, которые они встречали перед тем в горах.

Послали за городским лекарем, если можно назвать лекарем фельдшера, лечившего и скот и людей, исполнявшего должность и костоправа, и цирюльника. Осмотрев руку Валанкура и убедившись, что пуля прошла сквозь мякоть, не задев кости, он перевязал рану и удалился с важностью, предписав пациенту полную неподвижность, чего пациент вовсе не намерен был соблюдать. Боль сменилась отрадным чувством покоя, а покой является благом положительным, по контрасту с мучительной болью. После перевязки больной воспрянул духом и пожелал посидеть с Сент Обером и Эмилией, которые, избавившись от стольких тревог, были необыкновенно оживлены. Несмотря на поздний час, Сент Обер отправился с хозяином покупать провизию на ужин, а Эмилия, которая в это время нарочно отлучалась под предлогом осмотра своего помещения, оказавшегося лучше, чем она ожидала, принуждена была вернуться и беседовать с Валанкуром наедине. Они говорили о живописности края, об его естественных богатствах, о поэзии, о Сент Обере — на эту последнюю тему Эмилия всегда готова была и говорить и слушать с особенным удовольствием.

Путешественники провели вечер чрезвычайно приятно; но Сент Обер был утомлен дорогой, а Валанкур опять почувствовал приступ боли, и они разошлись вскоре после ужина.

Утром Сент Обер узнал, что Валанкур провел ночь беспокойно, что у него началась лихорадка и рана причиняет ему сильные страдания; лекарь, снова сделавший перевязку, посоветовал ему спокойно пожить в Боже. Но Сент Обер, не очень доверявший этому эскулапу, желал доставить Валанкуру более искусную медицинскую помощь; однако, наведя справки и узнав, что на расстоянии нескольких миль нет другого города, где бы можно было найти сведущего врача, он изменил план своего путешествия и решил дождаться, пока

Валанкур поправится, хотя тот и протестовал с большей церемонностью, чем искренностью, против такого промедления. По приказанию врача Валанкур не выходил в этот день; но Сент Обер и Эмилия с наслаждением осматривали окрестности красивого городка, расположенного у подошвы Пиренейских Альп; горы то вздымались отвесными кручами, то отлого тянулись вдаль, покрытые почти до вершин лесами из кипарисов, сосен и кедров. Веселая зелень бука и рябины выступала яркими пятнами среди темной хвои; кое-где в лесу, сверкая и шумя, низвергался с высоты поток.

Нездоровье Валанкура задержало путешественников на несколько дней в городе Боже; за это время Сент Обер, со свойственной ему наблюдательностью, успел изучить характер и наклонности молодого человека. Он убедился, что это натура открытая и великодушная, полная энергии, в высшей степени чуткая ко всему великому и прекрасному, но пылкая, увлекающаяся и несколько романтическая. Взгляды его были определены, чувства стойки; возмущаясь каким-нибудь дурным поступком или восхищаясь делом благородным, он выражался с одинаковой горячностью. Сент Обер часто посмеивался над его пылом и не останавливал его порывов. «Этот юноша никогда не бывал в Париже!» — думал он про себя со вздохом. Сент Обер решил не покидать Валанкура до тех пор, пока тот не поправится окончательно; а так как теперь рана начала уже заживать и он мог путешествовать, но не верхом, то Сент Обер пригласил его пока ехать с ними в экипаже. Предложение это было сделано тем охотнее, что Валанкур, как выяснилось из разговоров, принадлежал к очень почтенной семье, родом из Гаскони. Валанкур с радостью согласился, и вот они снова пустились в путь по дикой, романтической местности, направляясь в Руссильон.

Ехали они не спеша, останавливаясь всюду, где только представлялся вид особенно заманчивый или величественный; часто они выходили из кареты, чтобы взобраться на какую-нибудь возвышенность, недоступную для мулов, но откуда открывался великолепный вид; часто гуляли они по чудным холмам, поросшим лавандой, тимьяном, тамариском и можжевельником, или под тенью лесов любовались сквозь лесные прогалины далекой перспективой волшебной красоты.

Иногда Сент Обер занимался ботаникой в то время, как Эмилия с Валанкуром уходили вперед; молодой человек указывал ей на все, что особенно восхищало его, и читал на память целые стихотворения из итальянских и латинских поэтов, более всего нравившихся ей. В промежутках разговора, думая, что она этого не замечает, он устремлял задумчивый взор на ее лицо, так живо отражавшее движения ее души; и когда опять заговаривал, в тоне его голоса сквозила особенная нежность, — как он ни старался скрыть свое чувство. Мало-помалу такие паузы повторялись все чаще и чаще; но Эмилия боялась их; по натуре сдержанная, она теперь сама готова была говорить без умолку о лесах, долинах, горах, лишь бы только избежать опасности молчания. От самого города дорога шла все в гору, увлекая путешественников в высшие области атмосферы, где царили громадные ледники и белели вечные снега на вершинах гор. Путники часто останавливались и любовались этими величественными зрелищами; сидя на каком-нибудь диком утесе, где могли расти только каменный дуб да лиственница, глядели поверх темных хвойных лесов и пропастей, где не ступала нога человеческая, вниз в долину, лежащую до того низко, что громовой шум потока, пенящегося на дне, доносился до них слабым шепотом. Над этими утесами торчали другие, страшной вышины и самых фантастических очертаний: иные имели вид конусов, другие нависли над своим основанием огромными глыбами гранита, на краях которых лежали пласты снега, трепетавшие при малейшем звуке, грозя низринуться вниз в долину, все разрушая по пути. Кругом, со всех сторон, открывались поразительные виды — длинная перспектива горных вершин, подернутых голубоватой дымкой, или белых от снега; ледники и леса мрачной хвои.

Чистота и прозрачность воздуха в этих областях приводили путешественников в восторг; казалось, этот воздух очищал их душу и разливал в ней неопишемую отраду. Они не находили слов, чтобы выразить всю прелесть этого ощущения. У Сент Обера часто навертывались на глаза слезы, и он отходил от своих спутников. Валанкур от времени до

времени заговаривал с Эмилией и указывал ей на ту или другую подробность картины. Разреженность атмосферы, сквозь которую каждый предмет так отчетливо обрисовывался, восхищала ее и вводила в заблуждение, — ей не верилось, что предметы, казавшиеся так близко, в сущности находятся на большом расстоянии от них. Глубокая тишина царила в этих областях и нарушалась по временам только криком ястребов, кружившихся над утесами, или криком орла, высоко парящего в облаках. Порою путники слышали глухие раскаты грома, грохотавшего у их ног, в то время как над ними яркое голубое небо не омрачалось ни единым облачком, на полугоре носились длинными валами испарения, как бы уединяя наших путешественников от мира, расстилавшегося внизу. Эмилия любила наблюдать эти облака, постоянно изменявшие свои очертания и оттенки. Проехав несколько миль по этой области, путешественники стали постепенно спускаться к Руссильону, где местность, уже другого характера, также отличалась красотой. Они не без сожаления оглядывались на пройденное пространство; теперь глаз, утомленный величием зрелищ, с отрадой отдыхал на светлой зелени рощ и пастбищ, раскинувшихся по берегам реки, на скромных хижинах под тенью кедров, на резвой толпе крестьянских ребятишек и на усеянных цветами лощинах меж холмов.

Спускаясь вниз, путники увидели в отдалении, направо, одно из больших пиренейских ущелий, ведущих в Испанию; оно сверкало своими зубцами и башнями при последних лучах заката; внизу виднелись желтоватые макушки лесов, а в отдалении сияли горные вершины, еще тронутые багрянцем.

Сент Обер стал отыскивать глазами городок, к которому направили его жители Боже и где он намеревался остановиться на ночлег. Но пока не видно было никаких признаков жилья. Кроме той дороги, по которой они ехали, другой не было, так что насчет верности направления нельзя было сомневаться; с тех пор как они выехали из Боже, им не попадалось никаких побочных тропинок или перекрестных дорог, которые могли бы смутить их или ввести в заблуждение.

Солнце близилось к закату, и Сент Обер торопил возницу, приказывая ему ехать как можно скорее. Он чувствовал снова приступ болезненной слабости и жаждал отдыха после дня, проведенного в дороге. Между тем вдаль показался какой-то длинный обоз, состоявший из вереницы нагруженных мулов, людей, лошадей; он тянулся по склону противоположащей горы и то появлялся, то исчезал за лесом, так что численность его никак нельзя было определить. Что-то блестящее, вроде оружия сверкало в лучах заходящего солнца; мелькали военные доспехи на людях в авангарде, а также и среди обоза. Когда караван спустился в долину, из-за леса показался арьергард и обнаружилось, что это отряд войска. Сент Обер уже не сомневался, что это шайка контрабандистов, которые везли запрещенный товар через Пиренеи и по дороге были захвачены солдатами.

Путешественники так долго замешкались среди увлекательных и живописных гор, что ошиблись в своем расчете достигнуть Монтиньи на закате солнца; но, подвигаясь вперед по долине, они увидели на незатейливом мосту, перекинутом между двух высоких утесов, группу детей, которые бросали камни в поток, протекающий внизу, и наблюдали, как камень погружался в воду, вскидывая целый сноп белой пены и издавая глухой шум, которому вторило эхо в горах. Под мостом открывалась далекая перспектива долины, с водопадом, низвергающимся между скал, и хижинкой на утесе, осененной соснами. Судя по всему, отсюда недалеко было до какого-нибудь небольшого городка. Сент Обер велел вознице остановиться и стал звать ребятишек, чтобы расспросить их, далеко ли до Монтиньи; но за расстоянием и ревом потока его голоса не было слышно, а кручи у моста были такой страшной высоты и так отвесны, что вскарабкаться на них было бы невозможно людям непривычным. Поэтому Сент Обер не стал по-пустому терять времени. Они продолжали ехать еще долго после наступления сумерек; дорога была такая ухабистая, что, считая безопаснее идти пешком, все трое вышли из экипажа. Всплывал месяц, но свет его был слишком слаб, чтобы сослужить им службу. Осторожно пробираясь по дороге, они вдруг услышали звон к вечерне из какого-то монастыря. В сумерках нельзя было различить что-

либо похожее на здание, но звуки, казалось, раздавались из леса, на высотах с правой стороны. Валанкур предложил пойти разыскивать монастырь.

— Если нас не пустят туда на ночлег, — сказал он, — по крайней мере нам наверное объяснят, далеко ли до Монтиньи, и укажут дорогу.

Он поспешил уйти, не дожидаясь ответа Сент Обера, но тот остановил его.

— Я очень устал и ничего так не желаю, как отдохнуть. Мы все вместе отправимся в монастырь. У вас такой цветущий вид, что вы можете поневоле испортить нам дело; но когда монахи увидят меня и измученное лицо Эмилии, то они едва ли откажутся приютить нас.

С этими словами Сент Обер взял под руку Эмилию и, приказав Михаилу подождать немного на дороге, все трое стали взбираться в гору, направляясь по звону колокола. Сент Обер двигался с трудом, Валанкур предложил поддерживать его. Луна слабо озаряла их путь; вскоре над макушками деревьев показались какие-то башенки. Продолжая идти по звону, они вошли в лес; лучи луны скользили между листвой и бросали дрожащий, неверный свет на крутую тропинку, по которой они взбирались. Мрак и тишина, царившие кругом, дикость окружающей местности производили жуткое впечатление на Эмилию. Валанкур старался ободрить ее разговором.

После довольно продолжительного подъема Сент Обер стал жаловаться на усталость; пришлось остановиться отдыхать на маленьком зеленом пригорке, где деревья поредели и пропускали лунный свет. Сент Обер сел на траву между Валанкуром и Эмилией. Звон колокола прекратился, и глубокая тишина уже не нарушалась ни малейшим звуком: глухой ропот далекого потока, можно сказать, не нарушал безмолвия, а делал его еще глубже. Перед их глазами расстилалась долина, по которой они, только что ехали: скалы и леса налево, чуть-чуть посеребренные луной, представляли контраст с мрачной тенью, бросаемой противоположными скалами, лишь края которых были тронуты светом, а далекая перспектива долины вся утопала в желтоватом лунном тумане. Странники сидели некоторое время и наслаждались видом.

— Такие зрелища, — проговорил наконец Валанкур, — смягчают сердце, как звуки тихой музыки, и навевают чудную меланхолию, и кто хоть раз испытал это чувство, тот предпочтет его даже веселью. Эти зрелища пробуждают лучшие, самые чистые наши чувства, располагают нас к милосердию, сострадательности, дружбе. Кого я люблю, того люблю еще сильнее в такой час.

Голос его дрогнул, и он умолк. Сент Обер молчал. Эмилия заметила теплую слезу, скатившуюся на ее руку, которую он держал в своей. Она знала, о чем он думает — в эту минуту ее помыслы тоже были полны воспоминанием о покойной матери. Он очнулся как бы с усилием.

— Да, — проговорил он с подавленным вздохом, — в такой час память о тех, кого мы любили — в былое, навеки минувшее время, — проносится в наших думах, как мелодия отдаленной музыки в тиши ночной — нежная и гармоничная, как этот пейзаж, дремлющий в лунном свете. — После небольшой паузы Сент Обер прибавил: — Мне всегда казалось, что в такие минуты я мыслю с большей ясностью и проницательностью; как бесчувственно должно быть то сердце, которое не смягчается под влиянием подобных впечатлений! Ведь много есть таких людей на свете.

Валанкур вздохнул.

— Неужели в самом деле много? — спросила Эмилия.

— Пройдет еще несколько лет, моя Эмилия, — продолжал Сент Обер, — и ты улыбнешься, вспомнив свой вопрос — если не заплачешь при этом воспоминании. Однако пора! Я отдохнул, идем дальше.

Выйдя из леса, они увидели перед собой на зеленом пригорке тот монастырь, который разыскивали, обнесенный высокой стеной; постучались в старинные ворота; отворивший им монах повел их в небольшую смежную сторожку, где просил их подождать, пока он сходит доложить настоятелю.

Тем временем несколько иноков приходили поодиночке взглянуть на пришельцев;

наконец вернулся первый монах, и они последовали за ним в приемную, где настоятель сидел в кресле перед аналоем, на котором лежал большой фолиант. Он принял посетителей приветливо, однако не вставая с места, и после нескольких расспросов согласился приютить их.

Поговорив еще немного с настоятелем, путешественники удалились в комнату, где был накрыт ужин. А Валанкур, которого один из монахов любезно вызвался сопровождать, пошел разыскивать Михаила с его мулами. На полдороге вниз они уже услышали голос погонщика, повторяемый эхом.

Возница звал то Сент Обера, то Валанкура. Валанкур, дойдя до кареты, объяснил ему, что нечего бояться ни за себя, ни за своего господина, и, устроив его на ночлег в хижине на опушке леса, сам вернулся разделить с друзьями скромную трапезу, предложенную монахами.

Сент Обер чувствовал себя слишком нездоровым, чтобы быть в состоянии есть; Эмилия в своем беспокойстве за отца забывала о себе. Валанкур, молчаливый и задумчивый, но полный внимательности к своим спутникам, особенно заботился о том, чтобы доставить удобства и облегчение Сент Оберу; тот часто замечал, что, когда дочь просила его что-нибудь съесть или поправляла ему подушку за спиной, Валанкур бросал на нее взгляды, полные грустной нежности, а Эмилия, видимо, с удовольствием чувствовала на себе эти взгляды.

Разошлись рано. Эмилию проводила в ее комнату одна из монахинь, которую она тотчас же отпустила; на сердце у нее была печаль, и разговор с посторонним лицом был бы ей тягостен.

Девушка размышляла о том, что отец с каждым днем слабеет, и теперешнее его изнеможение приписывала скорее слабости его организма, чем тягостям дороги. В голове ее проносилась вереница мрачных мыслей, и на этом она заснула.

Часа два спустя ее разбудил звон колокола; она услышала торопливые шаги по коридору, куда выходила ее комната. Не знакомая с обычаями монастырской жизни, она всполошилась. Тревога за отца никогда не выходила у нее из головы; ей представилось, что, вероятно, ему сделалось худо. Торопливо вскочила она с постели, намереваясь бежать к нему, но остановилась пропустить людей, идущих по коридору и тем временем успела сообразить, что это колокол сзывает монахов к молитве.

Звон прекратился; опять наступила тишина.

Эмилия решила не ходить к отцу. Но спать ей не хотелось; луна ярко светила ей в комнату. Эмилия открыла окно и выглянула наружу.

Ночь была тиха и прекрасна: ни единого облачка на небе, ни один листочек не шевельнется на деревьях. Полночное пение монахов мягко раздавалось из часовни, расположенной на одной из низших скал — то был священный гимн, в тиши ночной возносившийся к небесам; вместе с ним возносилась и молитва Эмилии.

Глаза ее наполнились слезами восторга и благоговения к всемогущему Творцу; ее охватило то чистое благоговение, которое возвышает душу надо всем мирским, облагораживает ее, призывает познать Бога в Его могуществе и красоте Его творений, Его милосердие в бесконечности даруемых Им благ.

Полночное пение монахов вскоре сменилось безмолвием; но Эмилия все еще стояла у окна, наблюдая захождение луны и не желая нарушать своего блаженного настроения. Наконец она улеглась на свою постель и погрузилась в спокойный сон.

ГЛАВА V

*В долине, залитой лучами алыми.
Дышит любовь невинная, как вздох младенца,
свободный от забот*

Томсон

Сент Обер, достаточно отдохнувший за ночь, чтобы продолжать путешествие, выехал рано поутру с дочерью и Валанкуром в Руссильон, куда надеялся прибыть до наступления ночи. Местность была дика и романтична; по временам пейзаж смягчался и получал более приветливый характер.

В горах попадались живописные лесистые балки, покрытые яркой зеленью и цветами; или же вдруг открывалась широкая цветущая долина, где паслись стада овец и рогатого скота по берегам прелестной реки.

Сент Обер не раскаивался, что избрал этот маршрут, хотя и сегодня он принужден был много раз выходить из экипажа и взбираться пешком по крутым склонам и идти по краю глубоких пропастей. За это его вознаграждали дивная красота и разнообразие видов. Восторг его юных спутников еще удваивал его удовольствие и будил воспоминания из его собственной молодости, когда он впервые научился наслаждаться красотами природы. Ему доставляло удовольствие беседовать с Валанкуром и слушать его меткие замечания; ему нравились горячность и непосредственность его натуры, в его чувствах он угадывал прямоту и правдивость возвышенной души, еще не испорченной светом.

Сент Обер, задерживаясь иногда по дороге, собирая дикие растения, с удовольствием наблюдал Эмилию и Валанкура, которые шли впереди: молодой человек с восторгом и оживлением указывал ей на какую-нибудь величественную особенность пейзажа; она слушала и любовалась с кроткой серьезностью, в которой сквозила ее возвышенная душа. Они казались влюбленными, никогда не переступавшими за пределы этих родных гор, изолированными от суетности обыденной жизни, — существами, одаренными помыслами простыми и благородными, как эти горы, и полагающими все свое счастье в единении чистых, любящих сердец. Сент Обер улыбался, вздыхал над этими романтическими картинами счастья, созданными его фантазией, и опять вздыхал при мысли, до какой степени природа и безыскусственность мало знакомы свету, который считает все это романтическими бреднями.

«Свет, — продолжал он свои размышления, — глумится над страстью, которую редко испытывает: его обстановка, его интересы тревожат ум, развращают вкус, растлевают сердце; любовь не может существовать в сердце, утратившем кроткое достоинство невинности. Как искать любви в больших городах, где себялюбие, беспутство и неискренность вытесняют собою нежность, простоту и правду?»

Было около полудня, когда путешественники, на крутом опасом подъеме, вышли из экипажа и пошли пешком. Дорога извивалась по горе, покрытой лесом; но вместо того, чтобы следовать за каретой, они вошли под освежающую тень. В воздухе была разлита влажная прохлада, яркая мурава под деревьями, аромат диких цветов тимьяна и лаванды, величие сосен, вязов и орешника, бросавших тень на траву, делает это местечко очаровательным для отдыха. Местами густая зелень заслоняла вид на окрестности; в других местах можно было сквозь чащу проникнуть вдаль, и в воображении рисовались картины еще более прекрасные и живописные, чем все виденное до сих пор.

Паузы молчания, и прежде иногда прерывавшие беседы между Валанкуром и Эмилией, сегодня случались чаще обыкновенного. Валанкур беспрестанно переходил от оживления к глубокой задумчивости; иногда в его улыбке сквозила непритворная меланхолия — Эмилия не могла не понимать ее, потому что и ее сердце отзывалось на его грусть.

Сент Обер, отдохнув в тени, пошел дальше по лесу, стараясь по возможности держаться направления дороги; но вдруг к ужасу своему они заметили, что потеряли дорогу. Прельщенные живописностью местоположения, они шли по краю обрыва, тогда как дорога извивалась далеко в сторону, по верху скалы. Валанкур стал громко звать Михаила, но ответа не было, только эхо вторило его крикам; другие попытки его отыскать дорогу были также безуспешны. Вдруг они заметили на некотором расстоянии пастушью хижину, приютившуюся между деревьев, и Валанкур бросился туда за помощью. На пороге хижины играли два маленьких мальчика. Валанкур заглянул внутрь и не нашел никого; старший

мальчик сказал ему, что отец пасет стадо, а мать пошла вниз в долину, но скоро вернется. Валанкур стоял и соображал, что ему делать, в это время раздался откуда-то зычный голос Михаила, подхватываемый эхом. Валанкур отвечал на зов, руководствуясь направлением звука, пробовал пробраться сквозь чащу, покрывавшую обрыв. С усилием цепляясь за терновник и карабкаясь по кручам, он наконец отыскал Михаила, успокоил его и велел ему выслушать его внимательно. Дорога пролегла в некотором отдалении от того места, где остались Сент Обер с Эмилией; экипажу было бы трудно возвращаться назад к опушке леса; а так как для Сент Обера было бы слишком утомительно карабкаться по крутой и длинной дороге к месту, где стоял экипаж, то Валанкур решил искать другого, более легкого подъема.

Между тем Сент Обер и Эмилия тоже успели дойти до лесной избушки и, в ожидании возвращения Валанкура, уселись на примитивной скамейке, устроенной между двух сосен.

Старший из мальчиков бросил играть и, подойдя поближе, молча уставился на незнакомцев; младший же продолжал резвиться и звал брата к себе. Сент Обер с удовольствием наблюдал эту картину детской простоты; она вызвала у него воспоминания о его собственных мальчиках, которых он лишился приблизительно в таком же возрасте, и об их дорогой матери; эти воспоминания навели на него грустную задумчивость. Заметив это, Эмилия тотчас же запела одну из простых, веселых песенок, которые он так любил и которым она умела придавать чарующую прелесть. Сент Обер, улыбаясь сквозь слезы, взял ее руку и с нежностью пожал ее, затем старался рассеять грусть, наполнившую его сердце.

Пока она пела, вернулся Валанкур, но, не желая мешать ей, остановился послушать в отдалении. Когда она кончила, он подошел к своим спутникам и рассказал, что отыскал Михаила, а также тропу, по которой они могут взобраться по обрыву к своему экипажу. При этом он указал вверх на лесистую кручу, и Сент Обер окинул ее тревожным взглядом. Он уже был утомлен своей прогулкой пешком, а этот подъем казался ему просто неприступным. Но, делать нечего, надо было попытаться. Эмилия, всегда заботясь об удобствах отца, предложила ему сперва отдохнуть и пообедать, а потом уже пуститься в путь. Валанкур пошел к экипажу за провизией.

Вернувшись, он предложил подняться немного повыше по горе — там открывался роскошный вид на далекие окрестности. Совет был принят, но в эту минуту они увидели, что к детям подошла молодая женщина, стала ласкать их и плакать над ними.

Заинтересовавшись ее горем, наши путешественники остановились и стали наблюдать. Крестьянка взяла младшего ребенка на руки, но, заметив, что на нее смотрят чужие люди, поспешно отерла слезы и ушла в хижину. Сент Обер последовал за ней и, расспросив о причине ее отчаяния, узнал, что ее муж-пастух проводит здесь летние месяцы, чтобы пасти овец в горах, и вот прошлой ночью он лишился всего своего скромного достояния. Шайка цыган, давно уже наводившая страх на окрестности, угнала нескольких овец, принадлежавших его хозяину.

— Жак скопил немного денег, — рассказывала жена пастуха, — и на них купил собственных овец, — но теперь они должны перейти к его хозяину, взамен украденных; а хуже всего то, что хозяин, узнав о случившемся, перестанет доверять мужу охрану своих стад — он человек жестокосердый, и тогда куда мы денемся с нашими малютками?

Простодушное лицо женщины, искренность ее тона убедили Сент Обера в правдивости ее рассказа; Валанкур с участием спросил ее о стоимости украденных овец; ответ ее, по-видимому, смутил его. Сент Обер сунул крестьянке немного денег; Эмилия тоже дала монету из своего скромного кошелька; после этого они направились к намеченному местечку на горе. Но Валанкур остался позади и продолжал говорить с женой пастуха, плакавшей от смущения и благодарности. Он спросил ее, сколько еще понадобится денег, чтобы пополнить сумму за пропавших овец. Оказалось, что нужна сумма немногим меньше той, какую он имел при себе. Валанкур был смущен и раздосадован.

«Эти деньги, — размышлял он про себя, — могут осчастливить бедную семью; в моей власти отдать их ей. Но что же тогда будет со мной? как я доберусь до дома с той маленькой суммой, что останется у меня?»

С минуту он простоял в нерешимости. Тем временем подошел и сам пастух; дети бросились к нему навстречу. Одного из них он схватил на руки, другой уцепился за его полы. Взглянув на его печальное, расстроенное лицо, Валанкур сразу решил: он отдал все свои деньги, за исключением нескольких червонцев, и поспешно убежал вдогонку за Сент Обером и Эмилией, медленно подымавшимися по крутой тропинке. Редко случалось Валанкуру испытывать такую легкость на душе, как в эту минуту; сердце его так и прыгало от радости. Все окружающие предметы казались ему привлекательнее и красивее. Сент Обер заметил необычайное оживление на его лице.

— Чему вы так радуетесь? — спросил он.

— О, какой чудный день! — отвечал Валанкур, — как дивно светит солнце! как прозрачен воздух! какой волшебный вид!

— В самом деле, здесь восхитительно, — согласился Сент Обер; как человек опытный он понимал причину радостного настроения Валанкура.

— Какая жалость, что люди богатые, которые в состоянии доставить себе такую светлую радость, проводят дни в холодном мраке эгоизма! Дай Бог, чтобы для вас, мой юный друг, солнце всегда сияло так же ярко, как в эту минуту! Дай Бог, чтобы ваши собственные поступки всегда были для вас солнцем благодати и разума!

Валанкур, глубоко польщенный этой похвалой, мог ответить только благодарной улыбкой.

Они продолжали пробираться по лесу, между зеленеющими холмами, и когда достигли тенистой вершины, намеченной Валанкуром, у всех единодушно вырвался крик восторга. Позади того места, где они стояли, утес высился отвесной стеной с нависшими наверху глыбами скал; их серые тона резко выделялись перед яркой зеленью растений и диких цветов, растущих в расселинах, и казались еще темнее от мрачных сосен и кедров на вершине. Склоны пониже были окаймлены бахромой альпийского кустарника, а еще ниже виднелись кудрявые макушки орешника, среди которого ютилась хижина пастуха, только что виденная ими, с голубоватым дымком, подымавшимся в воздух. Со всех сторон высились величественные вершины Пиренеев; иные представлялись в виде огромных глыб мрамора, вид которых менялся ежеминутно от разнообразных эффектов освещения; другие, еще более высокие, имели снеговые вершины, между тем как склоны их были покрыты лесами сосен, лиственниц и дуба, спускавшимися до самой долины. То была одна из самых узких долин, ведущих из Пиренеев в Руссильон; ее зеленеющие пастбища и возделанные поля представляли резкий контраст с окружающим романтическим величием. Сквозь ущелье в горах виднелись вдали равнины Руссильона, подернутые голубоватой дымкой и сливающиеся с водами Средиземного моря; у моря, на холме, отмечавшем побережье, стоял одинокий маяк, вокруг которого вились стаи морских чаек. Позади можно было порою различить парус, ярко-белый под лучами солнца, двигавшийся в направлении маяка; а иной раз виднелся парус столь отдаленный, что как бы намечал отдельную линию между небом и волнами.

По ту сторону долины, как раз напротив того места, где отдыхали наши путники, открывалось скалистое ущелье, ведущее в Гасконь. Здесь не заметно было следов культуры. Гранитные скалы, окаймлявшие долину, подымались отвесно от самого основания и простирали свои обнаженные шпиги к облакам; они были лишены растительности и не оживлялись даже хижинами охотников. Местами одинокая гигантская лиственница бросала длинную тень над пропастью; там и сям на краю скалы виднелся надмогильный крест, как бы повествуя о судьбе того, кто отважился сюда забраться. Эти дикие места были известны, как притон бандитов; Эмилия так и ждала, что вот-вот они выползут из какого-нибудь оврага, подстерегая свою добычу. Вскоре, однако, попался на пути предмет, еще более поразивший ее: виселица, воздвигнутая на скале у входа в ущелье, как раз над одним из крестов, замеченных ею раньше. То были иероглифы, по которым можно было прочесть простую, но ужасную повесть. Эмилия ни слова не сказала отцу; но этот случай омрачил ее настроение, и она с беспокойством спешила вперед, чтобы добраться до Руссильона ранее

наступления ночи. Однако Сент Оберу необходимо было подкрепиться пищей; усевшись на сухой короткой травке, путники открыли корзину с провизией.

Отдых и чистый горный воздух оживили Сент Обера, и Валанкур был так очарован всем окружающим и разговором со своими спутниками, что как будто забыл, что надо спешить дальше. Окончив свой скромный обед, они поднялись и двинулись в путь. Сент Обер очень обрадовался, когда отыскался экипаж; он сел в него вместе с Эмилией; но Валанкур, желая еще ближе познакомиться с восхитительным краем, спустил с привязи своих собак и пошел бродить с ними по краям дороги; экипаж ехал медленно, и Валанкуру не трудно было нагонять его. Каждый раз, как представлялась картина особенно великолепная, он спешил оповестить об этом Сент Обера; хотя тот был слишком утомлен, чтоб идти пешком, но приказывал экипажу подождать, пока Эмилия взбиралась на соседнюю скалу полюбоваться видом. Под вечер они спустились с Нижних Альп, ограничивающих Руссильон и образующих величественную ограду вокруг этого прелестного края, оставляя его открытым только на востоке, со стороны Средиземного моря. Здесь местность уже носила следы тщательной культуры: равнины пестрели яркими, веселыми красками под действием благодатного климата и трудолюбивого населения. Померанцевые и лимонные рощи распространяли благоухание, и спелые плоды их рдели между листвой, а по склонам раскинулись роскошные виноградники. За ними леса и пастбища, города и деревни тянулись по направлению к морю, на сверкающей поверхности которого белели далекие паруса, а над всей картиной был разлит алый отблеск заката. Этот пейзаж с окружающими его Альпами представлял действительно редкую картину, соединение нежной красоты и величия — словно красавица, покоящаяся на груди великана.

Путешественники, достигнув равнины, проехали между изгородями цветущих мирт и гранатов к Арлю, где намеревались отдохнуть. Там они нашли скромный, но опрятный ночлег и провели бы очень приятный вечер, после утомления и наслаждений этого дня, если б настроение их не омрачалось мыслью о предстоящей разлуке. Сент Обер предполагал завтра же проехать к берегам Средиземного моря и затем следовать по берегу в Лангедок. А Валанкур теперь уже почти совсем поправившись и не имея более предлога продолжать путь со своими новыми друзьями, решил здесь же расстаться с ними. Сент Обер, которому он очень понравился, хотя и приглашал его ехать дальше, но не настаивал. Валанкур имел столько характера, чтобы устоять против соблазна принять приглашение; он чувствовал, что иначе окажется недостойным этой любезности. Итак на другое утро решено было расстаться; Сент Обер должен был ехать в Лангедок, а Валанкур намеревался искать новых живописных мест в горах, по пути домой. Весь этот вечер он был молчалив и задумчив; Сент Обер — ласков, но серьезен; Эмилия казалась сосредоточенной, хотя старалась накинуть на себя веселость. Это был один из самых грустных вечеров, проведенных ими вместе.

ГЛАВА VI

*Фортуна! благ твоих я не желаю!
Ты у меня отнять не в силах красоты природы.
Не можешь для меня закрыть сияющих небес.
Где лик свой ясный кажет нам Аврора!
Не можешь запретить ногам моим под вечер
Бродить по долам и лесам, по берегу ручья.
О, только б закалились нервы у меня и тело.
Тогда охотно я готов отдать игрушки взрослым детям.
Фантазию же, разум, добродетель никто не можету меня
отнять.*

Томсон

Поутру Валанкур завтракал вместе с Сент Обером и Эмилией; отец и дочь, по-видимому, плохо отдохнули за ночь. Сент Обер далеко не оправился от своего болезненного

припадка, напротив, к огорчению Эмилии, его состояние быстро ухудшалось.

В начале их знакомства Валанкур, конечно, назвал свое имя и фамилию. Сент Оберу семья его отчасти была знакома, так как родовое поместье, теперь собственность старшего брата Валанкура, отстояло всего миль на двадцать от «Долины», и он не раз встречался со старшим Валанкуром у соседей — помещиков. Это знакомство почти способствовало его сближению со своим молодым спутником.

Завтрак прошел почти в таком же молчании, как и вчерашний ужин, наконец они были выведены из задумчивости стуком колес под окнами; Валанкур вскочил и бросился к окну: действительно, это был их экипаж, приехавший за Сент Обером и Эмилией; молодой человек, ни слова не говоря, вернулся на свое место. Настал момент разлуки. Сент Обер выразил надежду, что Валанкур не проедет мимо его «Долины», не посетив их; Валанкур, горячо поблагодарив, отвечал, что не замедлит навестить своих новых знакомых. При этом он робко взглянул на Эмилию, а она улыбкой старалась замаскировать свои невеселые думы. Прошло еще несколько минут в искренней беседе, наконец Сент Обер вышел садиться в экипаж; Эмилия и Валанкур молча последовали за ним. Когда путешественники уже уселись, Валанкур стоял у дверей; никто из них не имел духу сказать последнее «Прощай!». Наконец Сент Обер первый произнес это грустное слово; Эмилия повторила его Валанкуру, тот отвечал ей, печально улыбаясь, и экипаж тронулся в путь.

Некоторое время путешественники ехали молча, в тихой задумчивости, не лишенной прелести.

Сент Обер первый нарушил молчание:

— Какой это милый, славный молодой человек! Давно я не встречал никого, кто пришелся бы мне так по сердцу после короткого знакомства. Он напомнил мне времена моей юности, когда и мне все казалось так ново и восхитительно!

Сент Обер вздохнул и опять погрузился в раздумье. Эмилия невольно оглянулась назад: Валанкур все еще стоял у дверей маленькой гостиницы и следил глазами за удаляющимся экипажем. Он увидал Эмилию и помахал рукой в знак приветия; она отвечала тем же.

— Помню, когда я был юношей, — продолжал Сент Обер, — я мыслил и чувствовал точно так же. Весь мир открывался передо мною, а теперь он скоро закроется...

— Зачем такие мрачные мысли, дорогой отец, — проговорила Эмилия дрожащим голосом, — надеюсь, ты проживешь еще много, много лет, на радость мне!

— Ах, моя Эмилия! — отвечал Сент Обер, — разве что ради тебя... надеюсь, что это так будет.

Он смахнул наворачнувшуюся слезу, старался улыбнуться и проговорил бодрым голосом:

— В пылких увлечениях искренней юности есть что-то такое особенно радостное для старца, если чувства его еще не были совсем развращены светом. В этом есть что-то бодрящее и оживляющее, как весна для человека больного; он упивается теплом и солнечным светом. Вот такой-то весной был для меня Валанкур.

Эмилия с нежностью пожала руку отцу; никогда еще его похвалы не доставляли ей такой радости, даже когда относились к ней самой.

Они ехали дальше мимо виноградников, рощ и пастбищ, восхищенные дивной красотой ландшафта, ограниченного с одной стороны величественными Пиренеями, а с другой океаном. Вскоре после полудня они достигли города Калиура, расположенного на Средиземном море. Здесь они пообедали и отдохнули, а потом по холодку продолжали путь по очаровательному побережью, тянущемуся до Лангедока.

Сент Обер желал поскорее добраться до Перпиньяна, где рассчитывал найти письма от г. Кенеля; эта надежда и побудила его немедленно выехать из Калиура, хотя ослабевшее тело его и нуждалось в немедленном отдыхе.

Проехав еще несколько миль, он заснул, и Эмилия, захватившая с собой две-три книги из дома, могла воспользоваться временем, чтобы почитать немного. Она стала искать одну из своих книг, которую Валанкур читал ей вслух накануне, и рассчитывала на удовольствие

увидеть те страницы, по которым недавно скользил взор нового друга; останавливаться на тех местах, которыми он особенно восхищался, вспоминать при этом его замечания, его мнения, словом, вызывать его образ перед своими умственными очами. Но ей нигде не удавалось найти эту книгу, а вместо нее она нашла другую, том поэм Петрарки, принадлежавший Валанкуру, с надписанным на нем его именем; из этой книги он часто читал ей выдержки, выражавшие трогательные чувства автора.

Она не решалась верить тому, что было так очевидно, а именно, что он нарочно оставил эту книгу вместо другой, утраченной ею, и что любовь участвовала в этом обмене. Но когда она открыла книгу с радостным нетерпением и увидела подчеркнутые им места, которые он читал вслух, и другие еще более выразительные и страстные, которые он не решался произнести, не надеясь на твердость своего голоса, тогда наконец она угадала истину.

В первую минуту она сознавала только одно — счастье быть любимой, но затем ей вспомнились разнообразные интонации его голоса, выражение его лица, когда он читал ей эти сонеты, душу, сквозившую в его словах и голосе, и она заплакала над книгой, выразительницей его чувства.

Они прибыли в Перпиньян вскоре после заката, и Сент Обер нашел там, как и ожидал, письма от своего родственника, Кенеля; содержание их так сильно взволновало и расстроило его, что Эмилия серьезно испугалась. Насколько позволяла ей деликатность, она просила отца сообщить ей причину своего огорчения; но он отвечал только слезами и тотчас же переменял разговор.

Эмилия не решалась настаивать, но печаль отца сильно беспокоила ее, и она провела ночь без сна и в тревоге.

На другое утро они продолжали путь вдоль побережья по направлению к Лекату, другому городу на Средиземном море, лежащему на рубеже Лангедока и Руссильона.

В дороге Эмилия возобновила вчерашний разговор и, по-видимому, была так глубоко удручена молчанием и унынием Сент Обера, что он наконец решился открыть ей свою душу.

— Мне не хотелось, Эмилия, — сказал он, — портить тебе удовольствие и мешать тебе любоваться этими прелестными местностями, поэтому я желал пока скрыть от тебя некоторые обстоятельства — ведь рано или поздно ты все равно их узнала бы. Но твое беспокойство заставило меня изменить намерение: ты, пожалуй, больше страдаешь теперь, чем будешь страдать, когда узнаешь всю суть. Посещение Кенеля имело для меня очень неприятное значение: он сообщил мне дурное известие, которое теперь подтверждает. Ты, вероятно, слыхала от меня о некоем Мотвиле из Парижа, но не знала, что часть моего личного состояния находится в его руках. Я вполне доверял ему и даже теперь готов верить, что он не совсем дурной человек. Стечение обстоятельств способствовало его разорению и... я тоже разорен, вместе с ним.

Сент Обер остановился, чтобы скрыть свое волнение.

— В письмах, только что полученных от г. Кенеля, — продолжал он, стараясь говорить с твердостью, — были вложены письма от Мотвиля, подтверждающие мои опасения.

— Неужели нам придется уехать из «Долины»? — спросила Эмилия после долгой паузы.

— Это еще не наверное, — отвечал Сент Обер, — все будет зависеть от соглашения, в какое может войти Мотвиль со своими кредиторами. Мой доход никогда не был велик, как тебе известно, а теперь он будет сведен до минимума. За тебя мне больно, Эмилия, за тебя я больше всего страдаю, дитя мое! — На последних словах голос его оборвался.

Эмилия нежно улыбнулась ему сквозь слезы и заговорила, стараясь совладать со своим волнением.

— Дорогой отец, не печалься ни за меня, ни за себя; мы еще можем быть счастливы; если «Долина» останется за нами, мы должны быть счастливы. Мы оставим всего одну служанку, и ты даже не заметишь сокращения твоего дохода. Успокойся, милый папа, нам не нужна та роскошь, которая так высоко ценится другими, мы не имеем к ней никакой склонности. А бедность не в силах лишить нас многих других радостей; она бессильна

отнять у нас нашу взаимную привязанность, унижить нас во мнении друг друга, а также в собственном мнении и мнении всех тех, кого мы ценим.

Сент Обер закрыл лицо платком и не мог проговорить ни слова; но Эмилия продолжала убеждать его в тех истинах, которые он же сам внушал ей с детства.

— Кроме того, дорогой отец, бедность не способна лишить нас духовных наслаждений. Она не может уничтожить в нас вкус к великому и прекрасному, не может отказать нам в средствах удовлетворять его; зрелища природы — эти дивные зрелища, так бесконечно превосходящие всякую искусственную роскошь, одинаково доступны и для бедного, и для богатого. На что же нам жаловаться, пока мы не нуждаемся в необходимом? Те удовольствия, каких богатство не может купить, по-прежнему останутся доступны нам. Значит, мы сохраним за собою высшие наслаждения природой и лишимся только суетных, искусственных удовольствий.

Сент Обер не мог произнести ни слова; он прижал Эмилию к своей груди, и слезы их смешались. Но то были слезы отрадные... После таких задушевных излияний всякие другие речи показались бы слабыми, и некоторое время оба молчали. Потом Сент Обер стал разговаривать о других предметах; хотя его дух, может быть, и не обрел своей прежней безмятежности, но по крайней мере с виду он стал спокойнее.

В середине дня достигли романтического города Леката; Сент Обер был утомлен, и они решили там ночевать. Вечером он через силу заставил себя пойти гулять с дочерью для осмотра окрестностей, откуда открывается вид на озеро Лекат, на Средиземное море, на часть Руссильона с Пиренеями и на значительное пространство роскошной провинции Лангедока, покрытой виноградниками; в ту пору уже начался сбор винограда. Сент Обер и Эмилия наблюдали оживленные группы крестьян, слушали веселые песни, приносимые бризом, и не без удовольствия обсуждали свое завтрашнее путешествие по этому благословенному краю. Сент Обер намеревался держаться морского берега. Вернуться домой немедленно, таково было отчасти его желание; но ему хотелось продлить хоть немного удовольствие дочери, которой нравилось это путешествие, а также попробовать, не окажет ли ему пользу морской воздух в его болезненном состоянии.

Итак, на другой день они продолжали путь по Лангедоку, держась морского берега. По-прежнему на заднем плане пейзажа высились величавые Пиренеи, направо расстился океан, а налево тянулись необозримые равнины, сливаясь вдаль с голубым горизонтом. Сент Обер был спокоен и много разговаривал с Эмилией. Впрочем, эта веселость была несколько искусственна; порою тень грусти пробегала по его чертам и выдавала его истинное настроение, однако эта мимолетная грусть быстро исчезала от улыбки Эмилии; Эмилия же улыбалась скрепя сердце, сознавая, что несчастья тяжело угнетают душу отца и его измученное тело.

Под вечер достигли небольшой деревушки верхнего Лангедока, где намеревались провести ночь; но для них не нашлось там постелей — время было горячее, начался сбор винограда, так что они принуждены были ехать дальше. Болезненная слабость и утомление, снова овладевшие Сент Обером, требовали для него немедленного отдыха, и становилось уже поздно; но делать было нечего, он приказал Михаилу погонять мулов.

Богатые равнины Лангедока, представлявшие во время сбора винограда картину праздничного веселья, уже не радовали взоров Сент Обера; его собственное состояние представляло печальный контраст с ликованием и красотой всего окружающего. Когда его томный взор скользил по этой картине, он думал про себя, что скоро его глаза закроются навеки.

«Эти далекие, великолепные горы, — размышлял он, глядя на цепь Пиренеев, простиравшуюся к западу, — эти роскошные равнины, голубой свод небес, ликующее сияние солнца скоро навеки скроются от моего взора! Я уже не услышу песни поселянина, не услышу голоса человеческого!»

Зоркие глаза Эмилии читали все происходившее в душе ее отца; она глядела ему в лицо с выражением такой нежной жалости, что он, бросив эгоистические сожаления,

сосредоточил все свои помыслы лишь на том, что ему придется оставить дочь свою одинокой, без опоры и покровительства. Эта мысль приводила его в отчаяние; он молча глубоко вздыхал, а она, поняв смысл этих вздохов, с нежностью пожимала его руку и отворачивалась к окну кареты, чтобы скрыть свои слезы. Солнце в эту минуту бросало последний желтый отблеск на волны Средиземного моря; быстро стали спускаться сумерки, только на западном горизонте еще теплился печальный луч, отмечая пункт, где село солнце среди мглы осеннего вечера. С берега подул прохладный ветерок, и Эмилия опустила стекло. Но воздух, живительный для здорового, больному человеку показался ледяным. Сент Обер пожелал закрыть окно. Он чувствовал себя так плохо, что более чем когда-либо жаждал отдыха и остановил возницу, чтобы осведомиться, далеко ли еще до следующей станции.

Михаил отвечал:

— Девять миль.

— Я чувствую, что не в состоянии ехать дальше, — проговорил Сент Обер, — осведомись по пути, нет ли какого-нибудь дома неподалеку, где бы мы могли приютиться на ночь.

Он откинулся на подушки экипажа, а Михаил, щелкнув бичом, пустил мулов вскачь, пока наконец Сент Обер, почти лишившийся чувств от толчков, не приказал ему остановиться. Эмилия с беспокойством выглянула из окна и увидела крестьянина, идущего по дороге; они подождали, покуда он поравнялся с ними, и спросили его, нет ли поблизости дома, где могут принять путешественников.

Крестьянин отвечал, что не знает такого.

— Правда, есть тут неподалеку замок в лесу направо, — прибавил он, — но, кажется, туда никого не пускают, да я и не могу указать вам дорогу — я не здешний.

Сент Обер хотел было задать ему еще несколько вопросов относительно замка, но человек круто повернулся и отошел. Сумерки быстро сгушались, и становилось все труднее подвигаться. Вскоре повстречался другой крестьянин.

— Как проехать вон к тому замку в лесу? — крикнул ему Михаил.

— К замку в лесу? — отозвался крестьянин, — вы хотите сказать, вон к тому, с башней?

— Насчет башни я ничего не знаю, — отвечал Михаил, — а скажите мне вон про то большое белое здание, что виднеется вдали меж деревьев.

— Ну да, это и есть башня; да вы-то кто такие будете, что туда собираетесь? — с удивлением спросил прохожий.

Сент Обер, услышав этот странный вопрос и заметив особенный тон, которым он был сделан, сам выглянул из кареты.

— Мы путешественники, — объяснил он, — ищем пристанища, куда бы нас пустили ночевать. Разве нет тут дома поблизости?

— То-то что нет, сударь; вам одно остается попытать счастья вон там, — отвечал крестьянин, показывая на лес, — только я бы вам не советовал туда забираться.

— Кому принадлежит этот замок?

— Я и сам не знаю, сударь.

— Что ж, замок необитаем?

— Не совсем, там, кажется, есть дворецкий да экономка...

Услышав это, Сент Обер решил все-таки ехать к замку и подвергнуться риску получить отказ. Поэтому он попросил крестьянина показать Михаилу дорогу, обещая вознаградить его за труд. Человек, помолчав немного, отвечал, что он идет в другую сторону по делу, но что тут нельзя заблудиться — стоит только въехать в аллею, которую он и указал издали. Засим поселянин пожелал путникам спокойной ночи и быстро ушел.

Экипаж направился к указанной аллее; Михаил слез с козел, чтобы отворить ворота, и они поехали между двух рядов старых дубов и ореховых деревьев, образовавших своими сплетенными ветвями высокий свод над головами. Было что-то такое мрачное и пустынное в этой аллее, там стояла такая жуткая тишина, что Эмилия вздрагивала от неприятного чувства

и, вспомнив, каким тоном крестьянин отозвался о замке, она стала придавать его словам таинственное значение, которого сначала и не уловила. Она старалась, однако, отогнать эти страхи, думая, что они навеяны ее мрачно настроенной фантазией, чувствительной к малейшему впечатлению. Экипаж медленно подвигался вперед: совсем стемнело, а кроме того, ухабы на дороге и часто попадающиеся выпуклые корни деревьев заставляли ехать осторожно. Вдруг Михаил совсем остановился; Сент Обер, высунувшись в окно, чтобы осведомиться о причине остановки, увидел какую-то фигуру, двигавшуюся на некотором расстоянии вдоль дороги. В потемках невозможно было различить, что это такое, и Сент Обер приказал Михаилу ехать дальше.

— Место-то уж больно дикое, — возразил возница, — жилья нигде не видать... Не лучше ли, ваша милость, повернуть назад?

— Поезжай еще немного дальше; если мы и тогда не увидим жилья, тогда вернемся назад на большую дорогу, — решил Сент Обер.

Михаил нехотя повиновался; он тащился шагом и Сент Обер опять высунулся из окна, чтобы несколько подогнать его, опять он увидел ту же фигуру. Он несколько встревожился; вероятно, мрачность обстановки делала его непривычно пугливым. Остановив Михаила, он велел ему окликнуть человека, идущего по аллее.

— А что, ваша милость, если это разбойник? — заметил Михаил.

— Ну так повернем обратно, тем более что я не вижу здесь и следов жилья...

Михаил тотчас же повернул назад и пустил мулов быстрой рысью, как вдруг раздался чей-то голос из-за деревьев слева. Это не был зов или приказ остановиться: голос был густой, глухой, почти не человеческий по звуку. Возница ударил по мулам и поскакал сломя голову, невзирая на темноту, ухабы и толчки; он ни разу не остановился, пока не достиг ворот, ведущих на большую дорогу — там только он поехал более умеренным шагом.

— Мне очень дурно, — сказал вдруг Сент Обер, схватив руку дочери.

— О Боже мой, тебе хуже, отец! — воскликнула Эмилия, испуганная его движением, — тебе хуже, а некому помочь! Что делать?

Сент Обер прислонился головой к ее плечу, а она обняла его рукой за талию и велела Михаилу опять остановиться. Когда замолкла трескотня колес, издали послышались звуки музыки: для Эмилии то был желанный голос надежды.

— О, тут где-то близко жилье! — сказала она, — скоро можно будет добыть помощь!

Она стала прислушиваться; звуки неслись издалека, как будто из глубины леса, окаймлявшего дорогу. Взглянув в ту сторону, она увидела при слабом свете месяца нечто похожее на замок.

Но достигнуть его было бы трудно. Сент Обер был слишком нездоров, чтобы выносить тряску экипажа. Михаил не мог отойти от своих мулов. А Эмилия, поддерживавшая отца, боялась оставить его; с другой стороны, ей было страшно отважиться так далеко — неизвестно куда и неизвестно к кому. На что-нибудь, однако, надо было решиться немедленно: Сент Обер приказал Михаилу ехать вперед потихоньку. Но не успели они сделать несколько шагов, как больной лишился чувств, и экипаж снова остановился. Сент Обер лежал без движения.

— Милый, дорогой отец! — восклицала Эмилия в отчаянии; ей казалось, что он умирает. — Скажи мне хоть одно слово, дай услышать звук твоего голоса.

Но ответа не было. В ужасе она послала Михаила зачерпнуть воды из речонки, протекавшей вдоль дороги; он принес воды в своей шляпе, и Эмилия дрожащими руками попрыскала лицо отца, которое при лунном свете казалось застывшим, как у мертвеца. Теперь она отбросила всякий личный страх, под влиянием более сильного чувства. Поручив отца попечению Михаила, она вышла из экипажа и отправилась одна искать замок, видневшийся вдали. Была тихая лунная ночь, и музыка, все раздававшаяся в воздухе, направила ее шаги с большой дороге в тенистый проселок, ведущий к лесу. Некоторое время все ее помыслы так всецело были поглощены беспокойством за отца, что за себя она уже не боялась; но вот вечерняя тьма и густые нависшие тени, совершенно не пропускавшие

лунного света, уединенность места опять напомнили ей рискованность ее положения. Музыка прекратилась; приходилось идти наугад. Одно мгновение она остановилась в смущении; но сознание отчаянного положения отца опять преодолело ее личные страхи, она двинулась вперед. Проселок упирался в лес; но Эмилия тщетно озиралась вокруг, надеясь увидеть жилище или хотя бы живое существо, тщетно старалась уловить хоть какие-нибудь звуки. Тем не менее она все шла вперед, сама не зная куда, избегая чащи леса и стараясь держаться вдоль опушки, пока наконец перед нею не открылось нечто вроде аллеи, ведущей к просеке, ярко освещенной луною. Пока она колебалась, идти ли по аллее или вернуться, до ее слуха стали доноситься звуки громких голосов, не то смех и веселье, не то шум подгулявших людей. Она остановилась в испуге. В эту минуту издали раздался голос, зовущий на помощь именно с той стороны, откуда она пришла; не сомневаясь, что это кричит Михаил, она в первую минуту решила было бежать назад; потом одумалась, рассудив, что только крайняя нужда могла заставить Михаила бросить своих мулов; опасаясь, что отец ее в эту минуту умирает, Эмилия устремилась вперед, со слабой надеждой добыть помощи от этих людей в лесу.

Сердце ее билось от страха и отчаяния; она часто вздрагивала от шороха сухих листьев под ногами. Голоса привели ее к той просеке, освещенной луною, которую она заметила раньше. Остановившись в некотором отдалении, она увидела между стволами круглую лужайку, а на ней группу каких-то фигур. Подойдя ближе, она убедилась, по платью, что это крестьяне, и тут же увидела несколько избушек, разбросанных по опушке леса. Пока она стояла в нерешимости, стараясь преодолеть свою робость, из одной избушки вышла группа девушек; заиграла музыка, и начались танцы. То была веселая музыка виноградарей — та самая, которую она уже слыхала издали. Сердце Эмилии, переполненное тревогой за отца, не могло не чувствовать контраста между этой сценой веселья и ее собственным бедственным положением. Она бросилась к группе пожилых людей, сидевших у дверей избы, и, объяснив свое горе, молила о помощи. Несколько человек сейчас же вызвались идти с ней, а она неслась как на крыльях по направлению большой дороги.

Они нашли Сент Обера очнувшимся от обморока. Дело в том, что, когда он пришел в себя и узнал от Михаила об уходе дочери, он испугался за нее, забыв о собственном положении, и послал Михаила за Эмилией. Он все еще был очень слаб и, не чувствуя себя в силах продолжать путь, опять заговорил о гостинице и о замке в лесу.

— В замке вам нельзя будет поместиться, — сказал один почтенный поселянин, пришедший с Эмилией из леса, — он почти необитаем; но если вы сделаете мне честь посетить мою хижину, я готов отдать в ваше распоряжение самую лучшую из наших комнат.

Сент Обер сам был француз, поэтому не удивился такому проявлению французской любезности; при всем своем болезненном расстройстве он оценил предложение и ласковые слова хозяина. Он был слишком деликатен, чтобы церемониться и колебаться, и не долго думая принял радушное приглашение крестьянина с такой же искренностью, с какою оно было сделано.

Экипаж поехал шагом по тому же проселку, по которому только что шла Эмилия, и скоро выехал на лужайку в лесу, ярко освещенную луною. Настроение духа у Сент Обера несколько улучшилось под влиянием радушной любезности своего хозяина и предвкушения скорого отдыха, что он с тихой радостью полюбовался на сцену веселья среди леса, сквозь чащу которого местами виднелись то хижина, то сверкающая вдали речка. Он прислушивался не без удовольствия к разудалым звукам гитары и тамбурина, и хотя у него навертывались слезы при виде незатейливой пляски крестьян, но то не были слезы грусти и сожаления. Иначе чувствовала себя Эмилия: непосредственный страх за отца сменился теперь тихой меланхолией, которая в силу контраста увеличивалась с каждым звуком музыки и веселья.

Танцы прекратились, когда подъехал экипаж — диковинка в этих глухих лесах; поселяне, сгорая от любопытства, гурьбою окружили карету. Узнав, что в ней больной приезжий, несколько девушек побежали домой и вернулись с корзинами винограда, и

наперерыв угощали путешественников.

Дорожная карета остановилась перед чистенькой избушкой; почтенный хозяин ее помог Сент Оберу сойти и повел его с Эмилией в небольшую комнату, освещенную только луной, проливавшей свой свет в открытое окно. Сент Обер, радуясь отдыху, расположился в кресле и с наслаждением вдыхал прохладный, благоуханный воздух; ветерок слегка колыхал жимолости, обрамлявшие окно, принося в комнату их нежный аромат. Хозяин, которого звали Лавуазен, удалился, но скоро вернулся с плодами, кринками молока и другим скромным деревенским угощением. Поставив все это на стол с приветливой улыбкой, он отошел и встал за креслом гостя. Сент Обер настоял на том, чтобы он тоже сел с ними за стол. Лавуазен рассказал ему много интересного о себе и о своей семье, — рассказ был увлекателен, так как шел от чистого сердца и рисовал картину тихой, дружной семейной жизни. Эмилия сидела возле отца и держала его за руку; слушая речи старика, она сердцем сочувствовала ему и пролиwała слезы, печально размышляя о том, что смерть, вероятно, скоро отнимет у нее самое дорогое, что у нее есть на свете. Кроткий лунный свет осеннего вечера и далекая музыка, теперь перешедшая на жалобную мелодию, усиливали ее грусть. Старик продолжал говорить о своей семье, а Сайт Обер молча слушал.

— У меня осталась в живых только дочь, — говорил Лавуазен, — она счастлива замужем, а для меня она все в жизни. Когда я потерял жену, — добавил он со вздохом, — я переселился жить в семейство Агнессы: у нее несколько человек детей — все они пляшут там на лугу как стрекозы — дай Бог им подольше так веселиться! Я надеюсь умереть среди моих детей, сударь. Я уже стар и не могу рассчитывать прожить долго, но какое утешение в сознании, что умрешь окруженный своими дорогими домочадцами...

— Добрый друг мой, — прервал его Сент Обер дрожащим голосом, — надеюсь, вы еще долго проживете среди детей своих!

— Ах, сударь, в мои годы на это нельзя рассчитывать! — возразил старик и задумался, — да я и не желаю, — продолжал он, — я верю, что когда умру, то пойду на небо, куда раньше попала моя бедная жена; иногда мне представляется вот в такую тихую лунную ночь, что я вижу ее гуляющей под деревьями, которые она так любила. Как вы думаете, сударь, можно будет нам иногда навещать близких на земле после того, как душа наша расстанется с телом?

Эмилия не могла долее заглушить свою сердечную тоску; слезы градом полились из глаз ее на руку отца. Он сделал над собой усилие, желая заговорить, и наконец произнес тихим голосом.

— Я надеюсь, что нам разрешено будет смотреть с высоты небес на тех, которых мы оставили на земле; но это не более, как надежда: загробная жизнь скрыта от наших взоров; единственные наши руководительницы — вера и надежда. Нам не сказано, что бестелесные души действительно наблюдают за

своими близкими на земле, но мы можем чистосердечно надеяться, что это так. От этой надежды я никогда не отрешусь, — продолжал он, отирая слезы с лица дочери, — это уладит самые тяжелые минуты кончины!

По лицу его тихо катились слезы; Лавуазен плакал тоже; наступила пауза молчания. Немного погодя Лавуазен заговорил опять.

— Но вы верите, сударь, что мы встретимся на том свете с теми, кого любили на земле? Хотелось бы этому верить!

— Так и верьте, — отвечал Сент Обер, — жестоки были бы терзания разлуки, если думать, что разлука будет вечной. Полно плакать, Эмилия, мы с тобой встретимся в лучшей жизни!

Лавуазен почувствовал, что он коснулся больного места, и старался переменить разговор.

— Однако, что же это мы сидим впотемках? Я забыл принести свечу!

— Нет, — остановил его Сент Обер, — я люблю лунный свет! Садитесь, друг мой. Эмилия, дорогая моя, теперь я чувствую себя лучше, чем за весь день: этот воздух оживляет

меня. Я наслаждаюсь чудным вечерним часом и тихой музыкой, доносящейся издали. Улыбнись же, душа моя! Кто это так искусно играет на гитаре? Это два инструмента или эхо?

— Должно быть, эхо, сударь. Эта гитара часто слышится по вечерам, когда все кругом тихо, но никому неизвестно, кто на ней играет; иногда ее сопровождает голос, такой нежный и грустный, что думается, уж не водятся ли в лесу духи?

— Не духи, конечно, а простые смертные, — заметил Сент Обер с улыбкой.

— Случалось мне слышать эту музыку в полночь, когда мне не спалось, — продолжал Лавуазен, делая вид, что не слышал замечания, — почти под окном у меня. Я никогда не слыхивал музыки, похожей на эту. Она наводила меня на мысли о моей бедной жене, и я начинал плакать. Иногда я подходил к окошку, высовывался наружу, но тотчас же все замолкало и кругом не было видно ни души. Уж я слушал-слушал, и мне делалось так жутко, что даже шорох листьев, волнуемых ветерком, заставлял меня вздрагивать. Говорят, часто случается, что люди слышат эту музыку перед смертью. Но сколько лет я слыхал ее, а вот все не умираю!..

Эмилия сначала улыбалась, как только заговорили об этом нелепом суеверии, но в теперешнем состоянии духа не могла не почувствовать его заразительности.

— Ну и что же, друг мой, — спросил Сент Обер, — неужели никто не отважился проследить, откуда раздаются звуки? Легко было набрести и на музыканта.

— Как же, многие пробовали проследить звуки по лесу, но музыка уходила все дальше и дальше. Тогда наши крестьяне, трусая, как бы не попасть в беду, прекращали поиски. Обыкновенно эта музыка не начинается так рано, а всегда попозднее, так около полуночи, вот когда эта яркая планета, что встает из-за далекой башни, опускается за лес налево.

— Какой башни? — с живостью подхватил Сент Обер, — я не вижу никакой.

— Извините, сударь, но отсюда виднеется башня и луна прямо светит на нее — вон в конце аллеи, далеко отсюда. Самый же замок скрыт за деревьями!

— Да, да, папа, — вмешалась Эмилия, — разве ты не видишь что-то яркое, сверкающее над темным лесом? Мне кажется, это металлический флюгер, на который падает лунный свет.

— Правда, правда, теперь я вижу, на что ты указываешь. Кому же принадлежит замок?

— Владельцем его был маркиз де Вильруа, — отвечал Лавуазен.

Сент Обер казался взволнованным.

— Вот как! — промолвил он, — неужели мы так близко от Леблана?

— Прежде это было любимое имение маркиза, — продолжал Лавуазен, — но впоследствии оно опостылело ему, и он не показывался сюда много лет. Недавно разнесся слух, будто он умер и замок перешел в другие руки.

Сент Обер вздрогнул, услышав эти слова.

— Умер! — воскликнул он. — Боже мой! Когда же это случилось?

— Говорят, недель с пять тому назад. Да разве вы знавали маркиза, сударь?

— Поразительно! — промолвил Сент Обер, словно не слыша вопроса.

— Почему ты находишь это поразительным, папа? — спросила Эмилия с робким любопытством.

Не отвечая, он опять погрузился в задумчивость; через несколько минут, оправившись немного, он спросил — кто наследовал поместье?

— Я позабыл, как его величают, — отвечал Лавуазен, — его сиятельство проживает больше в Париже, сюда его и не ждут.

— Так, значит, замок заколочен?

— Почти что так, сударь. Старуха-домоправительница да ее муж, дворецкий, присматривают за домом, но сами живут отдельно во флигельке.

— Замок, вероятно, большой, — заметила Эмилия, — и для двоих там пустынно?

— Да, в нем жутко, барышня, — подтвердил Лавуазен. — Я бы ни за какие блага не согласился провести там ни одной ночи, хоть озолотите меня.

— О чем это вы? — спросил Сент Обер, очнувшись от своих дум.

Когда хозяин повторил свои последние слова, Сент Обер застонал, но как будто боясь, чтобы Лавуазен не заметил его расстройства, поспешил спросить, давно ли он живет в этом крае.

— Почти что с детства, сударь, — отвечал старик.

— Значит, вы помните покойную маркизу? — спросил Сент Обер изменившимся голосом.

— Еще бы, сударь! Многие ее здесь помнят.

— В таком случае вам известно, что это была прекраснейшей души превосходнейшая дама. Она заслуживала лучшей участи.

На глазах Сента Обера навернулись слезы.

— Довольно, — проговорил он голосом, прерывающимся от волнения, — довольно, друг мой.

Эмилия, чрезвычайно удивленная странной выходкой отца, однако воздержалась от каких-либо расспросов.

Лавуазен стал извиняться, но Сент Обер прервал его:

— Извинения тут неуместны, — молвил он. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы упоминали о музыке, которую мы только что слышали.

— Да, да... тсс! вот она опять: слышите голос! — Все примолкли.

Вскоре голос замер, а инструмент, сопровождавший его, еще звучал некоторое время тихой мелодией.

Сент Обер заметил, что тон этого инструмента гораздо полнее и мелодичнее гитары и вместе с тем мягче и печальнее лютни.

Все трое продолжали слушать, но звуки уже не повторялись.

— Как странно! — проговорил наконец Сент Обер.

— Очень странно! — отозвалась Эмилия, и все опять замолчали.

После долгой паузы Лавуазен заговорил:

— В первый раз я услышал эту музыку пятнадцать лет тому назад. Помню, было это в чудную летнюю ночь — вот как нынче, но в гораздо более поздний час. Я бродил по лесу один, у меня было тяжело на душе: захворал один из моих сыновей, и мы боялись потерять его. Весь вечер я просидел у изголовья

мальчика, пока мать его спала, потому что всю предыдущую ночь она не сомкнула глаз. Просидев тот вечер у постели, я вышел подышать свежим воздухом; день был очень душный. Бродя под деревьями в задумчивости, я услышал музыку в отдалении и подумал, что это Клод играет на своей флейте, как это часто бывало летним вечером, на пороге дома. Но когда я вышел на просеку, где не было деревьев (никогда этого не забуду) и стал смотреть на северное сияние, плававшее на небе, я услышал вдруг такие звуки, что описать их невозможно... То была какая-то ангельская мелодия; я напряженно глядел на небо, точно ожидая увидеть самих ангелов. Придя домой, я рассказал, что слышал; но домашние стали надо мной смеяться, говоря, что это наверное играли пастухи на своих свирелях, а я, конечно, не мог разубедить их. Однако несколько дней спустя моя жена сама слыхала те же звуки и была очарована не менее меня. Отец Дени напугал ее, сказав, что эта музыка предвещает смерть ее ребенка, — будто бы такое есть поверье.

Услыхав это, Эмилия вздрогнула от суеверного страха — чувства, совершенно для нее нового, и не могла скрыть от отца своего волнения.

— Однако наш мальчик остался жив, невзирая на предсказания отца Дени.

— Отец Дени! — подхватил Сент Обер, слушавший этот старческий рассказ с терпеливым вниманием. — Разве тут есть монастырь поблизости?

— Как же, есть, сударь; обитель Сен Клер недалеко отсюда — на берегу моря.

— А! — воскликнул Сент Обер, точно его осенило какое-то внезапное воспоминание. — Обитель Сен Клер!

Эмилия взглянула на отца и заметила облако печали и даже ужаса, омрачившее его

лицо; вслед затем черты его точно застыли, и при серебристом свете луны он походил на мраморное изваяние.

— Но, милый отец, — заговорила Эмилия, желая рассеять его грустные мысли, — ты забываешь, что тебе нужен отдых. Если позволит наш добрый хозяин, я приготовлю тебе постель: я ведь знаю твои привычки.

Сент Обер, опомнившись и ласково улыбнувшись, просил ее не утомлять себя еще и этими заботами. Лавуазен, увлекшийся своими воспоминаниями и позабывший на минуту о своем госте, вскочил, в смущении извинился, что до сих пор не позвал Агнессу, и торопливо вышел из комнаты.

Через несколько минут он вернулся со своей дочерью, Агнессой, миловидной молодой женщиной; от нее Эмилия узнала то, чего раньше и не подозревала: для того, чтобы поместить гостей, некоторые члены семьи Лавуазена должны были уступить свои постели.

Это известие смутило Эмилию, но гостеприимная Агнесса успокоила ее; решили послать детей и Михаила ночевать к соседям.

— Если мне будет лучше завтра, Эмилия, — сказал Сент Обер, — я выеду очень рано; надо спешить домой. При теперешнем состоянии моего духа и тела я не могу наслаждаться путешествием и мне хотелось бы поскорее добраться домой, в «Долину».

Хотя Эмилия и сама желала вернуться, но все-таки огорчилась, услышав о таком внезапном решении отца — в этом она видела доказательство, что он чувствует себя хуже; после этого Сент Обер удалился на покой, а Эмилия пошла в свою маленькую каморку, но не ложилась спать: мысли ее вернулись к сегодняшнему разговору о состоянии душ умерших. Эта тема была особенно близкой ее сердцу теперь, когда она имела причины думать, что дорогой отец ее скоро отойдет в иной мир. Она задумчиво прислонилась к маленькому оконцу и в глубокой грусти устремила глаза свои на небо, синий безоблачный свод которого был густо усеян звездами, быть может, мирами, населенными духами, расставшимися со своей земной оболочкой. В то время как взор ее блуждал по безбрежному эфиру, помыслы ее вознеслись к Богу и к будущей жизни. Ни малейший звук суетного мира не прерывал течения ее дум; веселые танцы прекратились и все обитатели поселка разошлись по домам. Воздух в лесу был тих и неподвижен, порою далекий звон овечьего колокольчика или стук закрываемого окна нарушал безмолвие ночное. Наконец, замерли и эти последние звуки жизни. Как очарованная, со слезами на глазах, полная благоговения, она продолжала стоять у окна, пока не спустился на землю мрак полуночи и луна не закатилась за лес. Эмилии вспомнилось сильное волнение отца при известии о смерти маркиза Ла Вильруа и о судьбе его вдовы, маркизы. Всею душой она заинтересовалась таинственной причиной этого волнения. Ее удивление и любопытство были возбуждены тем сильнее, что она не помнила, чтобы когда-нибудь раньше слышала от отца фамилию Вильруа.

Однако никакая музыка не нарушила тишину ночи, и Эмилия, вспомнив, что уже очень поздно, а завтра ей придется вставать рано, отошла наконец от окна и легла спать.

ГЛАВА VII

*Пусть те свою оплакивают долю.
Кто упованье возлагает лишь на здешний бренный мир, Но души
высшие глядят и за пределы гроба.
С улыбкою они судьбу встречают и дивятся,
Как можно так тужить? Разве весна
Вовеки не вернется в эти доли?
Разве волна навеки погребла светило дня?
Но скоро снова засияет на востоке солнце.
Опять весна все воскресит живительным дыханьем. Украсит
рощу и луга!*

Битти

Эмилия, разбуженная, по ее просьбе, рано поутру, проснулась мало освеженная отдыхом: всю ночь ее преследовали тревожные видения и нарушали сон — эту лучшую отраду несчастных. Но когда она открыла окно, выглянула в лес, озаренный утренним солнцем, и в комнату ворвался чистый, свежий воздух, на душе у нее стало легче. Все кругом дышало бодрой, здоровой свежестью; в ушах ее раздавались приятные, радостные звуки: утренний благовест монастыря, слабый рокот морских волн, пение птиц, отдаленное мычание стада, которое пробиралось вдали между стволов.

Пораженная поэзией окружающего, Эмилия отдалась задумчивой прелести настроения, и пока она стояла у окна, поджидая Сент Обера, мысли ее сложились в следующие строфы:

РАННЕЕ УТРО

Какое наслаждение бродить под сенью леса,
Когда предрассветный сумрак
Еще царит в дремлющей чаще
И постепенно тает от багрянца утренней зари.
В тот час каждый цветок новорожденный,
Обрызганный слезой росы,
Подымет свою свежую головку,
Повертывает к свету чашечку свою
И посылает в воздух сладкий аромат.
Как свеж бриз, насыщенный благоуханием.
Несущий мелодии пробудившихся птиц.
Жужжание пчелы под зеленым шатром
И песню лесника, мычанье дальних стад!..
Там вдалеке сквозят за листвою
Суровые вершины гор,
А дальше моря глубокое лоно
С резвыми парусами, тронутыми солнечным лучом.
Но тщетны и прохлада леса, и дыханье мая,
И музыка, приносимая ветерком,
И солнца луч сквозь росистую дымку.
Когда разрушено здоровье и сердце к радости остыло.

Вскоре Эмилия услышала движение внизу, а потом и голос Михаила, разговаривающего со своими мулами, в то время как он выводил их из соседнего сарая. Эмилия вышла и у дверей встретила с Сент Обером. Она повела его вниз в маленькое зальце, где они вчера ужинали; там они нашли накрытый завтрак и хозяина с дочерью, ожидавших своих гостей, чтобы пожелать им доброго утра.

— У вас завидный домик, — сказал им Сент Обер, — такой веселый, чистенький, уютный. А воздух, которым здесь дышишь! — право, если что может поправить расшатанное здоровье, то именно такой воздух!

Лавуазен поклонился в знак благодарности и отвечал с любезностью истинного француза.

— Нашей избушке действительно можно позавидовать, сударь, с тех пор, как вы и ваша барышня почтили ее своим посещением.

Сент Обер ласково улыбнулся на комплимент и сел за стол, уставленный плодами, молоком, свежим сыром, маслом и кофе. Эмилия, внимательно наблюдавшая за отцом и заметившая, что он очень нездоров, старалась уговорить его, чтобы он отложил отъезд до после полудня. Но он стремился домой и выражал свое желание с настойчивостью, для него непривычной. Он уверял, что сегодня чувствует себя не хуже обыкновенного и легче вынесет путешествие в прохладные утренние часы, чем в другую пору дня. Но в то время как он разговаривал со стариком хозяином и благодарил его за гостеприимство, Эмилия

заметила, что лицо его меняется; не успела она броситься к нему, как он в бессилии откинулся на спинку кресла. Через несколько минут он очнулся от внезапного обморока, но чувствовал себя так плохо, что не в состоянии был ехать. Посидев еще немного и стараясь побороть свое нездоровье, он попросил, чтобы его свели наверх и уложили в постель. Эмилия перепугалась, но по возможности скрывала свое беспокойство от отца и подставила ему свою дрожащую руку, чтобы помочь подняться по лестнице.

Улегшись снова в постель, больной пожелал, чтобы позвали Эмилию, горько плакавшую в своей комнате. Когда она пришла, он движением руки велел всем прочим выйти вон. Оставшись наедине с дочерью, больной протянул ей руку с выражением такой нежности и скорби, что она не выдержала и залилась горячими слезами. Сент Обер, казалось, боролся с собою, стараясь обрести твердость духа, но долго не мог произнести ни слова, а только пожимал ее руку и смахивал слезы, катившиеся из его глаз.

— Дорогое дитя мое, — начал он наконец, через силу улыбаясь, — дорогая моя Эмилия!..

Тут он опять остановился, поднял глаза к небу, как бы с мольбою, и продолжал уже более твердым голосом: в его взорах была и отеческая нежность и торжественность мученика.

— Дорогое дитя мое, я желал бы смягчить тяжелую правду, которую имею открыть тебе, но не могу притворяться. Да и было бы слишком жестоко обманывать тебя. Скоро нам с тобою придется расстаться; так будем же открыто говорить о нашей разлуке, чтобы приготовиться вынести ее!

Голос его опять прервался; плачущая Эмилия еще крепче прижала его руку к своей груди, из которой вырывались судорожные рыдания, но не поднимала глаз.

— Не будем терять понапрасну этих последних минут; я хочу говорить с тобой об одном крайне важном деле и взять с тебя торжественное обещание; после этого мне станет легче. Ты могла заметить, душа моя, как сильно я стремлюсь домой, но ты не знаешь — почему. Выслушай, что я имею сказать тебе. Но постой, прежде всего дай мне одно обещание, — сделай это для твоего умирающего отца!

Тут Сент Обер умолк. Эмилия, пораженная его последними словами, точно ей впервые представилась мысль о возможности его близкой смерти, подняла голову. Слезы ее высохли и, взглянув на него с выражением глубокой душевной скорби, она без чувств откинулась на спинку стула. На крик Сент Обера прибежали Лавуазен с дочерью и употребили все усилия, чтобы привести ее в сознание; но это долго им не удавалось. Когда она, наконец, пришла в себя, Сент Обер был так измучен вынесенной тяжелой сценой, что в первые минуты не имел сил говорить. Его несколько оживило лекарство, поданное ему Эмилией. Оставшись с нею опять наедине, он старался успокоить и утешить ее. Она бросилась ему на шею, долго плакала на его груди; от горя она утратила способность понимать, что он говорил ей; пришлось прекратить успокоительные речи, в действительность которых он сам не верил в эту минуту, и слезы их смешались. Наконец, вернувшись к сознанию долга, Эмилия поняла, что не следует еще более расстраивать отца. Она осушила слезы и сказала ему, что готова слушать.

— Дорогая Эмилия, — сказал Сент Обер, — милое дитя мое, мы должны со смиренным упованием возносить наши молитвы к Господу. Он всегда оказывал нам покровительство и утешение во всякой опасности, всяком горе; Его око видит нас во все моменты нашей жизни. Он не покинет нас, не захочет нас покинуть. Его святой охране я поручаю тебя, дитя мое! Перестань же плакать, моя Эмилия. В смерти нет ничего нового и поразительного, все мы родились, чтобы умереть. Смерть не страшна тем, кто уповает на благость всемогущего Бога. Если б я остался жив теперь, то все равно через несколько лет, по закону природы, я принужден был бы расстаться с жизнью: старость со всеми ее немощами, лишениями и печалью выпала бы на мою долю. И потом все равно наступила бы смерть, вызывая у тебя те же слезы, что ты проливаешь теперь. Скорее радуйся, дитя мое, что я избавлюсь от лишних страданий и что мне дано умереть с душою спокойной и доступной всем утешениям

веры.

Сент Обер остановился, утомленный длинной речью; Эмилия пыталась выказать самообладание и успокоить его уверенностью, что слова его не были напрасны.

Отдохнув немного, он продолжал:

— Перейду теперь к предмету особенно близкому моему сердцу. Я говорил, что хочу взять с тебя торжественное обещание: дай мне его сейчас же, прежде чем я объясню тебе главное обстоятельство, к которому оно относится. Есть и другие, но о них, ради твоего спокойствия, тебе лучше и вовсе не знать. Обещай же мне, что ты свято исполнишь то, о чем я попрошу тебя.

Эмилия, пораженная торжественностью этих слов, осушила свои слезы и поклялась исполнить все, чего он ни пожелает; при этом она дрожала, сама не зная от чего.

— Я слишком хорошо знаю тебя, моя Эмилия, — продолжал Сент Обер, — чтобы опасаться, что ты не сдержишь своего обещания, а тем более обещания, данного с такой торжественностью. Так слушай же: в каморке, смежной с моей спальней, у нас в доме есть подвижная доска в полу; ты узнаешь ее по сучку

особенной формы на ее поверхности, это вторая доска от стены, против дверей. На расстоянии около сажени от этого конца, ближе к окну, ты увидишь поперек доски черту, как будто доска в этом месте была надставлена. Поднять ее можно следующим образом: придави ногой черту на доске, тогда конец ее опустится и она легко скользнет под другие доски. Под нею ты увидишь тайник.

Сент Обер остановился перевести дух; Эмилия слушала с напряженным вниманием.

— Понимаешь мои объяснения, дитя мое? — спросил он. Эмилия отвечала утвердительно, хотя от волнения едва могла говорить.

— Итак, когда ты вернешься домой... — продолжал он с тяжелым вздохом.

При этих словах ей живо представилась вся печаль такого возвращения, и она судорожно зарыдала. Сент Обер, сам взволнованный, несмотря на решимость крепиться, плакал вместе с нею.

Через несколько минут он овладел собой.

— Дорогое дитя мое, утешься, — сказал он, — когда меня не станет, ты не будешь покинута: я оставляю тебя под охраной Провидения, никогда не покидавшего нас. Не огорчай меня своим чрезмерным отчаянием; лучше своим примером научи меня нести мое горе.

Но чем больше Эмилия старалась сдержать свое волнение, тем больше она находила это невозможным.

Сент Оберу становилось все труднее и труднее говорить, но он вернулся к делу:

— Итак, душа моя, когда ты приедешь домой, ступай сейчас же в эту комнатку. Под указанной мною доской ты найдешь сверток бумаг. Теперь слушай хорошенько, потому что обещание, данное тобою, преимущественно касается этого пункта. Эти бумаги ты должна сжечь, — торжественно приказываю тебе — сжечь их, не читая.

В эту минуту изумление Эмили заслонило ее горе; она решилась спросить — зачем это необходимо?

Сент Обер отвечал, что если бы он считал нужным объяснять ей свои причины, то ему не для чего было бы брать с нее клятвы.

— Для тебя будет достаточно, дорогая моя, глубокого сознания всей важности исполнения моего завета. Под этой же доской, — продолжал он, — ты найдешь двести пистолей в шелковом кошельке. В сущности этот тайник был устроен в замке, чтобы прятать там все наличные деньги в те тревожные времена, когда шайки грабителей производили набеги на усадьбы, пользуясь смутами. Но я должен взять с тебя еще одно обещание, а именно, что ты никогда, каковы бы ни были твои обстоятельства в будущем — ни за что не продашь замок. Даже в случае твоего замужества ты должна включить такое условие в свой брачный контракт.

Далее больной подробно изложил ей свои теперешние обстоятельства, прибавив:

— Те двести червонцев, вместе с небольшой суммой, находящейся при мне в кошельке — вот все, что я могу оставить тебе по части наличных денег. Я уже говорил тебе о своих денежных делах с г.Мотвилем в Париже. Ах, дитя мое, я оставляю тебя бедной, но не в нищете, — добавил он после долгой паузы.

Эмилия была не в силах отвечать ему; она опустилась на колени у его постели, спрятала лицо в складки одеяла и пролиwała слезы.

После этого разговора Сент Обер, видимо, успокоился духом; но, утомленный долгим усилием, он впал в полудремоту. Эмилия продолжала сидеть у его изголовья и плакать. Вдруг раздался легкий стук в дверь.

Пришел Лавуазен доложить, что внизу дожидается духовник из соседнего монастыря, пришедший напутствовать Сент Обера. Эмилия не позволила тревожить задремавшего отца, но просила, чтобы монах не уходил из дома.

Когда Сент Обер очнулся от дремоты, мысли его были так спутаны, что он в первую минуту не узнал даже Эмилии. Но вот губы его зашевелились, он протянул дочери руку. Эмилия была поражена осунувшимся, мертвенным видом его лица. Через некоторое время к нему вернулась способность говорить, и Эмилия спросила его, не желает ли он повидаться с духовником. Он отвечал утвердительно, и когда явился монах, Эмилия вышла из комнаты. Около получаса они оставались с глазу на глаз. Когда Эмилию позвали, она застала Сент Обера еще более взволнованным, и с укором взглянула на монаха, но тот отвечал ей взглядом, полным кротости и печали. Сент Обер дрожащим голосом выразил желание, чтобы она и Лавуазен помолились с ним. Старик с дочерью явились на зов: оба, плача, преклонили колена рядом с Эмилией, в то время как аббат прочувствованным голосом читал отходную. Сент Обер лежал с ясным лицом и, казалось, горячо молился; слезы капали из-под его закрытых век, и рыдания Эмилии не раз прерывали службу.

После совершения соборования над умирающим монах удалился. Сент Обер знаком поманил к себе Лавуазена.

— Милый друг мой, — начал он дрожащим голосом, — наше знакомство, хотя и кратковременное, дало вам случай оказать мне много ласки и участия. Не сомневаюсь, что вы с такой же добротой отнесетесь к моей дочери, когда меня не станет; бедняжка будет нуждаться в участии. Поручаю ее вашим заботам на те немногие дни, что она проведет здесь. Больше мне нечего сказать — вам знакомы чувства отца, у вас у самого есть дети. Мне было бы еще тяжелее, если б я не питал к вам такого доверия.

Он умолк.

Лавуазен со слезами искренней жалости стал уверять больного, что он сделает все возможное, чтобы смягчить горе его дочери, и что, если угодно Сент Оберу, он готов проводить ее в Гасконь. Это предложение было так приятно Сент Оберу, что он не знал, как благодарить старика за его доброту. Последующая сцена между Сент Обером и Эмилией так сильно растрогала Лавуазена, что он вышел из комнаты, и молодая девушка опять осталась наедине с отцом, силы которого быстро падали; но сознание не покидало его и голос не изменял ему; по мере возможности он пользовался этими последними минутами, чтобы наставлять дочь, как ей жить. Никогда еще он не выражался так красноречиво и не высказывал таких верных мыслей, как в эти предсмертные минуты.

— Больше всего, дорогая Эмилия, остерегайся излишней чувствительности — это ошибка, в которую впадают многие нежные, романтические натуры. Кто одарен от природы тонкой чувствительностью, тот должен с раннего возраста учиться понимать, что это опасное качество; оно склонно преувеличивать и горе, и радость. А так как в течение нашей жизни горести случаются чаще, чем радостные события, и так как в нас восприимчивость к злу острее восприимчивости к добру, то мы делаемся жертвами наших чувств, если только не умеем мало-мальски владеть ими. Я знаю, ты скажешь мне (ты еще молода, моя Эмилия!), что готова лучше пострадать лишний раз, чем отказаться от того утонченного счастья, какое испытываешь в иные минуты; но когда твоя душа будет измучена долгими

превратностями судьбы, ты будешь рада отдохнуть и поймешь свое заблуждение: ты

убедишься, что призрак счастья сменился самой его сущностью. Ибо счастье рождается в состоянии покоя, а не в буре, счастье по своему спокойню и монотонно и равно не может существовать как в сердце, живущем мелочами, так и в сердце мертвом для чувства. Ты видишь, милая, что хотя я предостерегаю тебя против опасностей преувеличенной

чувствительности, но я не стою за апатию. В твоём возрасте, я сказал бы, что это порок ещё более ненавистный, чем заблуждения чувствительности, и повторяю это сейчас. Это порок, потому что ведёт к положительному злу. Особенно в твои лета апатия, пожалуй, не лучше дурно управляемой чувствительности, которая тоже могла бы быть названа пороком. Но зло,

причиняемое первой, имеет ещё более общее значение... однако я утомился и утомил тебя, моя Эмилия, — промолвил Сент Обер слабым голосом, — но, говоря о вещах столь важных для твоего счастья в будущем, я хотел быть понятым...

Эмилия уверила отца, что его советы драгоценны для неё, что она никогда их не забудет и всегда будет стараться следовать им. Сент Обер нежно и грустно улыбался, глядя на дочь.

— Повторяю, я не стал бы учить тебя быть бесчувственной, — сказал он. — Я хотел только предостеречь тебя против зла излишней чувствительности и указать, как её избежать. Остерегайся, душа моя, умоляю тебя, самообольщения, погубившего покой стольких людей: остерегайся склонности рисоваться своей чувствительностью. Если ты поддашься этому тщеславию, твоё счастье погублено. Не забывай также, что апатия далека от добродетели. Помни, что малейшее добро, истинно полезное дело — выше всякой отвлечённой сентиментальности. Чувствительность является позором, а не украшением, если она не ведёт к добрым делам. Скряга, считающий себя достойным уважения потому только, что он обладает богатством, и таким образом ошибочно принимает средства для делания добра за действительное совершение доброго дела — достоин осуждения не более того человека, который одарен одной чувствительностью, а не активной добродетелью. Ты, вероятно, заметила, что иные люди до такой степени услаждаются такого рода притворной чувствительностью, что они отворачиваются от несчастных и, потому что на их страдания тяжело смотреть, не делают даже попыток облегчить их участь. Как презренно такое человеколюбие, которое довольствуется жалостью, когда нужна деятельная помощь!

Немного погодя Сент Обер заговорил о своей сестре г-же Шерон.

— Теперь я хочу потолковать об одном обстоятельстве, близко касающемся твоего благосостояния. Как тебе известно, мы с сестрой редко видались; но так как она единственная твоя близкая родственница, то я счёл нужным поручить тебя её попечению, как ты увидишь из моего завещания, — до твоего совершеннолетия, и впоследствии просить для тебя её покровительства. Нельзя сказать, чтобы она была именно такая особа, которой я желал бы поручить мою Эмилию; но у меня не было выбора, да в сущности, мне кажется, что она добрая женщина. Считаю лишним просить тебя, душа моя, чтобы ты сама постаралась заслужить её расположение — ты это сделаешь ради своего отца.

Эмилия отвечала обещанием по мере сил своих свято исполнить все, чего желает отец.

— Увы! — прибавила она, вздыхая, — скоро для меня будет единственной отрадой в жизни — исполнять твои заветы.

Сент Обер молча взглянул ей в глаза, точно желая сказать что-то; но сознание его затуманилось, глаза помутились. Этот взгляд потряс Эмилию до глубины души.

— Милый отец! — воскликнула она; но, сдержав свои чувства, она ещё крепче сжала его руку и закрыла себе лицо платком; слезы её были скрыты, но Сент Обер услышал её судорожные рыдания. Он очнулся.

— О, дитя мое, — произнес он слабым голосом, — ищи утешения там же, где обрел его твой отец! Я умираю спокойно; я твердо верю, что возвращаюсь в лоно Отца моего Небесного!.. Всегда неизменно веруй в Него, дорогая моя, и Он поддержит тебя в тяжелые минуты, как поддерживал меня.

Эмилия могла только слушать и плакать, но чрезвычайное спокойствие его духа, вера и

надежда, сиявшие в его взоре, несколько смягчали ее отчаяние. Однако всякий раз, как она взглядывала на его изможденное лицо, на которое смерть уже наложила свою печать, на его впалые глаза и отяжелевшие веки — она чувствовала удар в самое сердце, невыразимо мучительный.

Умиравший пожелал еще раз благословить ее.

— Где ты, моя радость, — спросил он, протягивая руки. — Эмилия отошла к окну, чтобы скрыть от него свою печаль. Она поняла, что зрение изменяет ему.

Благословив ее — казалось, то было последнее усилие отлетающей жизни, — он упал навзничь на подушки. Она поцеловала его в лоб, уже покрытый холодным потом. Сент Обер поднял глаза; в них мелькнула еще раз отеческая нежность, но сейчас же взор его потух и он больше уже не произнес ни слова.

Сент Обер протянул еще до трех часов пополудни к, постепенно погружаясь в бессознательное состояние, скончался тихо, без агонии.

Лавуазен с дочерью увели Эмилию из комнаты; оба старались, как умели, поддержать и успокоить ее, и старик, сидя возле, плакал вместе с нею.

ГЛАВА VIII

*Над тем, по ком душа моя тоскует,
В вечерний час сидят воздушные виденья,
Склонив задумчивые лица.*
Коллинз

Монах, исповедовавший Сент Обера, вернулся опять вечером, чтобы поговорить с Эмилией и кстати передал ей от имени аббатисы ласковое приглашение в монастырь. Эмилия отказалась принять приглашение, но горячо благодарила аббатису. Благочестивая беседа монаха несколько утишила ее отчаяние и она вознесла помыслы свои к Творцу, Властителю вселенной: перед вечностью Его все события нашего ничтожного, маленького мира — тлен и прах.

— Перед лицом Господа, — говорила Эмилия, — отец мой жив и поныне; Это несомненно, как и то, что он вчера существовал для меня. Он умер для меня, но для Бога и для себя он жив!

Добрый монах оставил ее несколько успокоившейся; перед тем как удалиться на отдых в свою каморку, она решилась, понадеявшись на свои силы, пойти взглянуть на тело отца. Молча, без слез она стояла у одра смерти; черты усопшего, ясные и спокойные, говорили о тех чувствах, которые посетили его в последние минуты его жизни. Одно мгновение ей стало страшно при виде мертвой неподвижности этого лица, еще недавно оживленного, и она отвернулась. Но этот ужас продолжался недолго — она опять стала смотреть на покойного со смешанным чувством сомнения и трепетного удивления: она как будто ждала, что вот-вот оживут эти горячо любимые черты. Она подняла его холодную руку, заговорила с ним, не спуская с него глаз, и вдруг разразилась припадком горьких слез.

Эмилия дала волю неутешным слезам, и когда вечерний мрак наполнил комнату и почти скрыл от ее глаз предмет ее печали, она все продолжала стоять над телом, пока наконец на нее не нашло какое-то оцепенение: она вдруг стала спокойна. Лавуазен постучался в дверь, убеждая девушку пойти в общую комнату. Перед уходом она поцеловала Сент Обера в губы, как это делала всегда, прощаясь с ним на сон грядущий, поцеловала еще раз. Сердце ее готово было разорваться: несколько горьких слез выкатилось из ее глаз; она устремила взор свой к небу, потом еще взглянула на отца и вышла вон.

Удалившись в свою комнату, она и тут не переставала думать об умершем родителе и, даже когда впала в тревожный полусон, страшные видения, создания ее недремлющей фантазии, продолжали терзать ее. Ей чудилось, что к ней подходит отец с кроткой, печальной улыбкой на устах; он указывает на небо и губы его шевелятся... но вместо слов

она слышит прелестную музыку, несущуюся издали, и видит, что лицо его озаряется неземным блаженством. Мелодия звучит все громче и... она просыпается. Видение исчезло, но музыка продолжала раздаваться в ее ушах, как ангельское пение. Недоумевая, она приподнялась на колени и стала напряженно слушать. Это была настоящая музыка, а не иллюзия ее воображения. После торжественного гимна зазвучала сладкая, грустная мелодия и вдруг замерла каденцой, как будто возносившей душу до горних обителей. Эмилия тотчас же вспомнила музыку прошлого вечера, странный случай, рассказанный Лавуазеном, и вообще весь разговор о состоянии душ в загробной жизни.

Все, что Сент Обер сказал тогда об этом предмете, вспомнилось ей теперь и легло камнем на ее сердце. Какая странная перемена случилась в несколько часов! Тогда он мог только предполагать, догадываться о том, что ожидает нас за гробом, а теперь он уже познал истину, сам переселился в иную жизнь. Ее охватил какой-то суеверный трепет; слезы ее иссыпали, она встала и подошла к окну. Кругом стояла тьма; но, обратив взор от густой чащи леса, волнистые очертания которого обрисовывались на небе, Эмилия увидела налево луну, опускавшуюся за лес. Ей вспомнился рассказ старика; а так как по временам опять начинала играть музыка, то Эмилия открыла окно, желая насладиться мелодией, постепенно удалявшейся, и стараясь угадать, откуда она исходит. В потемках она не могла различать предметы на лужайке внизу; а звуки становились все слабее и слабее, наконец замерли совершенно. Вскоре лунный свет затрепетал над кудрявыми макушками деревьев, и через несколько минут луна скрылась за лесом. Вся застыв от страха и печали, Эмилия легла в постель и наконец-то на время забыла свою горе в крепком сне.

На другое утро к ней пришла монахиня из соседнего монастыря с предложением услуг и вторичным приглашением от настоятельницы. Эмилия не хотела расстаться с домом, пока в нем лежит прах ее отца; но, как ни тяжело ей было такое усилие в теперешнем состоянии ее духа, она согласилась посетить настоятельницу в тот же вечер и поблагодарить ее за участие.

За час до заката солнца Лавуазен проводил ее через лес к монастырю, лежавшему у небольшого залива Средиземного моря, увенчанного лесистыми уступами, и будь Эмилия не так несчастна, она пришла бы в восторг от прелестного вида на море, открывавшегося с покатого берега, напротив монастырского здания, и от красивого побережья, покрытого лесом и пастбищами. Но все мысли ее были поглощены в эту минуту ее горем; природа казалась ей бесцветной и непривлекательной. Как раз, когда она входила в старинные монастырские ворота, зазвонили к вечерне, и ей представилось, что это погребальный звон по ее усопшему отцу: мелкие случайности обыденной жизни способны еще более растравлять душу, истомленную отчаянием. Эмилия с трудом поборолла овладевавшую ею дурноту; ее ввели к настоятельнице; та встретила ее с материнской нежностью и такой милой заботливостью, что молодая девушка была тронута до слез; слова благодарности замирали на ее губах. Абатиса усадила Эмилию и сама села рядом. Она все время держала ее за руку и молча глядела на нее, пока Эмилия осушала слезы и делала над собой усилие, чтобы заговорить.

— Не падай духом, дочь моя, — молвила аббатиса ласковым голосом, — и не утруждай себя разговорами. Я наперед знаю все, что ты мне скажешь. Душа твоя должна успокоиться. Сейчас мы пойдем на молитву, — не желаешь ли присутствовать на нашем вечернем богослужении? Отраднo, дитя мое, в минуты горести обращаться к Отцу небесному: Он видит, жалеет нас и карает любя.

Слезы Эмилии потекли снова, но к ним примешалось много отрадного. Абатиса дала ей выплакаться вволю и смотрела на нее кротким взором ангела-хранителя. Когда девушка немного успокоилась, аббатиса спросила ее, почему она не соглашается оставить хижину Лавуазена? Выслушав ее объяснение, настоятельница не перечила ей ни единым словом, напротив похвалила ее за любовь к отцу и выразила надежду, что она потом погостит несколько дней в монастыре перед возвращением домой.

— Дай себе срок опомниться от первого удара, дочь моя, иначе тебе трудно будет

вынести второй. Не скрою от тебя, что сердце твое будет сильно страдать, когда ты вернешься в дом, где протекла твоя молодая, счастливая жизнь. У нас здесь ты будешь пользоваться всем, что может дать тишина, сердечное сочувствие и религия для успокоения твоего духа. Однако, полно, — прибавила она, заметив, что глаза Эмилии опять наполняются слезами, — пора идти в капеллу.

Эмилия последовала за ней в залу, где собрались монахини; настоятельница представила им Эмилию, сказав:

— Эту девицу я глубоко уважаю, будьте ей сестрами.

Пошли в капеллу; торжественное, благоговейное богослужение возвысило дух Эмилии и принесло ей утешение веры и покорности.

Настали сумерки, а добрая игуменья все не хотела отпустить ее; выйдя из монастыря, Эмилия чувствовала, что ей стало легче на сердце; Лавуазен опять провожал ее по лесу, мрачная тишина которого гармонировала с ее меланхолическим настроением. В задумчивом молчании шла она по узкой лесной тропинке; вдруг ее проводник остановился, стал озиаться и повернул с тропинки в высокую траву, говоря, что он сбился с дороги.

Вслед за этим он пошел скорым шагом; Эмилия, едва поспевавшая за ним по неровной, кочковатой местности, крикнула ему, чтобы он погодил.

— Если вы не уверены насчет дороги, — сказала ему Эмилия, — то не лучше ли осведомиться вон в том замке, что виднеется между деревьев?

— Нет, — отвечал Лавуазен, — этого не нужно. Когда мы дойдем вон до того ручья, что сквозит вдали меж стволов, мы будем дома. Не знаю, как это меня угораздило заблудиться! Впрочем, я редко когда забираюсь сюда после солнечного заката.

— Правда, здесь пустынно, — заметила Эмилия, — но ведь у вас не водятся бандитов?

— Нет, барышня, Бог хранит — бандитов не водится.

— Чего же вы боитесь, друг мой? Разве вы суеверны?

— Не суеверен я, а только, сказать по правде, никто у нас не любит проходить мимо замка в сумерки.

— Кто же там живет, что все его трясет?

— Да как вам сказать, барышня, замок-то почти необитаем; наш помещик, маркиз, владелец также и этих прекрасных лесов, уже умер. Он не бывал в замке много лет, а его слуги, которым поручено стеречь здание, живут в домике рядом.

Эмилия поняла, что это тот самый замок, на который раньше указывал Лавуазен, как на собственность маркиза Вильруа, причем ее отец так непонятно взволновался.

— Ах! теперь там запустение, — продолжал Лавуазен, — а помнится, какое это было великолепное поместье!

Эмилия спросила о причине такой грустной перемены; но старик молчал. Эмилия, сильно заинтригованная боязнью старика, а больше всего воспоминанием о волнении, обнаруженном ее отцом, повторила вопрос и прибавила:

— Ну, если вы не боитесь обитателей замка и не суеверны, то скажите, почему же вы не решаетесь проходить мимо замка в потемках?

— Пожалуй, что я и суеверен немножко, барышня, и если б вы узнали то, что я знаю, с вами было бы то же самое. Странные здесь творились дела! Видно, ваш покойный батюшка звал маркиза?

— Ради Бога расскажите мне, что там происходило? — попросила Эмилия.

— Полно, барышня, лучше и не допытывайтесь. Не мне разоблачать домашние тайны нашего господина!

Эмилия, удивленная словами и тоном старика, не стала более расспрашивать — ее мысли были заняты другим, более близким предметом, скорбью об отце; кстати ей пришла на ум музыка, слышанная ею прошлой ночью; она рассказала об этом Лавуазену.

— Не вы одни слыхали ее, барышня, — и я слыхал тоже, но со мной это случалось так часто, что я даже не удивлялся.

— Вы, кажется, уверены, что эта музыка имеет отношение к замку? — вдруг

обратилась к нему Эмилия, — и это внушает вам суеверные страхи?

— Может быть и так, барышня; но есть еще и другие обстоятельства, касающиеся замка: они-то и вызывают у меня грустные воспоминания.

Он тяжело вздохнул. Эмилия из деликатности подавила свое любопытство и не стала расспрашивать далее.

По возвращении домой ее опять с новой силой охватило отчаяние: казалось, она освободилась от его тяжелого гнета только на то время, пока находилась вдали от хижины, где лежал ее отец. Тотчас же отправилась она в комнату, где находились дорогие останки, и отдалась безутешному горю.

Лавуазен наконец уговорил ее отойти от тела и вернуться к себе; там, истомленная страданиями, перенесенными в течение дня, она впала в глубокий сон; проснулась она значительно освеженная.

Настал страшный час прощания Эмилии с телом отца, перед тем как его должны были унести от нее навсегда; она пошла в комнату одна, чтобы еще раз взглянуть на дорогое лицо; Лавуазен, терпеливо дожидавшийся внизу у лестницы, когда утихнет ее отчаяние, не желая мешать ей из уважения к ее горю, наконец удивился продолжительности ее отсутствия и, опасаясь, не случилось ли чего с нею, решился поступиться своей деликатностью и войти.

Постучавшись легонько в дверь и не получив ответа, он стал внимательно прислушиваться — все тихо; не слышно ни вздоха, ни рыдания. Еще более встревоженный молчанием, он отворил дверь и нашел Эмилию распростертой без чувств на полу в ногах кровати, возле которой стоял гроб.

Лавуазен позвал на помощь, и Эмилию перенесли к ней в спальню, где ее вскоре привели в чувство. Пока она лежала в обмороке, Лавуазен распорядился, чтобы закрыли гроб, и ему удалось убедить Эмилию больше не входить к покойнику.

Действительно, она чувствовала полное изнеможение и понимала необходимость беречь свои силы, готовясь к предстоящей тяжелой церемонии.

Сент Обер перед смертью выразил непереносимое желание, чтобы его похоронили в церкви монастыря Сен Клер, и даже указал в точности место своего успокоения — у северного придела, рядом со старинной семейной гробницей Вильруа.

Настоятель дал на это разрешение; туда-то и двинулся печальный кортеж; у ворот его встретил почтенный игумен с длинной вереницей монахов.

Всякий, кто слышал торжественное пение псалмов, трогательные звуки органа, грянувшие, как только внесли тело в церковь, кто видел Эмилию, которая едва двигалась от слабости, но старалась быть спокойной, тот не мог удержаться от слез. Она не плакала, но шла бодро, с лицом отчасти закрытым черной креповой вуалью, между двух монахинь, поддерживавших ее под руки; впереди нее шествовала сама аббатиса, а позади клирошанки, печальные голоса которых тянули погребальные песнопения.

Когда процессия достигла могилы, пение замолкло. Эмилия плотнее закрыла лицо вуалью; в короткие паузы между антифонами раздавались ее рыдания. Отец игумен начал отпевание; Эмилия опять овладела своими чувствами, до тех пор, пока стали опускать гроб в могилу; когда она услышала стук земли о крышку гроба, она вздрогнула всем телом, из глубины ее сердца вырвался страшный вопль и она упала бы, если бы ее не поддержали лица, стоявшие рядом. Через несколько мгновений она очнулась и, когда услышала трогательные слова: «Прах его погребен с миром и душа его возвратилась к Создателю...», ее сердечная скорбь разлилась потоком слез.

Аббатиса увела ее из церкви в свою приемную и там стала ласкать и утешать. Эмилия всеми силами боролась со своим тяжелым горем. Аббатиса, внимательно наблюдавшая ее, приказала приготовить для нее постель и посоветовала ей сейчас же пойти отдохнуть. При этом она любезно напомнила ей ее обещание погостить несколько дней в монастыре. Эмилия отнюдь не желала возвращаться в дом Лавуазена, где она столько выстрадала; теперь, когда ее не угнетала никакая непосредственная забота, она почувствовала вдруг, что совсем больна и пока не в состоянии выдержать путешествия.

Между тем аббатиса с ее материнской добротой и монахини с их нежной заботливостью всячески старались поднять ее дух и поправить здоровье. Но вследствие духовных потрясений организм ее так сильно расшатался, что его нельзя было восстановить сразу. Эмилия провела несколько недель в монастыре. Ей хотелось поскорее вернуться домой, но она не могла двинуться в путь, так как ослабела от припадков перемежающейся лихорадки; часто, придя на могилу отца, она не имела силы отойти от нее и находила успокоение в той мысли, что если она умрет здесь, то ее положат рядом с дорогими останками отца.

Тем временем она написала письма г-же Шерон и старой экономке своих родителей, извещая их о печальном событии и о своем собственном положении. От тетки она получила ответ, полный не столько искреннего чувства, сколько банальных соболезнований; г-жа Шерон извещала ее, что посылает к ней слугу, чтобы проводить ее домой в «Долину», что же касается ее самой, то время ее слишком занято разными светскими обязанностями, чтобы она могла предпринять такое дальнейшее путешествие.

Хотя Эмилия и предпочитала отцовский замок Тулузе, однако не могла не почувствовать всей бессердечности и даже неприличия поведения тетки, которая позволяла ей вернуться домой, где у нее не оставалось никого, кто мог бы утешить и поддержать ее, — такое решение было тем более странно, что Сент Обер поручил сестре быть опекуницей его осиротевшей дочери.

Появление слуги г-жи Шерон избавляло доброго Лавуазена от труда провожать Эмилию, и та, глубоко благодарная ему за добрые услуги, оказанные им ее покойному отцу и ей самой, была рада избавить его от необходимости предпринимать такое далекое и в его годы утомительное путешествие.

Во время пребывания ее в монастыре царившие там мир и святость, спокойная красота окружающей природы, нежное обращение аббатисы и монахинь — все это так способствовало успокоению ее духа, что она чуть не поддавалась соблазну совсем покинуть мир, где она потеряла всех близких людей, и посвятить себя служению Богу в обители, для нее священной, где покоился прах ее отца. Под влиянием мечтательного энтузиазма, свойственного ее натуре, священное призвание монахини представлялось ей чем-то необыкновенно прекрасным, и она уже не сознавала всю эгоистичность такого спокойствия. Но по мере того, как дух ее крепнул, впечатление, произведенное на нее монашеской жизнью, начало мало-помалу блекнуть и в ее сердце снова воскрес образ, лишь на время изгладившийся из него. Опять проявилась в ней надежда, успокоение и нежные земные привязанности; картины личного счастья смутно мелькнули в отдалении, и хотя она знала, что это лишь иллюзии, она не могла навеки отогнать их от себя. Воспоминание о Валанкуре, о его уме, художественном вкусе, о чертах его лица, умного и изящного — быть может, одно это воспоминание удержало ее от решимости отказаться от света. Величие и красота природы, среди которой они впервые встретились, очаровали ее воображение и незаметно способствовали тому, чтобы придать еще большую интересность Валанкуре. Сочувствие, которое неоднократно выражал ему Сент Обер, как бы санкционировало эту симпатию. Но хотя на лице молодого человека и в его обращении постоянно можно было прочесть восхищение ею, однако он никогда не выражал ей своих чувств, и даже надежда когда-нибудь увидеться с ним была так отдаленна, что она едва сознавала ее, а еще менее подозревала, что эта надежда влияла на ее решимость в данном случае.

Лишь через несколько дней после приезда слуги г-жи Шерон Эмилия оправилась настолько, чтобы предпринять путешествие в «Долину». Вечером накануне отъезда она пошла попрощаться с Лавуазеном и его семейством и поблагодарить за их гостеприимство. Старика она застала сидящим на скамейке у дверей, между дочерью и зятем, только что вернувшимся с дневной работы и игравшим на дудке вроде гобоя. Возле старика стояла фляга с вином, а перед ним был небольшой столик, уставленный плодами, молоком и хлебом. Вокруг столика собрались его внуки, здоровые, румяные ребятишки, которым мать раздавала порции ужина. На краю зеленой лужайки, перед избушкой под деревьями

отдыхали коровы и овцы. Всю эту картину озарял мягкий свет заходящего солнца; косые лучи его играли сквозь длинную просеку в лесу и освещали далекие башенки замка. Эмилия остановилась на минуту в отдалении, чтобы полюбоваться счастливой группой — добродушием и довольством, написанным на лице почтенного старика Лавуазена; материнской нежностью Агнессы, смотревшей на своих детей, на невинность и детскую веселость, отражавшуюся в улыбках ребятишек. Эмилия долго смотрела на доброго старика и его домик. Воспоминание об отце нахлынуло на нее с неудержимой силой, и она поспешно подошла к ним, чтобы не оставаться наедине с самой собою. Ласково и сердечно было ее прощание с Лавуазеном и его семьей; старик, казалось, полюбил ее как дочь родную и, расставаясь, прослезился. Плакала и Эмилия. Она избегала войти в дом, зная, что это пробудит в ней волнения, которых она теперь не в силах была вынести.

Ее ожидала еще одна тяжелая сцена: она решила посетить в последний раз могилу отца, и чтобы ей никто не помешал и никто не был свидетелем ее последнего прощания, она решила пойти туда ночью, когда все обитатели монастыря, кроме монахини, принесшей ей ключ от церкви, удалятся на покой.

Эмилия оставалась в своей келье до тех пор, пока на монастырских часах не пробило полночь; тогда, согласно уговору, явилась монахиня с ключом от внутреннего хода, ведущего в церковь, и они вдвоем спустились по винтовой лестнице.

Монахиня предлагала сопровождать Эмилию до могилы, говоря: «Жутко идти одной в такой час», — но Эмилия, поблагодарив ее, не пожелала, чтобы кто-нибудь был свидетелем ее печали. Сестра отперла дверь, передала ей фонарь и хотела уйти.

— Не забудьте, сестрица, — сказала она, — что в восточном приделе, мимо которого вы пройдете — свежерытая могила; держите фонарь пониже к полу, а то споткнетесь на комьях взрытой земли.

Эмилия, еще раз поблагодарив, взяла фонарь и вошла в церковь, а сестра Мариетта удалилась.

Но на пороге церкви Эмилия остановилась: внезапный страх овладел ею; она вернулась к подножию лестницы, откуда могла слышать шаги подымавшейся монахини, и, подняв фонарь, увидела ее черное покрывало, развевающееся над спиральными перилами. Одну минуту Эмилии хотелось позвать ее. Но она не решалась, и черное покрывало исчезло. Тогда, устыдившись своих страхов, она вошла в церковь. Холодный воздух охватил ее и заставил вздрогнуть; глубокая тишина и обширность храма, слабо освещенного лунным светом, струившимся сквозь готическое окно, во всякое другое время навевали бы на нее суеверный ужас; но теперь сердце ее было полно одной глубокой скорбью. Она едва слышала шепот эха, вторившего ее шагам, и не вспомнила о вырытой могиле, пока не очутилась на самом краю ее. Вчера там был похоронен один монах, и, сидя вечером одна в своей келье, она слышала в отдалении пение реквиема за упокой его души. В ее памяти ожили все обстоятельства, сопровождавшие смерть ее отца; и в то время, как издали слабо доносились голоса монахов, сливаясь с жалобными звуками органа, в ее душе восставали скорбные, умиленные образы. Теперь она припомнила все это и, повернув в сторону, чтобы избежать взрытой земли, ускорила шаги, направляясь к могиле Сент Обера. Вдруг ей показалось, что в полосе лунного света, падавшего поперек придела, промелькнула какая-то фигура. Эмилия остановилась и прислушалась; но, не слыша шума шагов, подумала, что это обман воображения, и пошла дальше. Сент Обер был погребен под простой мраморной плитой, на которой было написано только его имя, даты рождения и смерти; эта плита находилась у подножия величественного памятника фамилии Вильруа. Эмилия оставалась над могилой отца до тех пор, пока звон к заутрене не напомнил ей, что пора уходить. Она поплакала еще, прощаясь с могилой, и наконец, скрепя сердце, удалилась. Отдав этот последний долг отцу, она в первый раз после его смерти заснула крепким, освежающим сном; а когда проснулась, на душе у нее было спокойно и ясно, как уже давно не бывало.

Но вот настала минута отъезда из монастыря. Ее горе вернулось к ней с новой силой; память об умершем, доброта и участие живых людей привязывали ее к этому месту; а к

священной земле, где были погребены останки ее отца, она чувствовала почти такую же нежную любовь, какую мы чувствуем к своему родному дому. Аббатиса, не раз повторив ей при прощании уверения в нежной дружбе, настоятельно просила Эмилию вернуться к ним, если ей не понравится ее новое местожительство; многие из монахинь также выражали искреннее сожаление по поводу ее отъезда. Эмилия рассталась с монастырем, проливая слезы и сопровождаемая пожеланиями счастья.

Несколько лье проехала она в задумчивости; даже красота местности, по которой она ехала, долго не могла вывести ее из глубокой меланхолии, но все эти живописные виды только напоминали ей, что она еще недавно любовалась ими вместе с Сент Обером. Так прошел весь день в тоске и томлении, не ознаменовавшись ничем особенным. Ночь она провела в городке на окраинах Лангедока, а на другое утро путешественники вступили в Гасконь.

К концу того же дня Эмилия увидала перед собой равнины, поля и рощи, знакомые ей с детства, а вместе с ними в ней проснулись нежные и горестные воспоминания.

— Вот они! — восклицала она, — вот они те же самые утесы, те самые сосновые леса, на которые он смотрел с таким восхищением, когда мы с ним последний раз ехали вместе по этой дороге! Вон там, под выступом скалы, стоит хижина, выглядывая из-за кедров, — он велел мне запомнить ее и срисовать в мой альбом! О батюшка, никогда, никогда я больше не увижу тебя!

По мере того, как она приближалась к замку, эти печальные воспоминания о былых временах все умножались. Наконец показался замок среди живописной местности, так горячо любимой Сент Обером. При этом зрелище она почувствовала, что ей следует призвать на помощь всю свою твердость и не давать волю слезам. Она отерла глаза и приготовилась спокойно вынести ужасную минуту возвращения домой, где уже не встретит ее любящий родитель. «Да, — думала она про себя, — я не должна забывать его уроков! Как часто, бывало, он указывал мне на необходимость бороться даже с законным, понятным горем! Как часто мы вместе с ним восхищались величием ума, способного в одно и то же время и страдать, и рассуждать! О, отец мой! Если дозволено тебе бросить взгляд вниз, на твою дочь, тебя порадует, что она помнит твои заветы и старается исполнять их!»

За поворотом дороги замок стал виден еще яснее: трубы его, озаренные солнцем, возвышались из-за любимых дубов Сент Обера, густая листва которых скрывала всю нижнюю часть здания. Эмилия не могла подавить тяжелого вздоха. «Этот час вечерний как раз был его любимым часом! — подумала она, глядя на длинные вечерние тени, тянувшиеся по лугу. — Какой глубокий покой! что за прелестная картина — тихая и радостная, как и в прежние дни!»

В эту минуту слух ее уловил веселую плясовую мелодию, которую она часто, бывало, слышала прежде, гуляя с Сент Обером на берегах Гаронны; тут уже твердость духа окончательно покинула ее и она продолжала плакать все время, пока экипаж не остановился у небольших ворот, ведущих в имение, теперь уже составлявшее ее личную собственность. При неожиданной остановке кареты она подняла глаза и увидала старую экономку отца, спешившую отворить ворота. Перед ней с громким лаем бежал пес Маншон, и когда его молодая госпожа вышла из экипажа, он начал прыгать вокруг нее и махать хвостом, задыхаясь от радости.

— Барышня, дорогая моя! — встретила ее Тереза и остановилась, точно собираясь сказать что-нибудь в утешение Эмилии, которая от слез не в силах была отвечать. Собака продолжала скакать и ластиться к ней, потом вдруг бросилась к экипажу с отрывистым лаем.

— Ах, барышня, бедный мой господин! — молвила Тереза, женщина добрая, но не имевшая понятия о деликатности. — Вот и Маншон побежал искать его!

Эмилия громко разрыдалась; взглянув в сторону кареты, все еще стоявшей с отворенной дверцей, она увидала, как собака вскочила внутрь кареты, но тотчас же выскочила оттуда и, пригнув нос к земле, стала бегать вокруг лошадей.

— Не плачьте, барышня, — говорила Тереза. — У меня сердце надрывается, на вас

глядючи!

Между тем собака начала кружить вокруг Эмилии, потом бросилась опять к карете и назад к своей госпоже с тихим визгом.

— Бедная собака! — молвила Тереза, — ты тоскуешь по своему хозяину. Однако войдите же в комнаты, барышня, успокойтесь. Чем мне угощать вас?

Эмилия подала руку старой служанке и сделала над собою усилие, чтобы подавить свою скорбь, заботливо осведомляясь о ее здоровье. Но она нарочно замешкалась в аллее, ведущей к крыльцу, потому что в доме уже некому было приветствовать ее нежным поцелуем; ее сердце уже не трепетало, как прежде, от нетерпеливого предвкушения встречи и улыбки на дорогом лице; ей жутко было увидеть предметы, которые живо напоят о былом счастье. Она медленно пошла к дому, и опять остановилась. Как тихо, как пустынно и печально в доме! Трепеща войти в него, однако упрекая себя в малодушии, она наконец вошла в сени, прошла по ним торопливыми шагами, точно боясь оглядываться, и отворила дверь той комнаты, которую она привыкла называть своей. Вечерний сумрак придавал торжественность тишине и пустоте этой комнаты. Стулья, столы, все предметы обстановки, столь знакомые ей в более счастливые времена, красноречиво зывали к ее сердцу. Она села, сама того не замечая, у окна, выходившего в сад, и где, бывало, часто сживал с ней Сент Обер, наблюдая, как заходит солнце за рощу!

Проплакав некоторое время, она немного успокоилась; и когда вернулась Тереза, наблюдавшая, чтобы багаж внесли в спальню ее барышни, она уже настолько оправилась, что могла разговаривать с ней.

— Я приготовила вам постель в зеленой комнате, барышня, — заявила Тереза, ставя кофе на стол, — вам теперь приятнее будет спать там, чем на своей прежней постели. Эх, думала ли я месяц тому назад, что вы вернетесь сюда одна-одинешенька! У меня сердце чуть не разорвалось от горя, когда получилось печальное известие. Кто бы мог себе представить, что мой добрый барин уже никогда не вернется!

Эмилия закрыла лицо платком и махнула рукой.

— Выкушайте кофе, — угощала ее Тереза. — Дорогая моя барышня, не убивайтесь! — мы все ведь умрем. Мой дорогой барин — теперь святой на небесах.

Эмилия отняла платок от лица и подняла к небу глаза свои, полные слез. Вскоре, однако, она осушила их и спокойным, хотя и дрожащим голосом стала расспрашивать о некоторых пенсионерах ее покойного отца.

— Ах, и не говорите! Горе горькое! — плакалась Тереза, наливая кофе и подавая чашку своей молодой госпоже, — кто только мог приплестись, те все навевались сюда каждый Божий день узнавать про вас и про барина.

Далее она рассказала, что многие из тех, кого они оставили здоровыми, успели умереть, а напротив — другие, хворавшие — поправились.

— Смотрите-ка, барышня, — прибавила Тереза, — вон старая Мария плетется сюда по саду. Вот уже три года как всем кажется, что она того и гляди умрет, а она все живет себе да живет. Небось увидела дорожную карету у ворот и сообразила, что это вы вернулись домой.

Эмилии было бы слишком тяжело видаться с этой бедной старухой, и она попросила Терезу пойти сказать ей, что барышня чувствует себя худо и никого не может принять сегодня вечером.

— Завтра мне будет лучше, надо думать; но передай ей эту безделицу в знак того, что я ее не забыла.

Некоторое время Эмилия сидела погруженная в немую скорбь. Не было предмета, который не возбуждал бы в ней воспоминания, имеющего близкое соприкосновение с ее горем. Ее любимые растения, за которыми Сент Обер учил ее ухаживать, рисунки, украшавшие стены и исполненные ею под его руководством; книги, которые он сам выбрал для нее и которые они читали вместе; ее музыкальные инструменты, услаждавшие его слух, — каждый предмет еще более растравлял ее печаль. Наконец она очнулась от этих грустных размышлений и, призвав на помощь всю свою решимость, направилась твердыми

шагами в опустелые покои; хотя она страшилась войти в них, но сознавала, что потом ей будет еще тяжелее посетить их.

Пройдя через оранжереи и отворяя дверь библиотеки, она почувствовала, что силы изменяют ей; быть может, вечерний сумрак и тень от деревьев, растущих под окнами еще усиливали торжественность ее настроения, когда она входила в комнату, где все говорило ей об отце. Вот кресло, где он обыкновенно сидел. Она вздрогнула, увидев его: образ отца рисовался в ее воображении с такой ясностью, что ей показалось, будто она действительно видит его перед собою. Она отогнала от себя иллюзии расстроенного воображения, однако не могла подавить некоторого трепета, тихо подошла к креслу и села. Перед креслом стоял пюпитр для чтения, а на нем лежала развернутая книга, в том виде, как она была оставлена ее отцом. Несколько минут она не могла собраться с мужеством, чтобы рассмотреть ее; она тотчас же вспомнила, что Сент Обер накануне их отъезда из замка вечером читал ей вслух некоторые выдержки из своего любимого автора. Теперь это обстоятельство подействовало на нее потрясающим образом: она глядела на страницу и горько плакала. Для нее эта книга являлась священной и неоценимой; ни за какие сокровища в мире она не согласилась бы перенести ее на другое место или перевернуть страницу. Она продолжала сидеть перед пюпитром и не решалась уйти, хотя сгущающийся сумрак и глубокая тишина в комнате усиливали в ней жуткое чувство. Опять она погрузилась в размышления о состоянии душ после смерти; она вспоминала знаменательный разговор, происходивший между Сент Обером и Лавуазеном в ночь накануне смерти отца.

Погруженная в думы, она вдруг заметила, что дверь тихо отворяется; какой-то шорох в отдаленной части комнаты заставил ее вздрогнуть. В потемках ей показалось, как будто что-то движется. При теперешнем состоянии ее духа, когда малейшее впечатление внешних чувств передавалось ее воображению, ее вдруг охватил суеверный ужас. С минуту она сидела не шевелясь. Наконец рассудок одержал верх: «Чего же бояться? — сказала она себе, — если души любимых существ посещают нас, то наверное только с добрыми намерениями».

Среди наступившей, снова тишины она устыдилась своих страхов и подумала, что это был просто обман воображения или один из тех необъяснимых звуков, которые иногда слышатся в старых домах. Но вот повторился тот же шорох — что-то стало приближаться к ней — она вскрикнула... но в ту же минуту опомнилась, убедившись, что это собака Маншон, которая уселась у ее ног и теперь ласково лизала ей руку.

Эмилия поняла, что при таком состоянии духа она не в силах исполнить намеченную задачу: осмотреть сегодня же все покои замка; поэтому вышла из библиотеки в сад, а оттуда направилась к террасе над рекою. Солнце уже закатилось; но из-за темных ветвей миндальных деревьев еще сквозила на западе светло-шафранная полоса; летучая мышь беззвучно сновала взад и вперед; от времени до времени раздавалась грустная песня соловья.

Настроение, охватившее ее в этот тихий час, вызвало в ее памяти строки, слышанные ею когда-то от Сент Обера на этом самом месте, и она повторила их с какою-то грустной отрадой:

СОНЕТ

Летучая мышь кружится в воздухе, когда вечерний ветерок
Порывами проносится вдоль вздрагивающих волн,
Трепещет среди лесов и вздохами своими путника смущает.
Порою, когда он погружен в чарующую меланхолию.
Вдруг чудится ему, что он слышит голос горного духа,
И он внимает с сладко замирающим сердцем
Тихому мистическому шепоту бриза!
Летучая мышь кружится в воздухе; безмолвно падает
вечерняя роса
И сумерки повсюду проливают

Над скалами, волною и над далекой лодкой
Свой мягкий, серый и таинственный покров.
Так падает над горем сострадания слеза,
Виденья мрачные отчаяния застилая.

Эмилия тихим шагом дошла до любимого платана ее отца; под тенью этого старого дерева они, бывало, сживали все вместе в такой же час и беседовали на тему о загробной жизни. Как часто ее отец с радостным чувством выражал уверенность, что все они встретятся в ином мире! Подавленная этими воспоминаниями, Эмилия отошла от платана; облокотившись о перила террасы, она увидала группу крестьян, весело танцевавших на берегах Гаронны, широко раскинувшейся внизу и отражавшей в своих водах вечернее небо. Какой контраст со скорбящей, одинокой Эмилией! Эти люди веселы и бодры, точно так же как и в те дни, когда у нее было радостно на душе и когда Сент Обер, бывало, слушал их веселую музыку, сияя удовольствием и лаской. Эмилия, полюбовавшись некоторое время на оживленную группу, отвернулась, не имея сил вынести тяжелых воспоминаний; но куда уйти, куда скрыться, если всюду ей суждено наталкиваться на предметы, растрavляющие ее горе!

Подвигаясь медленным шагом по направлению к дому, она встретила Терезу.

— Барышня, милая, — заговорила старуха, — я давно ищу вас и боялась, не случилось ли с вами беды какой! Ну, можно ли бродить по ночам, да еще когда так свежо? Скорее идите домой. Подумайте-ка, что сказал бы на это покойный барин? Уж кажется — он ли не горевал, когда скончалась барыня, а между тем, сами знаете, он редко когда проливал слезу.

— Перестань, Тереза, прошу тебя, — сказала Эмилия, желая прервать эту неуместную, хотя и добродушную болтовню.

Но не так-то легко было остановить разглагольствования Терезы.

— Бывало, когда вы так убивались по маменьке, — продолжала она, — барин все говорил вам, что это не годится, потому что ее душеньке хорошо теперь на небе! А если ей хорошо, то, значит, и барину хорошо, — недаром говорится, что молитвы бедняков угодны Богу.

Во время этой речи Эмилия тихонько шла к дому. Тереза посветила ей через сени в гостиную, где обыкновенно сживала вся семья и где она теперь накрыла ужин на один прибор. Эмилия бессознательно вошла в комнату, прежде чем успела заметить, что она не у себя в спальне. Подавив в себе неприятное чувство, она покорно села за стол. На противоположной стене висела шляпа ее отца: при виде шляпы она почувствовала, что ей делается дурно. Тереза взглянула на свою барышню, потом перевела взгляд на предмет, висевший на стенке, и хотела убрать шляпу, но Эмилия остановила ее движением руки.

— Нет, оставь, — я пойду к себе.

— Как же так! а у меня ужин готов!

— Я не могу есть, — отвечала Эмилия, — я ухожу и постараюсь заснуть. Завтра мне будет лучше.

— Ну, уж это непорядок! Милая барышня, скушайте хоть что-нибудь. Я зажарила фазана, — чудесная птица. Старый месье Барро прислал ее вам нынче поутру; вчера я видала его и сказала, что вы сегодня приезжаете. Вот уж никто так не сокрушается о барине, как этот господин...

В самом деле? — отозвалась Эмилия смягченным тоном, чувствуя, что ее бедное сердце на минуту согрето этим лучом сочувствия.

Наконец силы окончательно изменили ей, и она удалилась в свою спальню.

ГЛАВА IX

*Ни голос музыки, ни очи красоты,
Ни живописи пылкая рука*

*Не смогут дать моей душе такой отрады,
Как этот мрачный ветра вой,
Журчанье жалобное ручейка,
Струящегося меж муравы зеленого холма
В то время, как на запад багровое заходит солнце,
Тихонько сумерки плывут, свой черный распустивши парус.*
Мезон

Вскоре по возвращении домой Эмилия получила от своей тётки, г-жи Шерон, письмо, в котором та, после нескольких банальных фраз утешения, приглашала ее к себе в Тулузу, прибавляя, что покойный брат доверил ей воспитание Эмилии. У Эмилии в это время было одно желание: остаться в «Долине», где протекло ее счастливое детство, пожить еще в этом замке, бесконечно дорогом ее сердцу, и вместе с тем ей не хотелось возбуждать неудовольствие г-жи Шерон.

Хотя глубокая привязанность ее к покойному отцу не позволяла ей усомниться ни на минуту в том, хорошо ли он сделал, назначив г-жу Шерон опекуницей, но она не могла не сознавать, что теперь ее счастье в значительной степени поставлено в зависимость от прихоти ее тетки. В своем ответном письме она просила позволения остаться пока в «Долине»; она ссылалась на угнетенное состояние духа и на необходимость тишины и уединения для успокоения ее нервов. Она знала, что ни того, ни другого не может найти в доме г-жи Шерон, женщины богатой, любящей общество и рассеянную жизнь.

Вскоре Эмилию навестил старик Барро, искренне скорбевший о смерти Сент Обера.

— Еще бы мне не печалиться о вашем отце, — говорил он. — Ведь я уже никогда не встречу друга, подобного ему; если б я знал, что найду такого человека в так называемом обществе, я ни за что не удалился бы от света.

За такое теплое чувство к ее отцу Эмилия любила старика. Ей отраднее было беседовать с человеком, которого она так уважала и который при своей непривлекательной наружности отличался сердечной добротой и редкой деликатностью чувств.

Несколько недель Эмилия провела в спокойном уединении и мало-помалу ее острое горе перешло в тихую грусть. Теперь она уже могла читать те самые книги, какие раньше читала с отцом, сидела в его кресле в библиотеке, ухаживала за цветами, посаженными его рукой, могла касаться струн музыкального инструмента, на котором он когда-то играл, и даже пела его любимые песни. Тут только она поняла всю ценность воспитания, полученного ею от отца; развивая ее ум, он обеспечил ей верное убежище от скуки, доставил ей возможность всесторонне развлекаться, независимо от общества, для нее недоступного в силу обстоятельств. Благодетельное действие этого воспитания не ограничивалось эгоистическими преимуществами; Сент Обер усердно развивал в ней все добрые качества сердца, и теперь это сердце распространяло благодетельные влияния на всех окружающих. Она находила, что если и не в состоянии совершенно устранить несчастья от своих близких, то по крайней мере может смягчать их страдания своей добротой и сочувствием. Г-жа Шерон не отвечала на письмо Эмилии и та начала уже надеяться, что ей позволят остаться еще некоторое время в ее уединении. Ее дух уже настолько укрепился, что она могла отважиться посещать все те места, которые особенно живо вызывали ей на память картины прошлого. В числе их была рыбацья хижина; чтобы еще полнее отдаться своим нежным воспоминаниям, она захватила с собой свою лютню — ей хотелось сыграть там те самые мелодии, которыми так часто восхищались ее мать и отец. В последний раз она приходила сюда с отцом и матерью, за несколько дней до того, как заболела г-жа Сент Обер, и теперь, когда Эмилия вошла в лес, окружающий хижину, все так живо пробудило в ней память о прошлом, что она не выдержала: прислонилась к дереву и несколько минут проплакала. Узкая тропинка, ведущая к домику, заросла травой, а цветы, посаженные по краям Сент Обером, были почти заглушены крапивой. Эмилия часто останавливалась и оглядывала это заброшенное местечко, пустынное и безмолвное. И когда она дрожащей рукой отворила дверь рыбацкой хижины, у нее вырвалось восклицание: «Ах, ничто не изменилось, все осталось по-старому;

только те, которые посещали этот домик, уже никогда не вернутся!»

Она подошла к окну, выходящему на речку и, облокотясь о подоконник, погрузилась в грустную задумчивость. Принесенная лютня лежала возле нее, забытая: печальные вздохи бриза в высоких соснах, нежный шепот его в камышах, колышущихся на берегу, были музыкой, более гармонизировавшей с ее чувствами; эта музыка не заставляла звенеть струны тяжелых воспоминаний, но успокоительно действовала на ее сердце, как голос сочувствия. Не замечая, что приближались сумерки и что последний луч солнца трепетал на горных вершинах, она продолжала стоять в задумчивости и, вероятно, долго не тронулась бы с места, но вдруг шум шагов около домика встревожил ее и напомнил, что она здесь одна и беззащитна. Не прошло минуты, как дверь распахнулась; вошел какой-то человек, остановился при виде Эмилии и начал извиняться за свое непрошеное появление. Но у Эмилии при первом звуке его голоса страх сменился сильным волнением; голос был знаком ей, и хотя она не могла в потемках разглядеть черты пришельца, но ее охватило предчувствие чего-то радостного.

Вошедший повторил свои извинения, и Эмилия что-то проговорила ему в ответ; тогда незнакомец стремительно бросился к ней и воскликнул:

— Боже милостивый! может ли это быть! неужели я ошибаюсь — это вы, мадемуазель Сент Обер!

— Да, это я, — отвечала Эмилия, догадка которой подтвердилась: теперь она могла разглядеть лицо Валанкура, сиявшее светлой радостью. Сразу ее осадил целый рой грустных воспоминаний и от стараний сдержать себя волнение ее еще усиливалось.

Между тем Валанкур участливо осведомлялся о ее здоровье и выразил надежду, что путешествие принесло пользу ее батюшке, но, увидав горькие слезы, он угадал роковую истину. Он усадил ее на скамью и сам сел с ней рядом; Эмилия продолжала плакать, а он держал ее руку, которую она бессознательно оставляла в его руке, пока рука стала мокрой от слез, которые он проливал, грустя о Сент Обере и жалея его дочь.

— Я сознаю, — проговорил он, — как бесполезна была бы всякая попытка утешать вас. Я могу только печалиться вместе с вами, потому что без слов знаю, о чем вы плачете... Дай Бог, чтобы я ошибался!

Эмилия отвечала слезами, но наконец встала и предложила уйти из этого печального места. Валанкур, хотя и видел, как она слаба, не решился удерживать ее, но взял ее под руку и повел вон из рыбацкой хижины. Молча пошли они по лесу; Валанкуру хотелось узнать все подробности, но он боялся расспрашивать, а Эмилия была слишком расстроена, чтобы рассказывать. Через некоторое время, однако, она настолько овладела собой, что могла заговорить о своем отце и в коротких словах рассказать о его смерти. Валанкур был потрясен. Услыхав, что Сент Обер скончался в дороге и что Эмилия очутилась среди чужих людей, он пожал ее руку и невольно воскликнул:

— Господи, отчего меня там не было!

Наконец, заметив, что Эмилия слишком измучена горестными воспоминаниями, он постепенно перевел разговор на другие темы и заговорил между прочим о себе. Эмилия узнала, что после того, как они расстались, Валанкур некоторое время бродил по берегам Средиземного моря и потом через Лангедок вернулся в Гасконь, свою родную провинцию, где он обыкновенно жил.

Докончив свой маленький рассказ, он умолк; Эмилия тоже не расположена была разговаривать, и так молча они дошли до ворот замка; здесь он остановился и, сказав ей, что завтра едет домой в Этьювер, попросил у нее позволения завтра утром зайти к ней проститься. Эмилия, рассудив, что неловко было бы отказать ему в исполнении такой простой учтивости, отвечала, что она будет дома.

Весь вечер она провела в печали. В ее памяти проносились вереницей все события, случившиеся после того, как она в последний раз видела Валанкура, и сцена смерти ее отца восстала перед ней в таких живых красках, как будто это случилось лишь вчера. Припомнился ей и торжественный завет отца уничтожить все его рукописи. Очнувшись от

истерического состояния, в каком держало ее горе, Эмилия ужаснулась при мысли, что она не исполнила еще его предсмертного распоряжения, и решила, что завтра же сдержит свое обещание.

ГЛАВА X

Но это тень не тень от летней тучки

И как ей странностью не поразить?

Макбет

На другое утро Эмилия приказала затопить печку в бывшей спальне Сент Обера и тотчас же после завтрака отправилась туда с намерением сжечь бумаги. Запершись на ключ, чтобы никто ей не помешал, она отворила дверь в соседнюю комнату, где находились бумаги. Войдя туда, она почувствовала непривычный страх и несколько минут озиралась, дрожа всем телом. В одном углу комнатки стояло большое кресло, а перед ним стол, за которым сидел отец ее в тот памятный вечер, накануне их отъезда, и в сильном волнении рассматривал бумаги.

Уединенная жизнь Эмилии за последнее время, печальные мысли постоянно угнетали ее расстроенные нервы. Ее обыкновенно здравый рассудок посещали суеверные бредни, которые имеют свойство сбивать с толку человека и приводить его в состояние, близкое к временному безумию. После возвращения ее домой с ней несколько раз повторялись такие припадки: блуждая по опустелому дому в сумерках, она чего-то пугалась, ей чудились какие-то призраки. Такому же болезненному возбуждению нервов она приписала и теперешний случай: когда она еще раз взглянула на кресло, стоявшее в темном углу чулана, ей представилось, что она ясно видит в нем фигуру отца.

Эмилия постояла несколько минут, как пригвожденная к полу, затем бросилась вон из комнатки. Но вскоре она оправилась и стала укорять себя в слабости, мешавшей ей исполнить дело такой важности; опять отворила она дверь каморки. Руководствуясь указаниями Сент Обера, она легко отыскала доску, о которой он говорил, в углу у окна. Она нашла и черту, о которой он говорил ей, прижала ее ногой— доска подалась; под нею обнаружилась связка бумаг и кошельки с золотыми. Дрожащей рукой Эмилия вынула все это, приладила доску на прежнее место и уже хотела встать с пола, как вдруг ей показалось, что она опять видит знакомую фигуру в кресле. Эта иллюзия произвела на нее потрясающее впечатление: она бросилась вон из комнатки в спальню и почти без чувств упала на стул.

Рассудок скоро рассеял эту страшную, гнетущую игру воображения, и Эмилия опять вернулась к бумагам, но еще настолько мало владела собой, что глаза ее машинально скользили по исписанным листам; в эту минуту она не сознавала, что нарушает строгое запрещение отца — вдруг попавшаяся ей на глаза фраза, имевшая глубокий, страшный смысл, сразу пробудила ее внимание и вместе с тем ее память. Она поспешно оттолкнула от себя бумаги, но не могла выбросить из головы тех полных значения слов, которые возбудили в ней ужас и любопытство. Эти слова так сильно взволновали ее, что она даже не могла решиться сразу сжечь бумаги, и чем дальше она останавливалась на этом, тем более это обстоятельство разжигало ее воображение. Побуждаемая пламенным и вполне понятным любопытством ближе разузнать все касающееся нечаянного, таинственного разоблачения, она даже пожалела, зачем обещала отцу уничтожить эти бумаги. Одно мгновение она сомневалась, следует ли по справедливости повиноваться такому приказанию, вопреки доводам, заставляющим ее продолжать исследование тайны. Но это затмение длилось недолго. «Я дала торжественное обещание отцу, — сказала она самой себе, — обещание исполнить его предсмертный завет — мое дело не рассуждать, а повиноваться. Надо поскорее удалить от себя всякий соблазн, иначе я поступлю дурно и буду весь свой век мучиться сознанием непоправимой вины». Подкрепленная сознанием долга, она окончательно победила искушение, самое сильное, какое ей когда-либо приходилось

испытывать в жизни, и бросила бумаги в огонь. Глаза ее следили за тем, как пламя медленно истребляло их: она вздрогнула, вспомнив о только что прочтенной фразе и подумав, что теперь навеки ускользает единственный случай когда-либо разъяснить тайну.

Лишь долго спустя после этого она вспомнила о кошельке и уже хотела, не открывая его, положить в шкаф, как вдруг заметила, что в нем заключается какой-то предмет, размерами побольше монеты; поэтому она принялась рассматривать содержимое кошелька. «Его рука касалась этих монет, — говорила она, целуя их и обливая слезами, — его рука, теперь уже истлевшая, обратившаяся в прах». На дне кошелька оказался небольшой пакетик, завернутый в несколько бумаг; развернув его, она увидала, что там заключается футляр с женским портретом. Эмилия вздрогнула. «Это тот самый портрет, над которым в тот вечер плакал мой отец!», — сказала она. Рассматривая черты, изображенные на портрете, она подумала, что не знает этой женщины — это было лицо редкой красоты, полное кротости и грустной покорности судьбе.

Сент Обер не давал никаких распоряжений относительно миниатюры и даже не упомянул о ней; поэтому Эмилия сочла себя вправе сохранить портрет. Вспомнив, каким тоном он говорил о маркизе Вильруа, Эмилия была склонна думать, что это ее портрет; но все-таки не видно было причины, почему ее отец хранил у себя портрет этой дамы, и, храня его, грустил и плакал над ним, как в тот вечер, накануне отъезда.

Эмилия долго не отрывалась от миниатюры и не могла дать себе отчета, что именно так чарует и привлекает ее в этом лице, внушая ей нежность и жалость. Темно-каштановые волосы незнакомки небрежно вились вокруг чистого, открытого лба; нос был с легкой горбинкой; на устах витала улыбка, но улыбка грустная; голубые глаза были устремлены к небу с выражением небесной кротости; легкое облако грусти на челе выдавало чуткую, чувствительную душу.

Рассматривая портрет, Эмилия была выведена из задумчивости стуком калитки; выглянув в окно, она увидала Валанкура, идущего к замку. Она была так взволнована только что пережитым, что почувствовала себя неподготовленной к этому свиданию, и несколько минут оставалась в бывшей спальне отца, стараясь немного оправиться.

Встретив Валанкура в зале, она была поражена его видом, до такой степени он изменился с того времени, как они расстались в Руссильоне; вчера в сумерках она не могла этого заметить. Но томность и уныние мгновенно сменились улыбкой, озарившей его черты, лишь только она появилась.

— Как видите, — начал он, — я воспользовался вашим позволением прийти попрощаться с вами.

Эмилия слабо улыбнулась и, чтобы сказать что-нибудь, спросила, давно ли он в Гаскони?

— Всего несколько дней, — отвечал Валанкур и щеки его покраснели. — Я предпринял длинную прогулку, расставшись со своими друзьями после восхитительного путешествия в Пиренеях...

При этих словах у Эмилии навернулись слезы на глазах; заметив это, Валанкур, желая отвлечь ее от печальных воспоминаний, им же вызванных, и браня себя за неосторожность, начал говорить о другом, между прочим восхищался замком и его окрестностями.

Эмилия, затрудняясь поддерживать разговор, обрадовалась такому случаю заговорить о чем-нибудь постороннем. Они прошли по террасе. Валанкур был в восторге от живописности реки и видов на противоположном берегу Гаронны.

Прислонясь к каменной ограде террасы и любуясь быстрым течением Гаронны, он говорил Эмилии:

— Несколько недель тому назад мне случилось быть у истоков этой прекрасной реки; тогда я не имел счастья знать вас, а то я пожалел бы, что вы не видите этой картины, совершенно в вашем вкусе. Река берет начало в местности Пиренейских гор, еще более величественной и дикой, чем та, по которой мы ехали, направляясь в Руссильон.

Он описал, как Гаронна узким ручьем низвергается через пропасти в горах, затем как в

нее вливаются воды множества потоков, струящихся из снеговых вершин, и как она стремительно мчится в долину Арана, пенясь, несется между романтических высот, пока наконец не достигает равнин Лангедока; там, омывая стены Тулузы, она поворачивает опять к северо-западу, принимает более мирный характер, оплодотворяет пастбища Гаскони и Гиенны и наконец вливается в Бискайский залив.

Эмилия и Валанкур беседовали о местностях, которые они посетили вместе в Пиренейских Альпах; в голосе Валанкура часто сквозила робкая нежность; порою он описывал картины природы с пылким, увлекательным талантом, порою он как будто терял нить своего рассказа, хотя все продолжал говорить.

Эти описания невольно наводили Эмилию на воспоминания об отце; образ его оживал во всех картинах, воспроизводимых Валанкуром; ей слышались слова и замечания отца, она видела перед собой, как живое, его восторженное лицо. Молчаливость Эмилии наконец напомнила Валанкуру, что его рассказы слишком близко задевают предмет ее скорби, и он незаметно перевел разговор на другую тему, хотя тоже не менее тяжелую для Эмилии: он стал хвалить величественный платан, простиравший свой шатер над террасой, где они теперь сидели; Эмилии вспомнилось, как они, бывало, сживали здесь с отцом и как он почти в тех же словах выражал свой восторг.

— Это было любимое дерево моего дорогого отца, — проговорила она, — ему нравилось по вечерам сидеть под тенью платана, окруженному своим семейством.

Валанкур понял ее чувства и молчал; если б она подняла глаза свои, потупленные в землю, она увидела бы слезы на его глазах. Он встал и прислонился к ограде террасы, но тотчас же отошел прочь и сел на прежнее место; через минуту он опять вскочил и казался сильно взволнованным. Между тем Эмилия чувствовала себя до того расстроенной, что, несмотря на все попытки завязать разговор, это ей никак не удавалось. Валанкур снова сел, но продолжал молчать и дрожал всем телом. Наконец он проговорил нерешительным голосом:

— И с этим прелестным уголком я должен расстаться, должен проститься с вами... быть может, навеки! Эти минуты уже никогда больше не вернуться! Позвольте же мне, по крайней мере, не оскорбляя вашей глубокой скорби, выразить все мое восхищение вашей добротой! Я не забуду ее! О! если б когда-нибудь, в будущем, мне позволено было назвать это чувство любовью!

Эмилия от волнения не могла отвечать; Валанкур, решившись взглянуть на нее, заметил, что она переменилась в лице; опасаясь обморока, он сделал невольное движение, чтобы поддержать ее. Это заставило Эмилию очнуться и овладеть собой. Валанкур притворился, что не замечает ее нездоровья, но когда он заговорил, в голосе его выражалась скрытая нежность.

— Я больше не осмелюсь, — сказал он, — касаться этого предмета; но позвольте мне сказать, что эти минуты разлуки утратили бы свою горечь, если б мне дана была надежда, что я, несмотря на мое признание, не буду изгнан из вашего присутствия на будущее время.

Она сделала над собой усилие, чтобы овладеть своими смятенными чувствами и заговорить. Она боялась довериться своему сердцу, которое рвалось навстречу Валанкуру, и подать ему надежду после столь короткого знакомства; хотя даже в этот небольшой срок она успела заметить в нем много достоинств и хотя эти наблюдения подкрепились добрым мнением ее отца о молодом человеке, но все же этого было еще мало, чтобы побудить ее принять решение, бесконечно важное для ее будущего счастья. Правда, мысль о том, чтобы отказать Валанкуру, была ей очень тяжела, почти невыносима; это сознание заставляло ее опасаться пристрастности своего суждения, и она тем более не решалась поощрить это признание, на которое так нежно отзывалось ее сердце. Семья Валанкуров была знакома ее отцу; она пользовалась безукоризненной репутацией. Что касается материальных обстоятельств самого Валанкура, то он намекнул на них, насколько позволяла деликатность, сказав, что пока он не может предложить ей ничего, кроме нежно любящего сердца. Он молил только об одном, чтобы ему дали хотя отдаленную надежду. Эмилия не могла

решиться отнять эту надежду, хотя не осмеливалась и поддерживать ее. Наконец она собралась с силами и отвечала ему, что она очень дорожит добрым мнением человека, которого уважал ее отец.

— Значит, он считал меня достойным уважения? — произнес Валанкур голосом, дрожащим от волнения. Потом, одумавшись, прибавил: — Простите мой вопрос, я не знаю, что говорю... Если б я только мог надеяться, что вы считаете меня достойным его симпатии и позволите мне иногда осведомляться о вашем здоровье, тогда я удалился бы сравнительно спокойный.

После короткого молчания Эмилия сказала:

— Я буду с вами откровенна, зная, что вы поймете мое положение и мою откровенность примете за доказательство моего... уважения к вам. Хотя я живу здесь в доме покойного батюшки, но живу здесь одна. Увы, у меня уже нет отца... отца, присутствие которого могло бы оправдать ваши посещения. Мне нечего объяснять вам, насколько мне неприлично принимать вас у себя.

— Будьте уверены, что я вполне понимаю вас. Но что же утешит меня за мою покорность? — прибавил Валанкур с грустью. — Простите, я расстраиваю вас, я готов оставить этот разговор, если вы дадите мне разрешение когда-нибудь явиться к вашим родным.

Эмилия опять смутилась и не знала что отвечать. Она особенно сильно сознавала всю трудность и беспомощность своего положения; у нее не было на свете ни единого человека — родственника или друга, к кому она могла бы обратиться за поддержкой и советом в теперешних трудных обстоятельствах. Г-жа Шерон, единственная ее родственница, могла бы быть ее другом, но она была или поглощена своими светскими обязанностями, или просто сердилась на племянницу за ее нежелание уезжать из отцовского замка; словом, пока тетка бросила Эмилию на произвол судьбы.

— Ах, я вижу, — промолвил Валанкур после долгой паузы, в продолжение которой Эмилия начинала то ту, то другую фразу, оставляя их неоконченными, — вижу, что для меня нет никакой надежды: я не ошибался — вы считаете меня недостойным вашего уважения. Ах! это роковое путешествие! Я считал его счастливейшей порой моей жизни, а вместо того эти блаженные дни отравят всю мою будущность! Как часто я вспоминал об

этих днях с надеждой и страхом! и все-таки до этой минуты я никогда не жалел об их чарующем впечатлении на мою душу!

Голос его прервался, он стремительно вскочил с места и заходил по террасе. На его лице было выражение отчаяния, поразившее Эмилию. Сердечная симпатия к нему в некоторой степени поборолла ее чрезвычайную робость; и когда он опять сел, она проговорила тоном, выдававшим ее нежное чувство:

— Вы несправедливы к себе и ко мне, говоря, будто я считаю вас недостойным моего уважения; сознаюсь вам, что я уже давно чувствую к вам уважение и... и...

Валанкур нетерпеливо ждал окончания фразы, но слова замерли на ее губах. В глазах ее отражалось, однако, волнение ее сердца. В один миг Валанкур перешел от нетерпения и отчаяния к нежности и восторгу.

— О, Эмилия! — воскликнул он, — моя Эмилия! Научите меня, как вынести эту минуту! Она запечатлеется в моем сердце, как самая священная в моей жизни!

Он прижал руку ее к губам своим; рука была холодна и дрожала; подняв глаза, он увидел, как бледно ее лицо. Слезы доставили Эмилии облегчение; Валанкур наблюдал ее в тревожном волнении. Через несколько минут она оправилась и, улыбаясь сквозь слезы, сказала:

— Простите мне эту слабость. Силы мои, вероятно, еще не оправились после недавнего потрясения.

— Я не могу простить себе, — сказал Валанкур, — что я был причиной вашего волнения; постараюсь более не касаться предмета, который мог расстроить вас в сладостной уверенности, что пользуюсь вашим уважением.

Потом, забыв о своей решимости, он опять заговорил о том же.

— Вы не знаете, сколько мучительных часов я провел вблизи от вас за эти последние дни, когда вы думали, что я далеко, — если только вы иногда делали мне честь вспоминать обо мне. Я бродил вокруг замка в тихие часы ночи, когда ни одна душа не могла видеть меня. Было так отрадно сознавать вашу близость, для меня было что-то особенно успокоительное в мысли, что я караулю ваш дом в то время, как вы поживаете. Эти сады от части знакомы мне. Однажды я перелез через ограду и провел один из счастливейших, хотя и мучительных часов в моей жизни, прохаживаясь под окном, которое я считал вашим.

Эмилия осведомилась, как долго Валанкур жил по соседству.

— Несколько дней, — отвечал он. — У меня было намерение воспользоваться позволением вашего батюшки посетить вас. Не знаю почему, но при всем моем желании видеть вас я все не решался войти и постоянно откладывал свое посещение. Я поселился в деревне поблизости и бродил со своими собаками по живописным местностям этого прелестного края; все время я мечтал встретить вас, однако не решался посетить ваш дом...

Разговор продолжался, и время летело незаметно; наконец Валанкур опомнился.

— Мне пора уходить, — молвил он печально, — но я уйду с надеждой увидеть вас снова, получив от вас разрешение посетить ваших родных.

— Мои родные будут рады видеть того, кто был другом моего покойного отца, — отвечала Эмилия.

Валанкур поцеловал ее руку и все мешкал, не имея сил уйти; Эмилия сидела молча, потупив глаза в землю, а Валанкур, глядя на нее, думал, что скоро он уже не увидит это прекрасное лицо и что даже по памяти ему будет трудно вызвать перед собой эти дорогие черты. В эту минуту из-за платана послышался шум торопливых шагов и, повернувшись, Эмилия увидела перед собой г-жу Шерон. Девушка почувствовала, что ее бросило в краску: она задрожала от волнения, однако поспешно вскочила навстречу гостю.

— Ну-с, милая племянница! — начала г-жа Шерон, окидывая Валанкура удивленным, пытливым взглядом, — вот и я! Как поживаете? — Впрочем, нечего и спрашивать! ваш цветущий вид и так доказывает, что вы уже утешились после вашей утраты.

— В таком случае, мой вид обманчив, тетя, — в своей утрате я никогда не могу утешиться.

— Ладно, ладно, не стану с вами спорить: я вижу, у вас батюшкин характер, но позвольте сказать вам, что ему, бедняжке, лучше бы жилось с другим характером.

Гордый, негодующий взгляд, брошенный Эмилией на г-жу Шерон, смутил бы всякого другого, но не ее. Эмилия не отвечала ни слова, но представила тетке Валанкура, который тоже едва мог скрыть свое возмущение; на поклон его г-жа Шерон отвечала легким кивком и надменным взглядом. Через несколько минут молодой человек простился с Эмилией, причем та заметила, как ему тяжело уйти и оставить ее в обществе такой особы, как г-жа Шерон.

— Кто этот молодой человек? — спросила тетка тоном, в котором сквозило и любопытство, и презрение, — вероятно, какой-нибудь досужий ухаживатель? Но я все-таки думала, милая моя, что у вас хватит чувства приличия и вы поймете, что вам нельзя принимать визиты молодых людей в вашем теперешнем одиноком положении. Я должна вам сказать, что свет замечает подобные вещи и будет болтать — конечно, не в недоброжелательном духе.

Эмилия, возмущенная этими грубыми речами, пыталась прервать их; но г-жа Шерон продолжала, не смущаясь, с самодовольством человека, для которого власть еще внове.

— Вам непременно надо находиться под наблюдением особы, способной руководить вами. Мне собственно некогда этим заниматься. Но так как ваш бедный отец перед смертью пожелал, чтобы я наблюдала за вашим поведением, то я принуждена взять вас под свою опеку. Но я должна сказать вам, что если вы не будете вполне подчиняться моим указаниям, то я не стану утруждать себя заботами о вас.

Эмилия уже не делала попыток прерывать словоизвержения г-жи Шерон; горе и гордость оскорбленной невинности заставляли ее молчать.

— Я приехала сюда затем, чтобы взять вас с собою в Тулузу, — заговорила опять тетка. — Мне очень жаль, что ваш отец умер в таких печальных обстоятельствах, но я приму вас к себе. Ах, бедняга! он всегда был великодушен, но непрактичен, иначе он не оставил бы своей дочери в зависимости от родных.

— Надеюсь, он этого и не сделал, тетя, — спокойно возразила Эмилия, — да и денежные неудачи его произошли вовсе не по милости благородного великодушия, всегда отличавшего его: дела г.Мотвилля, я полагаю, могут еще поправиться без большого убытка для его кредиторов, а тем временем я желала бы оставаться в «Долине».

— Еще бы не желали! — воскликнула г-жа Шерон с иронической улыбкой, — и я, конечно, соглашусь на это, видя, как необходимы спокойствие и уединение для успокоения ваших нервов. Я не считала вас способной на такую двуличность, милая моя. Когда вы ссылались на этот предлог для того, чтобы оставаться здесь, я имела глупость поверить вам, и никак не ожидала застать вас в приятном обществе этого г. Ла Вал... как бишь его?.. Я забыла имя.

— Я говорила вам сущую правду, тетя, — отвечала она, — и теперь я более чем когда-либо ценю уединение, о котором тогда просила; и если цель вашего посещения состоит лишь в том, чтобы оскорблять меня, хотя и без того я сильно страдаю, то вы могли бы немного пощадить дочь вашего покойного брата.

— Я вижу, что взяла на себя хлопотливую обузу, — заметила г-жа Шерон, вся побагровев.

— Мой отец, наверное, не думал, тетя, — проговорила Эмилия мягко и стараясь удержаться от слез, — что это будет для вас такой обузой. Уверяю вас, мое поведение всегда заслуживало его одобрения. Мне было бы прискорбно оказывать неповиновение сестре моего дорогого отца; и если вы полагаете, что ваша задача действительно будет так тяжела, то я могу только пожалеть, что она выпала вам на долю.

— Полно, племянница, все это фразы. Из уважения к моему бедному брату я готова пока смотреть сквозь пальцы на неприличие вашего поведения. Увидим, как вы впредь будете держать себя.

Эмилия просила ее объяснить, в чем заключается неприличие, на которое намекает тетка.

— В чем неприличие! Да в том, что вы принимали посещения поклонника, неизвестного вашим родным! — воскликнула г-жа Шерон, не соображая, что сама виновата в гораздо большем неприличии, подозревая племянницу в неблагоприятном поступке.

Слабый румянец разлился по лицу Эмили; гордость и огорчение боролись в ее сердце; но, вспомнив, что, действительно, с первого взгляда подозрения ее тетки как будто и оправдываются до известной степени, она не могла унизиться настолько, чтобы начать оправдывать свое поведение, в сущности невинное и неумышленное. Она рассказала, как она познакомилась с Валанкуром при жизни отца; рассказала, как он был нечаянно ранен дорогой ее отцом и как они потом путешествовали вместе; наконец, упомянула, что она случайно встретила с ним вчера вечером. Правда, он признался, что неравнодушен к ней, и просил позволения явиться к ее родным.

— Но кто же он такой, этот искатель приключений, скажите, пожалуйста? — воскликнула г-жа Шерон. — И на что он рассчитывает?

— Ну, уж это пусть он сам объяснит вам, — отвечала Эмилия. — Его семья была известна моему отцу, и он слышал, что она пользуется безукоризненной репутацией.

Далее она рассказала все, что знала о нем.

— А! так он, значит, младший сын в семье, следовательно, нищий! — воскликнула тетка. — Вот это мило! И мой брат пристрастился к этому молодому человеку после нескольких дней знакомства? Это так на него похоже! В молодости он, бывало, всегда то полюбит, то возненавидит кого-нибудь без всякой разумной причины, и даже я всегда находила, что те люди, которых он не одобрял, гораздо приятнее его любимцев. Впрочем, о вкусах не спорят. Он всегда поддавался впечатлению внешности. Что до меня касается, то я

нахожу, что это смешная восторженность! Ну, что общего между лицом человека и его характером? Не может разве случиться, что у хорошего человека неприятное лицо?

Эту последнюю фразу г-жа Шерон произнесла с большой самоуверенностью, точно сделала великое открытие, и решила, что все рассуждения покончены.

Эмилия, желая прекратить неприятный разговор, осведомилась, не желает ли тетюшка закусить после дороги; г-жа Шерон пошла за ней в замок, однако не рассталась со своей темой, которую обсуждала с таким самодовольством и с такой строгостью к племяннице.

— Я с огорчением убеждаюсь, — сказала она в ответ на какое-то замечание Эмилии о физиономиях, — что вы унаследовали многие предрассудки от вашего отца, между прочим, внезапную симпатию к людям, за их приятную наружность. Я догадываюсь, что вы считаете себя страстно влюбленной в этого молодого авантюриста, после знакомства в несколько дней. Действительно, в вашем свидании было что-то романтически очаровательное!.

Эмилия подавила слезы, готовые брызнуть из ее глаз, и проговорила:

— Когда мое поведение будет заслуживать вашей строгости, тетя, тогда и будьте строги; но до той поры, из чувства справедливости, если не любви, вам следовало бы воздержаться. Я никогда добровольно не оскорбляла вас. Теперь я лишилась родителей, и вы единственное лицо, от кого я могу ждать доброго отношения. Не растревляйте же моего горя, оно и так велико после потери таких родителей!

Последние слова она едва могла выговорить от волнения и вслед затем залилась слезами. Она вспомнила о деликатности и нежности Сент Обера, о счастливых днях, проведенных ею в родном доме, и вот теперь, сравнивая все это с грубым, бессердечным обращением г-жи Шерон и представляя себе, сколько ей впредь придется проводить тоскливых часов в ее обществе, она чувствовала, что ею овладевает горе, близкое к отчаянию. Госпожа Шерон, более обиженная укорами Эмилии, чем тронутая ее скорбью, не сказала ничего, что могло бы смягчить ее горе; но хотя она и выражала неохоту принять к себе племянницу, однако в сущности желала ее общества. Властолюбие было ее преобладающей слабостью; она знала, что ей будет удобно принять к себе в дом молодую сироту, которая будет беспрекословно слушаться ее и исполнять все ее капризы.

Войдя в замок, госпожа Шерон изъявила желание, чтобы Эмилия сейчас же уложила свои вещи, так как она намеревается немедленно выехать в Тулузу. Эмилия старалась уговорить тетку отсрочить отъезд хоть до завтрашнего дня. Наконец это ей удалось.

Весь день г-жа Шерон капризничала и пускала в ход свою мелочную тиранию, а Эмилия печалилась, помышляя о будущем.

Вечером, когда тетка удалилась в свою спальню, Эмилия обошла все комнаты и прощалась со всеми вещами в своем родном доме, который теперь покидала невеста на сколько времени, для того чтобы вступить в свет, ей совершенно чуждый и неизвестный. Она не могла победить в себе предчувствие, часто приходившее ей на ум в эту ночь, — что она никогда больше не вернется в отцовский замок.

Долго оставалась она в кабинете отца, отобрала несколько любимых его авторов, чтобы увезти их с собою, и пролила немало слез, стирая пыль с книг; потом она уселась в его любимое кресло перед пюпитром для чтения и погрузилась в печальные думы; так просидела она до тех пор, пока Тереза не отворила дверь, делая обход перед сном. Старуха вздрогнула, увидав свою молодую госпожу; но та позвала ее и отдала распоряжение держать дом наготове к ее приему в любое время.

— Ох, ох, ох! барышня моя горемычная! и зачем вам понадобилось уезжать отсюда! — промолвила Тереза, — право, вам здесь будет лучше, чем там, куда вы едете, — если судить по всему...

Эмилия не отвечала на это замечание. Огорчение, выраженное Терезой по поводу ее отъезда, глубоко трогало ее; но она находила некоторое утешение для себя в простой привязанности этой бедной, старой служанки; она дала ей кое-какие распоряжения с целью удобнее устроить ее во время отсутствия ее госпожи.

Отпустив Терезу спать, Эмилия еще бродила по всем пустым покоям замка; более всего

она пробыла в спальне отца и там долго предавалась грустным мыслям, не лишенным некоторого утешения. Наконец она удалилась в свою комнату. Из окна она смотрела на сад, слабо озаренный луной, подымавшейся из-за вершин пальмовых деревьев; наконец тихая красота ночи пробудила в ней такое сильное желание проститься с возлюбленными воспоминаниями своей юности, что она не могла устоять против соблазна сойти вниз. Набросив на голову легкий прозрачный шарф, в котором она обыкновенно гуляла, она молча прошла через сад и направилась к отдаленным рощам, чтобы еще раз подышать воздухом свободы и поплакать вдали от посторонних глаз. Глубокий покой ночи, дивное благоухание, разлитое в воздухе, величие далеких горизонтов и ясный синий свод над головою умиротворили и возвысили ее душу, делая ее нечувствительной к ничтожному, низменному миру до такой степени, что теперь она не могла даже понять, как эти житейские мелочи могли хоть на минуту взволновать ее. Эмилия позабыла о госпоже Шерон и обо всех ее вздорных придирках, и помыслы ее вознеслись к созерцанию бесчисленных миров, рассеянных в глубине эфира — причем тысячи их невидимы человеческому глазу и даже недоступны человеческому воображению. В то время, как мысли ее витали в бесконечном пространстве и возносились к предвечному Началу Бытия, управляющему вселенной, мысль об отце ни на минуту не покидала ее; но то была мысль отрадная, так как она со своей глубокой, чистой верой знала, что душа его в руках Божиих. Эмилия продолжала идти по роще к террасе, но часто останавливалась на пути, когда какое-нибудь воспоминание шевелило ее горе или когда ее рассудок напоминал ей о предстоящем изгнании.

Луна уже стояла высоко над лесом, задевая верхушки деревьев желтым светом и пронизывая чащу длинными косыми лучами; внизу, над быстрой Гаронной трепетное лунное сияние затуманивалось легкой мглой. Эмилия долго наблюдала светлое отражение, прислушивалась к мягкому ропоту струй и к слабому шелесту бриза в верхушках пальм.

«Как прекрасен воздух в роще! — думала она. — Какая прелестная картина! Часто буду я вспоминать и сожалеть о них, когда буду далеко! Увы! много воды утечет прежде, чем я вернусь сюда. О, мирные, отрадные тени! призраки моего счастливого детства и родительской нежности, навеки утраченной! Зачем мне суждено покинуть вас? В этих местах, полных вами, я могла бы найти тишину и отдохновение. Сладостные дни моего детства! Я должна проститься с последними воспоминаниями о вас!»

Осушив слезы и взглянув на небо, она снова погрузилась в прежнее созерцание; и опять такое же небесное спокойствие овладело ее сердцем, внушило ей надежду, веру и покорность воле Господа, чьи творения наполняли ее душу восторгом.

Эмилия долго смотрела на любимый платан, потом в последний раз села на скамью под его тенью, где, бывало, часто сживала с отцом и матерью и где лишь за несколько часов перед тем беседовала с Валанкурсом. При воспоминании о нем, в ее сердце поднялось чувство нежности и тоски по нему.

Вспомнилось ей его признание, что он часто бродил вокруг ее жилища по ночам и даже заходил иногда за ограду сада; ей тотчас же пришло в голову, что и в данную минуту он где-нибудь в парке. Боясь встретиться с ним, в особенности после его признания, и заслужить справедливый выговор от тетки, она заставила себя отойти от платана и пойти к замку. Она тревожно озиралась кругом и останавливалась по временам, стараясь пронизать взором потемки; но никто не попадался ей навстречу; наконец, она дошла до группы миндальных деревьев, неподалеку от дома, и там остановилась, чтобы окинуть весь сад прощальным взглядом; вдруг ей показалось, что какая-то фигура вышла из рощи и медленно прошла по залитой лунным светом аллее, но за далеким расстоянием и тусклым освещением она не могла определить, была ли это действительность или обман воображения... Некоторое время она не отрываясь смотрела на то место, и вдруг в мертвой тишине воздуха ей почудился какой-то звук и шум шагов неподалеку. Не тратя времени на догадки, она торопливыми шагами направилась к дому; придя к себе в спальню, она закрыла окно, выходившее в сад, и тут опять ей показалось, что чья-то фигура проскользнула мимо миндальных деревьев. Эмилия немедленно отошла от окна и, как ни была взволнована, постаралась найти во сне

отдых и хотя бы кратковременное забвение.

ГЛАВА XI

*Навеки я цветущую тропинку покидаю.
Тропу веселую, где я, бывало, мальчиком
Беспечно напевал, резвился,
Где каждое лицо мне с лаской улыбалось,
Где каждая долина, роца были так прекрасны,
И все кругом невинно, безыскусственно и мило!*
Менестрель

Рано утром к воротам замка подкатила карета, которая должна была везти г-жу Шерон с Эмилией в Тулузу; тетушка была уже в столовой, когда появилась Эмилия. Завтрак прошел скучно и в унылом молчании, по крайней мере со стороны Эмилии. Г-жа Шерон, самолюбие которой было задето печальным видом племянницы, резко укоряла ее, что, конечно, не могло улучшить ее настроения. С большой неохотой и после убедительных просьб Эмилии ей было разрешено взять с собой собаку, любимицу ее покойного отца. Тетка, торопившаяся уехать, приказала поскорее подавать карету, и в то время, как она шла к воротам, Эмилия еще раз заглянула в библиотеку, окинула последним, прощальным взглядом сад и только тогда последовала за теткой. Старая Тереза вышла за ворота провожать свою молодую госпожу.

— Да хранит вас Бог, барышня! — промолвила старуха.

Эмилия молча протянула ей руку и отвечала на ее слова принужденной улыбкой.

У ворот парка стояли несколько бывших пенсионеров ее отца, пришедших проститься с нею; ей хотелось бы сказать им несколько добрых слов на прощанье, но тетка не позволила кучеру даже остановиться.

Бросив беднякам почти все деньги, какие нашлись у нее, Эмилия забилась в уголок экипажа и отдалась своей печали. Немного погодя, взглянув в окно, она еще раз увидела на повороте дороги свой родной замок, выглядывавший из-за высоких деревьев, окруженный зелеными холмами и пышными рощами; увидела и Гаронну, извивающуюся меж густой зеленью виноградников и далеких пастбищ. Вершины и пропасти Пиренеев, видневшиеся на юге, напомнили Эмилии множество интересных эпизодов из их последнего путешествия; но эта чудная местность, возбуждавшая прежде ее восторг, в эту минуту вызвала в ней одну горесть и сожаление. Занятая своими печальными думами, она была не в силах поддерживать разговор, затеянный г-жой Шерон по поводу каких-то пустяков; так они ехали в молчании.

Тем временем Валанкур вернулся домой, в поместье Этювьер, полный мыслями об Эмилии; иногда он предавался мечтам о будущем счастье, но чаще всего его мучили опасения встретить сопротивление со стороны ее родных. Он был младший сын старинной фамилии из Гаскони; родителей он потерял в раннем детстве, так что воспитание его и охрана небольшой доли принадлежавшего ему состояния были поручены его брату, графу Дюварней, который был старше него на двадцать лет.

Валанкур получил самое тщательное образование, какое только возможно было дать юноше в те времена; он отличался пылкостью нрава, великодушием, ловкостью и другими качествами, свойственными рыцарскому званию. Его маленькое состояние значительно сократилось, благодаря расходам на его воспитание; но г. Ла Валанкур старший, очевидно, думал, что дарования и таланты младшего брата в избытке вознаградят его за недостаток средств. Качества молодого человека дали возможность надеяться на успехи в военной карьере — а те времена почти единственной профессии, в которую дворянин мог вступить, не запятнав свое имя; разумеется, Валанкур был зачислен в армию. Но высокие качества его ума были мало поняты его братом. Уже с самого детства у него замечалось горячее стремление ко всему великому и прекрасному, как в духовной, так и в материальной жизни;

резкое негодование, какое он чувствовал и открыто выражал по поводу всякого дурного, низкого поступка, иногда навлекало на него выговоры его наставника: тот бранил мальчика за несдержанность характера; но, проповедуя ему о преимуществах кротости и сдержанности, педагог как будто забывал, что именно эти качества кротости и сострадания его воспитанник всегда проявлял по отношению ко всем обездоленным.

Валанкур получил отпуск из своего полка и воспользовался им для путешествия в Пиренеях, где судьба свела его с Сент Оберем. Теперь срок отпуска уже почти истек, и для Валанкура было тем более важно открыться родным Эмилии, от которых он имел основание ждать сопротивления, так как его состояние, с прибавкой ее скромных средств, хотя и оказалось бы достаточным для скромной жизни, но не могло удовлетворить ни их тщеславия, ни честолюбия. Сам Валанкур не был лишен честолюбия; он мечтал о блестящей карьере в армии, но думал, что с Эмилией пока он мог бы жить припеваючи, в пределах своего скромного дохода. Теперь все его помыслы были поглощены заботой — как явиться к ее родным; местопребывания их он не знал и надеялся получить о них сведения от самой Эмилии, не подозревая о ее внезапном отъезде из «Долины».

Между тем путешественницы продолжали свой путь. Эмилия несколько раз старалась притвориться веселой, но тотчас же опять впадала в уныние и молчание. Г-жа Шерон приписывала ее меланхолию исключительно разлуке с возлюбленным; уверенная, что скорбь племянницы по поводу потери отца не что иное, как аффектация, излишняя сентиментальность, она все время старалась убедить Эмилию, что смешно выказывать глубокое горе так долго спустя после положенного срока.

Наконец эти неприятные нравоучения тетушки были прерваны приездом путешественниц в Тулузу. Эмилия не была там уже много лет и сохранила об этом городе лишь самые смутные воспоминания. Она была поражена богатством и пышностью обстановки в теткинском доме, тем более что вся эта показная роскошь составляла полный контраст со скромным изяществом, к которому она привыкла у отца с матерью. Она прошла за г-жой Шерон через обширные сени, где выстроилось множество слуг в парадных ливреях, в салон, обставленный с большей эффектностью, чем вкусом. Тетка, жалуясь на усталость, приказала подать ужин немедленно.

— Я рада, что опять у себя дома, — говорила она, развась на диване, — рада, что меня окружают мои собственные слуги. Я терпеть не могу путешествовать; хотя, в сущности, мне следовало бы любить вояжи: все, что я вижу в чужих домах, заставляет меня желать поскорее вернуться домой. Но отчего вы все молчите, дитя мое? Скажите, что теперь-то вас огорчает?

Эмилия смахнула набежавшую слезу и старалась улыбнуться: она думала о своем милом доме, и ее кольнуло чувство высокомерия, сквозившее в речах г-жи Шерон.

«Неужели же это сестра моего отца?», — размышляла она; но тотчас же почувствовала потребность смягчить то грубое впечатление, которое произвела на нее заносчивость тетки, и показать готовность угодить ей. Эти старания не пропали даром; она слушала с притворной веселостью пространные, хвастливые рассказы г-жи Шерон о пышности ее дома, о том, какие балы она задавала, и о том, как должна держать себя Эмилия. Сдержанность и скромность молодой девушки она приписывала гордости и невоспитанности и воспользовалась случаем, чтобы раскритиковать ее в пух и прах. Ее пониманию был недоступен характер племянницы; она не знала, что иные натуры боятся довериться собственным силам и, имея свое собственное, тонкое суждение обо всем, склонны думать, что все другие люди судят вернее и лучше, поэтому боятся подвергнуться критике и ищут убежища в молчании. Эмилии часто случалось краснеть в обществе при виде беззастенчивой наглости и блестящего вздора, возбуждавших всеобщее восхищение; между тем этот успех, вместо того чтобы побуждать ее к подражанию, напротив, склонял ее к сдержанности.

Г-жа Шерон довольно презрительно относилась к скромности и застенчивости своей племянницы и старалась переделать ее при помощи своих наставлений.

Ужин прервал разглагольствования госпожи Шерон и тягостное впечатление, которое

они производили на Эмилию. По окончании ужина, чрезвычайно парадного, благодаря присутствию множества слуг и роскошной сервировке, г-жа Шерон удалилась к себе; вслед затем появилась горничная проводить Эмилию в предназначенную ей комнату. Поднявшись по широкой лестнице и пройдя через несколько галерей, они пришли к черной лесенке, ведущей в короткий коридор, находящийся в отдаленной части дома; там служанка отворила дверь маленькой комнатки, говоря, что это комната мамзель Эмили. Оставшись одна, Эмилия дала волю долго сдерживаемым слезам.

Тот, кто знает по опыту, до какой степени человек способен привязаться к предметам даже неодушевленным, как тяжело ему расставаться с ними и как радостно он встречается с ними, как со старыми друзьями, после временной разлуки, тот поймет, как грустно и одиноко чувствовала себя Эмилия, оторванная от дома, единственного жилища, которое она знала с детства, и брошенная в чуждую обстановку, среди людей новых и неприятных; любимая собака ее отца, бывшая при ней, приобретала таким образом значение истинного друга; животное ласкалось к ней и лизало ее руку.

— Бедный Маншон, — говорила девушка, — кроме тебя у меня никого нет на свете! — и слезы ее полились с новой силой.

Через некоторое время мысли ее обратились к наставлениям покойного отца; она вспомнила, как часто он, бывало, осуждал ее за то, что она предавалась тщетной печали, как часто он доказывал ей необходимость терпения и твердости: душевные силы, говорил он, укрепляются старанием подавить горе: мало-помалу горе истощается и исчезает. Эти воспоминания осушили ее слезы, постепенно успокоили ее дух и воодушевили ее отрядным стремлением применять на деле принципы, внушенные ей отцом.

ГЛАВА XII

*Какая-то таинственная сила дает копьё и щит,
Перед которым рушатся козни чародеев
И гибнут великаны.*
Коллинз

Дом г-жи Шерон стоял неподалеку от города Тулузы среди больших садов; там Эмилия, поднявшаяся рано утром, долго бродила перед завтраком. С террасы, устроенной в возвышенной части сада, открывался обширный вид на Лангедок. На далеком горизонте к югу Эмилия различала высокие вершины Пиренеев; воображение рисовало ей зеленые волнистые пастбища Гаскони, раскинувшиеся по ту сторону у подножия этих же гор. Сердце ее так и рвалось к мирному родному дому, к окрестным садам и пастбищам, к местам, где живет Валанкур и где жил ее отец; воображение ее, проникая сквозь дымку расстояния, представляло ей родину во всей ее живописной и романтической красе. Она испытывала невыразимое наслаждение, мысленно любуясь дорогими сердцу картинами, хотя в действительности видела только отдаленную цепь Пиренеев; не замечая ни окружающей местности, ни хода времени, она стояла, облокотясь о перила павильона в конце террасы и устремив глаза в сторону Гаскони, пока не явился слуга доложить, что подан завтрак. Тогда только мысли ее обратились к окружающему; прямые аллеи, правильные клумбы, искусственные фонтаны этого сада не могли не показаться ей скучными и банальными по сравнению с естественными красотами и художественным расположением парка при отцовском замке.

— Куда это вы ходили так рано? — осведомилась г-жа Шерон у племянницы, когда она вошла в столовую. — Мне не нравятся эти уединенные прогулки.

Эмилия отвечала, что не выходила из пределов сада, и очень удивилась, когда узнала, что и туда ей тоже запрещается ходить.

— Я прошу вас не гулять одной и в такой ранний час, — продолжала тетка, — мои сады очень обширны, и сознайтесь, что молодая девушка, способная назначать свидания при

луне, не может внушать доверия.

Эмилия, чрезвычайно удивленная и возмущенная, едва нашла в себе силу спросить, что значат эти намеки. Тетка наотрез отказалась дать какое-либо объяснение, хотя своими строгими фразами и полуфразами она, очевидно, хотела внушить Эмилии убеждение, что она знает какие-то подозрительные проделки ее. В сознании своей невинности, Эмилия не могла удержаться, чтобы не вспыхнуть от стыда; она задрожала и смутилась под смелым взором г-жи Шерон, которая тоже покраснела, но от торжества и удовлетворенного самомнения.

Эмилия, поняв, что все недоразумение вызвано ее прогулкой по саду в ночь накануне отъезда из «Долины», объяснила тетке значение этой прощальной прогулки. Г-жа Шерон презрительно усмехнулась, отказываясь принять это оправдание и даже не захотела объяснить причину своего отказа.

— Я никогда не верю людским уверениям, — добавила она в заключение, — а всегда сужу о людях по их поступкам. Ну, что ж! посмотрим, каково будет ваше поведение на будущее время.

Эмилия, не столько удивляясь сдержанности тетки и ее таинственному молчанию, сколько обвинению, которое та возвела на нее, тщательно обдумала значение таинственных намеков, и пришла к заключению, что это действительно Валанкур бродил по саду ночью накануне ее отъезда и что г-жа Шерон преследовала его. Последняя, перейдя от одной неприятной темы к другой, почти столь же тягостной, заговорила о денежных интересах племянницы, находящихся в руках г.Мотвиля. С напускным состраданием распространяясь о тяжелых обстоятельствах Эмилии, она не преминула намекнуть, что племянница должна быть покорна и благодарна ей, и вообще дала Эмилии почувствовать всю горечь унижения: молодая девушка поняла, что она будет играть в доме роль какой-то приживалки не только в глазах самой тетки, но и теткиных слуг.

Ей сообщили, что сегодня ожидается много гостей к обеду; по этому случаю г-жа Шерон опять повторила вчерашние наставления насчет того, как следует вести себя в обществе. Эмилия желала бы найти в себе достаточно мужества, чтобы следовать этим советам. Тетка занялась вслед за тем осмотром ее простенького гардероба и пожелала, чтобы она оделась к обеду нарядно и к лицу. Кстати она соблаговолила показать Эмилии все великолепие своего дома, выставя напоказ изящество и богатство тех или других покоев. После этого она пошла заниматься своим туалетом, а Эмилия отправилась к себе распаковывать свои книги и искать отрады в чтении, пока не настанет время одеваться к обеду.

Когда приехали гости, Эмилия вышла в салон с застенчивой робостью, которую она не в силах была превозмочь, тем более, что чувствовала на себе строгий взгляд тетки. Ее траурное платье, тихая грусть, разлитая на ее прекрасном лице, скромная застенчивость ее манер — делали ее очень интересной в плазах многих; в числе гостей она заметила синьора Монтони и друга его Кавиньи, которых уже встречала у Кенеля. Они разговаривали с г-жой Шерон с фамильярностью старых знакомых, а та со своей стороны относилась к ним с особенной приветливостью.

Этот синьор Монтони поражал видом сознательного превосходства и несокрушимым апломбом; все невольно ему подчинялись. Острый, пронизательный ум сквозил в его чертах, и при всем том выражение его лица постоянно менялось; смотря по случаю — несколько раз на дню можно было подметить на этих чертах торжество искусного притворства над искренними побуждениями. Лицо у него было продолговатое и довольно узкое; несмотря на это, он слыл красавцем; может быть, энергия и сила его духа, отражавшаяся в его чертах, составляли его главное обаяние. Он произвел сильное впечатление на Эмилию, но она сознавала, что не может уважать этого человека, и к этому чувству примешивалась некоторая доля страха, совершенно для нее необъяснимого.

Кавиньи был по-прежнему любезен и вкрадчив и, хотя он всячески старался оказывать внимание г-же Шерон, однако находил случаи побеседовать и с Эмилией; перед ней он

расточал блеск своего остроумия, и время от времени в его обращении с нею сквозила нотка нежности, смущавшая и пугавшая ее. Эмилия отвечала ему полусловами, но ее кротость и тихая прелесть поощряли его продолжать разговор. Она почувствовала облегчение, когда одна из девиц, болтавшая без умолку, успела обратить на себя его внимание. Эта барышня, обладавшая бойкостью и кокетством истой француженки, делала вид, что все знает, все понимает, или, вернее, это не было даже притворством, потому что, никогда не заглядывая за пределы собственного невежества, она была убеждена, что ей уже нечему учиться. Она обращала на себя всеобщее внимание — иных забавляла, иных приводила в раздражение, да и то только на одну минуту, вслед затем о ней тотчас же забывали.

Этот день прошел без особенных происшествий. Эмилия, хотя и заинтересованная наблюдениями над своими новыми знакомыми, обрадовалась, когда ей можно было удалиться в свою комнату и предаться далеким воспоминаниям, вошедшим у нее в привычку и обязанность.

Две недели быстро промчались в непрерывных развлечениях и выездах; Эмилия, сопровождавшая тетку во всех ее визитах, иногда развлекалась, но чаще всего утомлялась светской жизнью. Иногда ее поражали ум и знание некоторых людей в разговорах, которые ей приводилось слушать; но вскоре она убеждалась, что этот блеск, это знание в большинстве случаев одна мишура. Но что более всего обманывало ее — это вид неизменной веселости и оживления у светских людей. Сначала ей казалось, что эта веселость происходит от внутреннего довольства и благодушия. Но в конце концов, судя по поступкам некоторых из наименее умных членов общества, пересаливавших свою роль, оказывалось, что чрезмерное, лихорадочное оживление, обыкновенно царящее в небольшом свете, зависит отчасти от черствости и безучастности людей к страданиям ближних, отчасти же от желания их выставить напоказ свое благосостояние, в убеждении, что это должно возбудить к ним зависть и привлечь поклонение.

Самые приятные часы Эмилия проводила в павильоне на террасе: туда она удалялась всякий раз, как могла ускользнуть от наблюдения тетки; она брала с собой книгу, чтобы забыть хоть на время свою печаль, или лютню, если ей хотелось, напротив, предаться своим грустным думам; устремив глаза на далекие Пиренеи, а помыслы свои посвятив Валанкуру и чудной Гаскони, она играла нежные, грустные песни своей родной провинции — народные мелодии, знакомые ей с детства.

Однажды вечером, отказавшись сопровождать тетку в гости, она удалилась в павильон, захватив с собой книгу и лютню.

После душного дня наступил тихий, прекрасный вечер; в окна, выходившие на запад, виден был роскошный закат солнца. Лучи его ярко освещали величественные Пиренеи и окрашивали их снеговые вершины алым отблеском, не исчезающим долго после того, как солнце уже скрылось за горизонтом и сумеречные тени спустились над пейзажем.

Эмилия играла на лютне с трогательной задушевностью. Задумчивая грусть сумерек, вечерний свет, отражавшийся в водах Гаронны, которая протекала на далеком расстоянии и на пути своем орошала также и ее родимое имение, «Долину» — все это располагало ее сердце к нежности; мысли ее были поглощены Валанкуром. О нем она давно уже не имела никаких известий, и теперь только, когда была разлучена с ним и в неизвестности о нем, она убедилась, какое большое место он занимает в ее сердце. До встречи с Валанкуром она не видала человека, который характером и вкусами так сходил бы с нею. Хотя госпожа Шерон много натолковала ей о хитром притворстве людей, о том, что изящество и чистота мыслей — качество, так нравившееся ей в ее поклоннике, в сущности комедия, разыгрываемая для того, чтобы понравиться ей, — она все-таки не могла усомниться в его искренности. Но одной возможности притворства уже было достаточно, чтобы истерзать ее сердце; она находила, что нет ничего ужаснее, как сомневаться в достоинствах любимого человека; конечно, таких сомнений она не могла бы испытывать, если бы более доверяла своим собственным суждениям.

Эмилия была выведена из задумчивости стуком копыт по дороге, пролегавшей под

самыми окнами павильона; какой-то всадник проехал мимо; его фигура и осанка поразительно напоминали ей Валанкура (сумерки не позволяли разглядеть его черты). Она поспешно отошла от окна, боясь, что ее увидят, однако горя желанием наблюдать. Незнакомец проехал не подымая головы, и когда она вернулась к окну, то смутно разглядела, что он едет по дороге, ведущей в Тулузу. Этот пустой случай так смутил ее дух, что красивый вид уже перестал интересовать ее; она походила еще немного по террасе и вернулась в замок.

Г-жа Шерон приехала из гостей страшно не в духе: или ее затмила какая-нибудь соперница, или она проигралась в карты, или же у соседей сервировка оказалась богаче, чем у нее самой, — как бы то ни было, но она вернулась расстроенная, и Эмилия была рада возможности удалиться в уединение своей комнаты.

На другое утро Эмилию позвала к себе тетка; лицо ее пылало гневом; она протянула Эмилии какое-то письмо.

— Знаком вам этот почерк? — спросила она строгим тоном и пытливым взором стараясь проникнуть ей в самое сердце.

Эмилия рассмотрела письмо и объявила, что почерк ей неизвестен.

— Не сердите меня! — проговорила тетка, — вы знаете почерк: признавайтесь сию минуту. Я вам приказываю открыть мне всю правду!

Эмилия молчала и, повернувшись, хотела выйти из комнаты; но г-жа Шерон позвала ее назад.

— Так вы виновны! — сказала она, — вы знаете этот почерк?

— Если вы раньше были в сомнении относительно этого, — отвечала Эмилия спокойно, — то зачем вы обвиняли меня во лжи?

Г-жа Шерон не сконфузилась и не покраснела; зато Эмилия вся вспыхнула, когда минуту спустя услышала имя Валанкура. Ее смущение не было, однако, вызвано сознанием, что она заслуживает упрека, потому что, если она когда-нибудь и видела его почерк, то предложенные строки не напоминали ей руку Валанкура.

— Полно отнекиваться — это бесполезно, — сказала г-жа Шерон, — я вижу по вашему лицу, что вы не чужды этого письма; конечно, вы получили немало таких посланий от этого дерзкого молодого человека тут же у меня в доме, но без моего ведома.

Эмилия, возмущенная неделикатностью этого обвинения, в один миг позабыла свою гордость, заставлявшую ее молчать, пыталась оправдываться; но г-жу Шерон невозможно было разуверить.

— Я не могу допустить, чтобы этот молодой человек осмелился писать ко мне, если вы сами не поощрили его к этому шагу, и теперь я должна...

— Позвольте мне напомнить вам, тетушка, — робко вступилась Эмилия, — некоторые подробности из разговора, происходившего между нами в «Долине»: я тогда сказала вам откровенно, что я не запретила господину Валанкуру обращаться к моим родным.

— Не смейте перебивать меня! — крикнула тетка, прерывая племянницу. — Я хотела сказать: я... я... я собственно забыла, что хотела сказать!.. Но как же вы не запретили ему?

Эмилия молчала.

— С какой стати вы разрешили ему беспокоить меня письмами? Молодой человек, никому неизвестный, полнейший незнакомец в этих краях, какой-то авантюрист, искатель приключений!.. Однако в данном случае он промахнулся.

— Его семья была знакома моему отцу, — скромно заметила Эмилия, пропуская мимо ушей последнюю фразу.

— Ах, это вовсе не рекомендация! У покойного были такие сумасбродные мнения о людях. Он всегда судил о них по их физиономиям и вечно ошибался.

— Ведь вы сами еще так недавно заключили о моей виновности по моему лицу.

Эмилия хотела отплатить тетке за неуважительный отзыв об ее отце.

— Так слушайте, для чего я позвала вас, — продолжала тетка, краснея, — я не желаю, чтобы меня беспокоили письмами или визитами молодые люди, которым вы приглянулись.

Этот господин де Валантин, так кажется вы называли его, имеет дерзость просить, чтобы я позволила ему явиться ко мне в дом. Хорошо же! он получит от меня надлежащий ответ. Что до вас касается, Эмилия, то я повторяю вам раз навсегда, что, если вам не угодно сообразоваться с моими приказаниями и с моим образом жизни, то я откажусь от обязанности наблюдать за вашим поведением, перестану заниматься вашим воспитанием и отправлю вас на жительство в монастырь!

— Милая тетя, — проговорила Эмилия, заливаясь слезами и ошеломленная грубыми подозрениями тетки, — чем же я заслужила эти упреки?

Дальше она не могла произнести ни слова; она так боялась поступить опрометчиво в этой истории, что в эту минуту г-же Шерон, может быть, удалось бы связать ее обещанием отказаться от Валанкура навсегда. Душа ее была измучена страхом и страданиями; она уже не могла смотреть на молодого человека так, как смотрела на него прежде; она боялась не г-жи Шерон, а своего собственного приговора; ей казалось, что в прежних своих беседах с ним в «Долине» она вела себя недостаточно сдержанно. Она знала, что не заслуживает грубых обвинений тетки; но множество щекотливых тонкостей мучили ее, таких тонкостей, которые никогда бы не обеспокоили совесть г-жи Шерон. Все это побуждало ее избегать малейшего случая впасть в ошибку и делало ее склонной подчиняться всем ограничениям, какие тетка сочтет нужным поставить ей; она заявила о готовности слушаться тетку; та не особенно поверила этим намерениям, считая их последствием трусости или притворства.

— Ну, так обещайте мне, — сказала тетка, — что вы не увидите с этим господином и не будете писать ему без моего согласия.

— Милая тетя, неужели вы сомневаетесь в том, что я могу так поступить без вашего ведома?

— Я не знаю, что и думать! Как поручиться за молодых девиц — уважение света им нипочем!

— О, тетушка, для меня главное заслужить свое собственное уважение; отец мой учил меня, до какой степени это важно. Он говорил, что если я заслужу собственное уважение, то уважение света придет само собой.

— Мой брат был славный человек, — согласилась м-м Шерон, — но он, бедняжка, совсем не знал света. Вот я так всегда чувствовала к себе надлежащее уважение, а между тем...

Она запнулась, но могла бы прибавить, что свет-то не всегда оказывал ей уважение, и поделом!

— Хорошо! так вы еще не дали мне требуемого обещания!

Эмилия охотно обещала; после этого ей позволили удалиться; она отправилась в сад, пыталась успокоить свои расстроенные чувства и, наконец, пришла в свой любимый павильон, в конце террасы. Там, сев в амбразуре одного из окон, обрамленных зеленью и выходивших на балкон, она, среди тишины и уединения, могла собраться с мыслями и составить себе более ясное представление о том, хорошо ли она поступала в прошлом? Она перебирала в памяти все подробности разговоров своих с Валанкуром; но, к величайшему удовольствию, не отметила ничего такого, что могло бы оскорбить ее щекотливую гордость, и таким образом утвердилась в самоуважении, столь необходимом для ее внутреннего мира. Душа ее успокоилась; опять Валанкур представился ей умным и достойным любви, а г-жа Шерон в совершенно противоположном свете. Воспоминание о возлюбленном принесло с собой немало тягостных волнений: она никак не могла примириться с мыслью лишиться его навсегда. А так как госпожа Шерон уже показала, как сильно она не одобряет этой привязанности, то Эмилия предвидела впереди много препятствий и страданий. И все же у нее было в глубине души какое-то радостное чувство надежды. Она решила про себя, что ни за что на свете не допустит тайной корреспонденции и что в разговоре с Валанкуром, если они опять встретятся, она будет соблюдать ту же строгую сдержанность, какую проявляла и раньше. «Если мы опять встретимся», — повторила она, и на глазах ее навернулись слезы. Но она быстро осушила их, услышав приближающиеся шаги. Дверь павильона распахнулась;

обернувшись, Эмилия увидела перед собой Валанкура! Чувства радости, изумления и страха сразу нахлынули на нее с такой силой, что она едва не лишилась самообладания.

Она побледнела, потом яркая краска опять залила ее щеки; с минуту она была не в силах ни говорить, ни подняться с места. На его чертах, как в зеркале, отражались ее собственные чувства, и это заставило ее овладеть собою. Радость, сиявшая на его лице, вдруг померкла, когда он заметил ее волнение; дрожащим голосом он спросил ее о здоровье. Оправившись от неожиданности, Эмилия отвечала ему с натянутой улыбкой; но множество разнообразных чувств продолжали тесниться в ее сердце. Трудно было сказать, что преобладало: радость ли увидеть Валанкура или страх возбудить гнев тетки, когда она узнает об этой встрече. Сказав с ним несколько слов, она в смущении повела его в сад и спросила, виделся ли он с г-жой Шерон.

— Нет еще, — отвечал он, — я не видел ее, мне сказали, что она занята. Узнав, что вы в саду, я поспешил прийти сюда...

Он остановился смущенный, потом прибавил:

— Могу я осмелиться объяснить вам цель моего прихода, не подвергаясь вашему неудовольствию? Надеюсь, вы не станете укорять меня за то, что я поспешил воспользоваться вашим разрешением посетить ваших родных?

Эмилия не знала, что отвечать; но ее смущение сменилось страхом, когда она увидела вдали г-жу Шерон, появившуюся из-за поворота аллеи. Когда к ней вернулось сознание ее невинности, этот страх немного рассеялся и она отчасти успокоилась. Вместо того чтобы избегать тетки, она вместе с Валанкуром смело пошла ей навстречу. Надменный, раздраженный взгляд, брошенный на них г-жой Шерон, заставил Эмилию вздрогнуть; один этот взгляд объяснил ей, что тетушка считает их свидание не случайным, а заранее подстроенным. Назвав тетке фамилию Валанкура, она почувствовала, что слишком волнуется, не в силах оставаться с ними, и вернулась в замок. Там она долго ждала в трепетной тревоге результата беседы. Она не знала, как объяснить приезд Валанкура к ее тетке раньше, чем он получил просимое разрешение, так как ей не было известно одно пустое обстоятельство, изменявшее все. Дело в том, что Валанкур, в расстройстве своих чувств, позабыл пометить письмо своим адресом, так что г-же Шерон невозможно было послать ему ответа! Вспомнив об этом обстоятельстве, он, может быть, не столько огорчился своим упущением, сколько обрадовался предлогу, позволявшему ему посетить Эмилию ранее, чем ее тетка могла прислать отказ.

Г-жа Шерон имела длинный разговор с Валанкуром; вернувшись в замок, она казалась не в духе, но на лице ее не было того сурового выражения, какого ожидала Эмилия.

— Наконец-то я отделалась от этого молодого человека, — сказала она, — и надеюсь, он меня никогда больше не будет беспокоить подобными посещениями. Он уверял меня, что это свидание не было заранее условлено между вами.

— Неужели, тетушка, вы спрашивали его об этом?

— Разумеется, спросила; еще бы!

— Боже мой! — воскликнула Эмилия, — что он может подумать обо мне, раз вы могли заподозрить меня в таком неприличии!

— Это весьма не важно, какое мнение он будет иметь о вас, — заметила тетка, — потому что я покончила со всей этой историей; но, думаю, он не получит худого мнения обо мне за мое осторожное поведение. Я показала ему, что со мною нельзя шутить, и что я, по своей деликатности, допустить не могу тайной корреспонденции в моем доме.

Много раз Эмилия слышала слово «деликатность» в устах г-жи Шерон; но теперь она более чем когда-либо сомневалась, чтобы тетушка могла проявить свою деликатность в таком деле, где она с начала до конца повела себя до такой степени бестактно.

— Брат поступил очень необдуманно, навязав мне наблюдение за вашей нравственностью, — проговорила г-жа Шерон. — Я желала бы, чтобы вы повыгоднее пристроились в жизни. Но если меня еще будут беспокоить такие посетители, как этот вот Валанкур, то я, не долго думая, засажу вас в монастырь: так и помните. Представьте, этот

молодой человек имел дерзость признаться мне, что у него состояние очень не значительное и что он находится в зависимости от старшего брата и от выбранной им профессии! Следовало бы по крайней мере скрыть эти обстоятельства, если он надеялся получить мое согласие. Неужели он имел дерзость думать, что я выдам замуж свою племянницу за такого бедняка, каким он отрекомендовал себя?

Эмилия осушила слезы, услышав о чистосердечном признании Валанкура; разоблаченные им обстоятельства, правда, не благоприятствовали ее надеждам — но искренность его поведения доставила ей радость, заслонившую все прочие чувства. Она уже успела убедиться на опыте, несмотря на свою молодость, что здравого смысла и благородной прямоты не всегда достаточно в борьбе с глупостью и узкой хитростью; ее сердце было настолько не испорчено, что в эту трудную минуту она больше гордилась добрыми качествами своего возлюбленного, чем огорчалась торжеством тетки.

Г-жа Шерон продолжала наслаждаться своей победой.

— Он заявил мне, между прочим, что не примет своей отставки ни от кого, кроме как от вас самой. Но я наотрез отказала ему в свидании с вами: пусть знает, что моего неодобрения совершенно достаточно. Кстати, опять-таки повторю вам, что, если вы выдумаете какое-нибудь мне неизвестное средство устраивать свидания с ним, то я попрошу вас оставить мой дом немедленно.

— Как же мало вы меня знаете, тетя, если считаете нужным делать мне подобное внушение? — воскликнула Эмилия, проглатывая обиду, — и как мало вы знали моих дорогих родителей, воспитавших меня!

Вслед за этим м-м Шерон отправилась одеваться на предстоящий званый вечер; Эмилия охотно отказалась бы сопровождать свою тетку, но она боялась, что ее просьба остаться дома опять возбудит нелепые подозрения. Когда она пришла к себе в комнату, та небольшая доля твердости, какая еще поддерживала ее до сих пор, вдруг покинула ее. Она помнила только, что разлучена с Валанкуром, в характере которого с каждым разом открывались все новые прекрасные черты, — разлучена, быть может, навеки! И она проплакала все то время, которое ей следовало бы посвятить туалету. Одевшись она наскоро и, когда появилась к обеду, то глаза ее были красны от слез, за что она получила строгий нагоняй от тетки.

Усилия ее казаться веселой не были тщетны, когда она вместе с теткой приехала на вечер к г-же Клерваль, пожилой вдове, недавно поселившейся в окрестностях Тулузы в имении своего покойного мужа. Перед тем она много лет прожила в Париже, где вела роскошную жизнь; от природы наделенная веселым характером, она со времени переселения в Тулузу уже дала несколько великолепных празднеств, каких не запомнят в околоте.

Эта роскошь возбуждала не только зависть, но и мелочное честолюбие г-жи Шерон. Она не могла соперничать с соседкой по части пышных торжеств, зато по крайней мере старалась втереться в число ее близких друзей. С этой целью она оказывала г-же Клерваль самое раболепное поклонение и с восторгом принимала все ее приглашения. Куда бы она ни пошла, она всюду благовестила о своей соседке, желая произвести на своих знакомых впечатление, как будто они были между собою на самой короткой ноге.

Сегодня у г-жи Клерваль был бал и ужин — бал костюмированный; приглашенные танцевали группами в обширном великолепном саду. Высокие, старые деревья, под которыми собрались гости, были иллюминированы множеством цветных шкаликов, расположенных с большим вкусом и затейливостью. Пестрые наряды гостей (некоторые из них сидели на траве, беседуя между собой, наблюдая танцы, кушая сласти и изредка прикасаясь к струнам гитары), ловкость кавалеров, очаровательное кокетство дам; легкие грациозные танцы, музыканты с лютнями, гобоями и тамбуринами, расположившиеся под вязом, — все это вместе составляло характерную, живописную картину французского веселья. Эмилия с меланхолическим видом, но не без удовольствия наблюдала эту блестящую сцену; легко себе представить ее волнение, когда она, стоя с теткой и любуясь одной из танцующих групп, вдруг неожиданно увидела Валанкура, — он танцевал с какой-то

прелестной молодой дамой и разговаривал с любезностью и фамильярностью, какой она никогда в нем не замечала. Эмилия поспешила отвернуться и пробовала увести г-жу Шерон, которая разговаривала в это время с синьором Кавиньи; Валанкура она не видела, и ей не хотелось, чтобы ее отвлекали от приятной беседы. В эту минуту Эмилия вдруг почувствовала дурноту и головокружение; не имея сил стоять, она опустилась на дерновую скамью под деревьями, где сидело еще несколько гостей. Один из них, заметив ее чрезвычайную бледность, осведомился, не больна ли она, и просил позволения принести ей стакан воды; но она отклонила эту услугу. Боязнь, чтобы Валанкур не заметил ее смущения, побуждала ее преодолеть дурноту. Мадам Шерон продолжала любезничать с синьором Кавиньи; граф Бовилье — тот самый господин, что предлагал свои услуги Эмили, в разговоре сделал кое-какие замечания насчет окружающего. Эмилия отвечала ему почти бессознательно — мысли ее были всецело заняты Валанкуром; ей было неловко чувствовать себя так близко от него. Но вот какая-то фраза, сказанная графом о танцующих, заставила ее обернуться в сторону Валанкура — в это мгновение глаза их встретились. Краска опять отлила от ее щек; вторично она почувствовала себя дурно и отвернулась; но раньше успела заметить, как изменился в лице Валанкур, увидав ее. Она ушла бы сейчас же, если бы не сознавала, что такой поступок еще более подчеркнет ее волнение. Делать нечего, она старалась поддержать разговор с графом и постепенно привела в порядок свои расстроенные чувства. Но когда ее собеседник заговорил о даме Валанкура, боязнь Эмили показать, что она интересуется этим предметом, выдала бы ее с головою, если б граф взглянул на нее в эту минуту. Но он наблюдал танцующих.

— Знаете, эта дама, что танцует с молодым шевалье, — сказал он, — считается одной из первых красавиц Тулузы; она чрезвычайно хороша собой, да и приданое за ней будет солидное. Надеюсь, что в выборе спутника жизни ей более посчастливится, чем в выборе кавалера в танцах; смотрите-ка, он сейчас опять спутал фигуру и вообще все время ошибается; удивляюсь, как при его лице и фигуре он не наострился в танцах!

Эмилия, сердце которой трепетало при каждом слове графа, старалась отвлечь разговор от Валанкура, спросив фамилию дамы, с которой он танцевал; но прежде, чем граф успел ответить, танец окончился; Эмилия, заметив, что Валанкур направляется к ней, встала и подошла к г-же Шерон.

— Здесь шевалье де Валанкур, — шепнула она тетке, — пожалуйста, уйдем отсюда.

Тетка тотчас же собралась перейти на другое место, но Валанкур уже успел приблизиться; он отвесил низкий поклон дамам и бросил на Эмилию взгляд, полный сердечной грусти. Эмилия, несмотря на все свои старания, не сумела показать ему полного равнодушия. Присутствие г-жи Шерон не позволяло Валанкуру остаться возле нее и он отошел с печальным лицом, как бы упрекая ее за то, что она еще более растравляет его грусть. Эмилия была выведена из задумчивости графом Бовилье, знакомым ее тетки.

— Я должен просить у вас прощения, м-ль Сент Обер, за мою невежливость, — поверьте, совершенно неумышленную. Я не знал, что шевалье ваш знакомый, а то я не осмелился бы так бесцеремонно критиковать его танцы.

Эмилия покраснела и улыбнулась; г-жа Шерон избавила ее от труда отвечать.

— Если вы говорите о господине, только что проходившем мимо, то я могу вас уверить, что он вовсе не наш знакомый — ни я, ни м-ль Сент Обер его совсем не знаем.

— О! это шевалье Валанкур, — небрежно проронил Кавиньи и оглянулся ему вслед.

— Так вы знаете его? — спросила г-жа Шерон.

— Я не знаком с ним.

— В таком случае, — заявила тетюшка, — ведь не может быть известно, почему я называю его дерзким: представьте, он имеет смелость восхищаться моей племянницей!

— Если вы называете дерзким всякого, кто восхищается м-ль Сент Обер, — возразил Кавиньи, — то я боюсь, что найдется очень много таких дерзких людей; я сам готов вступить в их ряды.

— О, синьор! — молвила г-жа Шерон с натянутой улыбкой, — я вижу, вы научились

говорить комплименты, с тех пор, как приехали во Францию. Но ведь это жестоко делать комплименты девочкам, — они могут принять лесть за правду.

Кавиньи отвернулся на одно мгновение, чтобы скрыть улыбку, потом проговорил с изученной ужимкой:

— Кому же тогда вы прикажете преподносить комплименты, сударыня? — ведь было бы нелепо делать их женщинам опытным и с тонким пониманием: такие женщины выше всяких похвал.

Проговорив эту фразу, он украдкой бросил Эмилии лукавый, смеющийся взгляд. Она прекрасно поняла смысл его и покраснела за тетку. Но та отвечала как ни в чем не бывало:

— Ваша правда, синьор; никакая разумная женщина не потерпит комплиментов.

— Я слышал от синьора Монтони, — возразил Кавиньи, — что он знает только одну женщину на свете, которая заслуживает комплименты.

— Вот как! — воскликнула г-жа Шерон, с улыбкой невыразимого самодовольства, — кто же эта женщина?

— О, — отвечал Кавиньи, — ее трудно не узнать: кроме нее наверное нет на свете другой женщины, которая, хотя и заслуживает комплименты, но настолько умна, что отвергает их: большинство дам поступают как раз наоборот.

Он опять взглянул на Эмилию; та еще больше покраснела за тетку и с досадой отвернулась от дерзкого итальянца.

— Прекрасно сказано, синьор! — воскликнула г-жа Шерон, — да вы настоящий француз: право, иностранцы редко бывают так галантны.

— Благодарю вас, сударыня, — молвил Кавиньи с низким поклоном. — Однако галантность моего комплимента пропала бы даром, если б не остроумие, с каким он был истолкован.

Госпожа Шерон не поняла значения этой слишком сатирической фразы, а потому не испытала той обиды, какую почувствовала за нее Эмилия.

— О, вот и синьор Монтони идет сюда, — проговорила тетка, — постойте, я расскажу ему про все любезности, которые вы наговорили мне сегодня.

Однако в эту минуту синьор Монтони повернул в другую аллею.

— Скажите, кем это ваш друг так занят весь вечер? — спросила г-жа Шерон, огорчившись не на шутку. — Я даже не виделась с ним сегодня.

— У него важное свидание с маркизом Ла Ривьер, — объяснил Кавиньи, — и это задержало его до сей минуты, иначе он уже давно бы имел честь представиться вам, сударыня, он даже поручил мне передать вам это. Но, право, не знаю, что со мною делается: разговор с вами так очарователен, что я потерял память и по рассеянности не передал вам извинений моего друга.

— Эти извинения имели бы больше цены, если бы ваш друг представил их сам, — заметила госпожа Шерон, более обиженная небрежностью Монтони, чем польщенная комплиментами Кавиньи.

Ее неудовольствие в эту минуту и последний разговор с Кавиньи возбудили некоторые подозрения у Эмилии, но хотя они подтверждались и другими подробностями, замеченными ею раньше, она все-таки считала свои догадки нелепыми. Ей показалось, что синьор Монтони имеет серьезные намерения относительно ее тетки и что та не только принимает эти ухаживания, но ревниво ставит в строку все признаки невнимания с его стороны. Чтобы г-жа Шерон в ее годы согласилась вторично выйти замуж, казалось ей смешным, хотя, принимая во внимание тщеславие тетки, это было и возможно; но что Монтони с его изящным вкусом, с его наружностью и притязательностью избрал именно г-жу Шерон, — это представлялось Эмилии просто непонятным. Мысли ее, однако, недолго останавливались на этом предмете; ее занимали интересы более ей близкие, ей представлялся то Валанкур, отвергнутый ее теткой, то Валанкур, танцующий на балу с веселой и красивой дамой, и эти мысли поочередно терзали ее сердце. Идя по саду, она робко озиралась, не то боясь, не то мечтая встретить его в толпе; и по разочарованию, испытанному ею, когда она не встретила

его, она могла убедиться, что ее надежды были сильнее ее страха.

Монтони вскоре присоединился к компании; он что-то пробормотал о том, что его задержали и выразил сожаление, что не мог раньше подойти к госпоже Шерон; а она, выслушав эти извинения с видом капризной девочки, отвернулась к Кавиньи, лукаво поглядывавшему на Монтони, как будто желая сказать:

— Так и быть, я пожалуй и не воспользуюсь победой над вами. Но только смотрите в оба, синьор! ведь мне недолго и похитить ваше сокровище.

Ужин был сервирован в нескольких павильонах парка, но всего роскошнее в большой зале замка. Госпожа Шерон и ее знакомые ужинали с хозяйкой дома в зале. Эмилия с трудом сдерживала свое волнение, заметив, что Валанкур поместился за одним столом с нею.

Госпожа Шерон, увидав его к своему величайшему неудовольствию, обратилась к соседу с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, кто этот молодой человек?

— Это шевалье Валанкур, — отвечали ей.

— Ну, да, его имя мне известно; но кто таков этот Валанкур, что он попал сюда, за этот почетный стол?

В эту минуту внимание ее соседа было отвлечено чем-то другим, и она так и не получила объяснения. Стол, за которым они сидели, был очень длинен, и Валанкур, сидевший со своей дамой почти на самом конце его, не сразу заметил Эмилию. Она избегала смотреть в его сторону; но, когда взор ее случайно останавливался на нем, она видела, что он оживленно разговаривает со своей прекрасной соседкой. Этот факт нимало не способствовал успокоению ее духа; точно так же ей было больно слышать всеобщие отзывы о богатстве и красоте его дамы.

Г-жа Шерон, слушая эти отзывы, усердно старалась очернить Валанкура, на которого сердилась с мелочной злобой узкой, пошлой натуры.

— Я нахожу эту даму очаровательной, — заявила она, — но не одобряю ее за выбор кавалера.

— Отчего же? шевалье Валанкур один из наших самых блестящих молодых людей, — возразила ее соседка по столу, к которой были обращены эти замечания. — Ходят слухи, что мадемуазель д'Эмери и ее приданое непременно достанутся ему.

— Быть не может! — воскликнула г-жа Шерон, краснея от досады, — быть не может, чтобы она была до такой степени лишена вкуса; он так мало похож на светского человека, что, если бы я не увидела его сама за столом г-жи Клерваль, я никогда не поверила бы, что он человек из порядочного общества. Впрочем, я имею особенные причины думать, что эти слухи неверны.

— А я знаю, что они верны, — проговорила соседка, раздосадованная таким резким противоречием ее похвалам Валанкуру.

— Вы, может быть, разуверитесь, — возразила г-жа Шерон, — когда я скажу вам, что не далее как сегодня утром я отвергла его предложение.

Конечно, она сказала это вовсе не с намерением придать своим словам буквальное значение, но просто по привычке всегда выставлять себя на первый план, даже в делах, касающихся ее племянницы, и еще потому, что она действительно сама взяла на себя отказать Валанкуру.

— Ваши доводы в самом деле убедительны и не оставляют сомнений, — отвечала дама с иронической улыбкой.

— Точно так же, как нельзя сомневаться в прекрасном вкусе шевалье Валанкура, — прибавил Кавиньи, стоявший за стулом г-жи Шерон и слышавший, как она присвоила себе то, что принадлежало ее племяннице.

— Ну, насчет вкуса, это еще вопрос, синьор, — заметила г-жа Шерон, которой не понравилась похвала Эмилии, сквозившая, как ей показалось, в словах итальянца.

— Увы! — воскликнул Кавиньи, устремив на г-жу Шерон взгляд, полный притворного восторга, — как тщетны ваши уверения, тогда как это лицо, эта фигура, эта грация — все

опровергает их! — Несчастный Валанкур! Его тонкий вкус принес ему гибель.

Эмилия имела смущенный и удивленный вид; дама, соседка г-жи Шерон за столом, тоже казалась изумленной. Г-жа Ше-рон, хотя и не совсем ясно понимала, в чем дело, но готова была принять эти речи за комплименты самой себе.

— О, синьор, вы очень любезны. — Но, слушая, как вы расхваливаете вкус Шевалье Валанкура, можно подумать, что его ухаживания относятся ко мне.

— Помилуйте, в этом нельзя и сомневаться! — проговорил Кавиньи с низким поклоном.

— Но разве это не обидно, синьор?

— Бесспорно так, — согласился Кавиньи.

— Я не могу вынести этой мысли! Что бы сделать, чтобы опровергнуть такое досадное недоразумение? — восклицала г-жа Шерон.

— К сожалению, я ничем не могу помочь вам, — заявил Кавиньи с глубокомысленным видом. — Единственная для вас возможность опровергнуть клевету заключается в том, чтобы настаивать на первом своем заявлении; потому что, когда люди услышат о недостатке вкуса у шевалье Валанкура, никто не подумает, чтобы вы могли быть предметом его ухаживаний. Но, с другой стороны, люди примут во внимание вашу крайнюю скромность — ведь это правда, что вы не сознаете своих собственных совершенств. Изящный вкус Валанкура все-таки будет признан, хотя вы и отрицаете его. Словом, в обществе будут естественно верить тому, что шевалье обладает достаточным вкусом, чтобы восхищаться красивой женщиной.

— Все это очень неприятно! — вздохнула г-жа Шерон.

— Позвольте полюбопытствовать, что такое неприятно? — вмешалась г-жа Клерваль, пораженная печальным выражением ее лица и унылым тоном, которым это было сказано.

— Ах, это очень щекотливая вещь, — отвечала г-жа Шерон, — и очень для меня неловкая.

— Искренне сожалею! — отвечала хозяйка дома. — Надеюсь, здесь сегодня не случилось с вами ничего дурного?

— Увы, да! случилось и не более, как полчаса тому назад. И не знаю, чем это кончится. Никогда еще мое самолюбие не было оскорблено до такой степени. Но уверяю вас, что этот слух лишен всякого основания.

— Боже мой! что же делать! Скажите мне, каким образом я могу помочь вам?

— Единственное, что вы можете сделать — это опровергать этот слух всюду, куда бы вы ни попили.

— Прекрасно! но объясните же мне, что именно должна я опровергать?

— Это до такой степени обидно, что я даже не знаю, как сказать вам, — продолжала г-жа Шерон. — Судите сами. Видите вы вон того молодого человека, что сидит там на конце стола? Он разговаривает с м-ль Эмери...

— Да, вижу...

— Вы замечаете, как мало он похож на человека высшего общества? Я только что говорила, что не сочла бы его за дворянина, если б не увидела его за вашим столом.

— Ну, так что же? В чем заключается причина вашего негодования?

— А! вы хотите знать причину! — отвечала г-жа Шерон. — Эта личность, никому неизвестная, этот дерзкий молодой человек, имевший нахальство ухаживать за моей племянницей, — распространяет слухи, будто он заявил себя моим поклонником! Подумайте, как оскорбителен для меня такой слух! Я знаю, вы войдете в мое положение. Женщина моего звания! До чего унизителен для меня даже слух о подобном союзе.

— Унизителен в самом деле, бедный друг мой, — согласилась г-жа Клерваль, — можете быть уверены, я буду везде опровергать этот нелепый слух.

С этими словами она обратилась к другой группе гостей, а Кавиньи, с большой серьезностью наблюдавший всю эту сцену, поспешно отошел прочь, боясь, что не совладает с разбиравшим его смехом.

— Вы, кажется, не знаете, — промолвила дама, соседка г-жи Шерон, — что господин, о которой вы говорили, племянник м-м Клерваль?

— Быть не может! — всполошилась г-жа Шерон, начавшая убеждаться, что она совершенно ошиблась в своем суждении о Валанкуре; поэтому она, не долго думая, принялась расхваливать его с таким усердием, с каким раньше бранила.

Эмилия в продолжение почти всего разговора сидела в глубокой задумчивости и не слышала всей сцены; ее сильно удивило, когда она вдруг услышала из уст тетки похвалы Валанкуру, о родственных отношениях которого к г-же Клерваль она не имела понятия. Она была рада, когда г-жа Шерон (сильно сконфуженная, хотя она и старалась не подавать виду) тотчас же после ужина собралась уезжать. Монтони явился усаживать г-жу Шерон в карету; за ними следовали Эмилия и Кавиньи с выражением лукавой важности на лице. Простившись с ними, Эмилия увидала в окно кареты Валанкура, стоявшего в толпе у ворот. Но прежде чем карета отъехала, он исчез. Едучи домой, г-жа Шерон ни разу не произнесла его имени в разговоре с Эмилией. Вернувшись в замок, они тотчас же разошлись по своим спальням.

На другое утро, в то время, как Эмилия сидела за завтраком с теткой, ей подали письмо, на конверте которого была надпись знакомым почерком. Эмилия взяла письмо дрожащей рукой, и тетка в ту же минуту спросила, от кого оно? Эмилия, с ее разрешения, сломала печать и, увидав подпись Валанкура, не читая, отдала письмо тетке, которая нетерпеливо схватила его. Пока она пробегала письмо, Эмилия по выражению ее лица старалась угадать его содержание. Наконец г-жа Шерон вернула его племяннице.

— Прочтите, дитя мое, — проговорила она тоном менее сердитым, чем можно было ожидать.

Разумеется, Эмилия поспешно повиновалась тетке. В письме своем Валанкур, почти не касаясь вчерашнего свидания, заявлял, что он примет отказ не иначе, как лично от самой Эмилии, и просил разрешения явиться сегодня вечером. Читая это, Эмилия удивлялась снисходительности г-жи Шерон; она взглянула на нее, как бы в ожидании, и печально промолвила:

— Что же мне отвечать, тетя?

— Ну, конечно, надо повидаться с молодым человеком и выслушать, что он имеет сказать в свою пользу!

Эмилия не верила ушам своим.

— Пойдите, — прибавила тетка, — я сама отвечу ему.

Она потребовала чернил, перо и бумаги. Эмилия все еще не смела доверяться своим впечатлениям и сильно волновалась. Она перестала бы удивляться, если бы слышала вчера вечером про одно обстоятельство, не забытое г-жой Шерон, а именно, что Валанкур приходится племянником г-же Клерваль.

Каково было в подробностях содержание теткиной записки, Эмилия так и не узнала, но результатом ее было появление Валанкура в тот же вечер. Г-жа Шерон приняла его одна и между ними происходил долгий разговор, прежде чем Эмилию позвали вниз. Когда она вошла в гостиную, тетка спокойно беседовала с Валанкуром. При появлении молодой девушки Валанкур вскочил ей навстречу и она заметила в глазах его искру надежды.

— Мы все толковали о вашем деле, — начала г-жа Шерон. — Шевалье рассказал мне, что покойный Клерваль был брат графини Дюварней, его матери. Очень жаль, что он раньше не сообщил мне о своем родстве с г-жой Клерваль; разумеется, я сочла бы это обстоятельство достаточной рекомендацией для допущения его к себе в дом.

Валанкур поклонился и хотел обратиться к Эмили, но тетка остановила его.

— Поэтому я и согласна, чтобы он посещал вас; и хотя я не хочу связывать себя никакими обещаниями или объявлять вам, что уже считаю вас своим родственником, однако я разрешаю вам не разрывать сношений с моей племянницей и признаю возможность союза вашего в будущем, в том, конечно, случае, если шевалье получит повышение по службе или произойдет другое какое-нибудь событие, которое даст ему возможность обзавестись женой.

Но прибавлю к сведению г.Валанкура, да и к вашему также, Эмилия, что до тех пор я положительно запрещаю думать о свадьбе.

Эмилия несколько раз менялась в лице в продолжение этой пошлой речи, а под конец неприятное чувство ее усилилось до такой степени, что она хотела уйти из комнаты. Между тем Валанкур, не менее ее смущенный, не смел взглянуть на нее, чувствуя, что она страдает из-за него. Но когда г-жа Шерон умолкла, он сказал:

— Как ни лестно мне ваше согласие, сударыня, как ни польщен я им, но у меня еще остаются такие опасения, что я почти не смею надеяться.

— Прошу вас, объяснитесь, — сказала г-жа Шерон. Это неожиданное требование снова смутило Валанкура, хотя при других обстоятельствах он только улыбнулся бы.

— Пока я не получу от м-ль Сент Обер разрешение принять ваше согласие, — проговорил он прерывающимся голосом, — пока она сама не позволит мне надеяться...

— Ах, только-то! — прервала его тетюшка. — Ну, так я беру на себя ответить за нее. Но в то же время, сударь, позвольте мне заметить, что я опекунша и во всяком случае надеюсь, что моя воля для нее закон.

Проговорив все это, она встала и выплыла из комнаты, оставив Эмилию и Валанкура в состоянии полного смущения. Надежды Валанкура наконец преодолели сомнения, и он обратился к Эмилии с жаром и искренностью, столь свойственными ему; но она долго не могла оправиться настолько, чтобы выслушать сознательно его признания и просьбы.

Поведение г-жи Шерон в этом деле объяснялось ее тщеславным эгоизмом. Валанкур в своем первом свидании с полной чистосердечностью изложил ей свои теперешние обстоятельства и свои надежды в будущем, а она с большей осторожностью, чем гуманностью, бесповоротно и резко отказала ему. Она мечтала о том, чтобы ее племянница сделала блестящую партию, не потому, чтобы она действительно желала ей счастья, которое, по мнению света, могут доставить богатство и знатность, а просто потому, что она желала сама участвовать в тех благах, какие должен ей доставить такой союз. И вот, узнав, что Валанкур — племянник такой богатой и именитой особы, как г-жа Клерваль, она вдруг пожелала этого брака, так как перспектива богатства и знатности для Эмилии обещала отразиться и на ней. Ее расчеты относительно состояния были основаны скорее на ее мечтах, а не на каком-либо намеке Валанкура, или признаках вероятия. Строя свои надежды на богатстве г-жи Клерваль, тетка, очевидно, забывала, что у той есть дочь. Валанкур, однако, не позабыл об этом обстоятельстве: он так мало ожидал себе благ со стороны г-жи Клерваль, что даже не упомянул о своем родстве с нею при первом своем разговоре с г-жой Шерон. Каково бы ни было в будущем состояние Эмилии, породниться с г-жой Клерваль могло считаться в глазах тетки неоспоримой честью, так как пышность и роскошный образ жизни этой особы во всяком случае возбуждали и всеобщую зависть и старание подражать ей. Таким образом она не задумалась одобрить помолвку племянницы, имея в виду лишь сомнительный и отдаленный исход и столь же мало соображаясь с ее счастьем, как и тогда, когда она поспешно и необдуманно запретила этот союз.

С этого времени Валанкур стал частым гостем в доме г-жи Шерон, и Эмилия проводила в его обществе первые счастливые часы со времени смерти отца. Оба были слишком поглощены настоящим, чтобы серьезно думать о будущем. Каждый из них любил, чувствовал себя любимым, и они не могли думать, чтобы эта привязанность, составлявшая отраду их в настоящем, могла причинить в будущем долголетние страдания. Между тем г-жа Шерон стала поддерживать еще более частые сношения с г-жой Клерваль, и ее тщеславие было польщено возможностью благовестить всюду, куда бы она ни показывалась, о нежной привязанности, существующей между их племянником и племянницей.

За последнее время Монтони стал также ежедневным гостем в замке, и Эмилия не могла не заметить, что он действительно является в качестве претендента и получает поощрение со стороны ее тетки.

Так прошли зимние месяцы не только спокойно, но и счастливо для Эмилии и Валанкура; полк его стоял неподалеку от Тулузы, и он имел возможность часто посещать

замок. Павильон на террасе был любимым местом их свиданий; там м-м Шерон и Эмилия работали над каким-нибудь рукоделием, между тем как Валанкур читал им вслух изящные произведения литературы, слушал восторженные отзывы Эмилии, выражал свои собственные мнения и все более и более убеждался, что их души родственны друг с другом — и что оба полны тем же благородными, великодушными чувствами.

ГЛАВА XIII

*Порою пастушок с Гебридских островов
Далеко забредет в унылую равнину
(Иль прихоть соблазнит его искать уединенья,
Иль заманит его воздушное виденье, какое иногда
Является, как существо живое, обманывая чувства)
И вдруг он видит на вершине обнаженного холма или внизу, в
долине,
В ту пору, когда Феб погружает колесницу свою в океан,
Большое сборище людей, которые снуют туда-сюда.
Потом в одно мгновенье волшебное виденье исчезает.
Замок Лености*

Г-жа Шерон была от природы очень скупа, но в данном случае ее тщеславие одержало верх. Несколько необыкновенно пышных балов, заданных г-жой Клерваль и всеобщее поклонение, оказываемое этой даме, подзадорили г-жу Шерваль поскорее устроить сватовство, которое должно было увеличить ее в ее собственных глазах и в глазах света. Она предложила ускорить свадьбу племянницы с Валанкуром, обязуясь выдать ей приданое, с условием, чтобы м-м Клерваль со своей стороны наградила племянника. М-м Клерваль, приняв в соображение, что Эмилия, вероятно, будет наследницей теткиного богатства, дала свое согласие. Между тем Эмилия до последней минуты ничего не знала об этой сделке, пока наконец тетка не приказала ей готовиться к свадьбе, которая будет отпразднована без дальнейшей проволочки. Удивленная и ничего не понимающая в этом неожиданном решении, состоявшемся даже без участия Валанкура, — он не знал о том, что произошло между обеими тетками и не смел надеяться на такое счастье, — Эмилия решительно воспротивилась поспешной свадьбе. М-м Шерон, однако, из духа противоречия так же горячо настаивала на немедленной свадьбе, как прежде запрещала всякие сношения с Валанкуром. Подумав, Эмилия решила отбросить свою щепетильность; Валанкур теперь тоже был уведомлен об ожидавшем его счастье и явился к ней молить о согласии.

В то время как шли приготовления к свадьбе Эмилии, Монтони был объявлен женихом г-жи Шерон, и хотя г-жа Клерваль была очень недовольна, узнав о предстоящем браке, и желала бы помешать союзу Валанкура с Эмилией, но совесть подсказывала ей, что она не имеет права играть чувствами молодых людей. Г-жа Клерваль, хотя и светская женщина, не умела, как ее приятельница, довольствоваться поклонением и почетом, но слушалась голоса своей совести.

Эмилия с беспокойством замечала усиливающееся влияние Монтони на г-жу Шерон и его частые посещения. Ее мнение об этом итальянце сходилась с мнением Валанкура, с самого начала невзлюбившего Монтони. Однажды утром она сидела за работой в павильоне, наслаждаясь приятной свежестью весеннего воздуха и любуясь на яркие краски окружающего ландшафта; вместе с тем она слушала Валанкура, который читал вслух, но часто откладывал книгу в сторону и беседовал с Эмилией; вдруг ей пришли сказать, что тетюшка просит ее к себе немедленно. Едва успела она войти в уборную, как ей бросилось в глаза расстроенное лицо тетки, представлявшее резкий контраст с ее светлым, веселым нарядом.

— Ну, племянница, — начала г-жа Шерон с видимым смущением, — я нарочно послала за вами... мне надо сообщить вам одну новость: с этих пор вы должны считать

синьора Монтони своим дядей, — мы обвенчались сегодня утром...

Удивленная не столько самой свадьбой, сколько таинственностью, с какой она совершилась, и волнением, с каким тетка сообщала эту новость, Эмилия подумала, что, вероятно, это сделалось по желанию Монтони, а отнюдь не самой тетки. Но тетке, очевидно, хотелось представить дело совсем в другом свете и она прибавила:

— Вот видите ли, я желала избегнуть хлопот и пиров; но теперь церемония окончена, я не намерена больше скрывать своего замужества и прикажу слугам, чтобы они признавали синьора Монтони своим господином.

Эмилия сделала слабую попытку поздравить тетку по случаю ее, очевидно, легкомысленного брака.

— Теперь я намерена отпраздновать свою свадьбу довольно парадно, — продолжала м-м Монтони, — а чтобы не терять времени, я воспользуюсь приготовлениями, уже сделанными для вашей свадьбы, которая, разумеется, будет отложена на некоторое время. Ваше венчальное платье уже готово; я желаю, чтобы вы показались в нем на моем празднике. Прошу вас также

сообщить месье Валанкуру, что я переменила фамилию, а уж он уведомит об этом м-м Клерваль. Через несколько дней я даю большой вечер и намерена их также пригласить.

Все это так ошеломило Эмилию, что она почти не отвечала г-же Монтони, и побежала сообщить новость Валанкуру.

Он, по-видимому, мало удивился, услышав об этой поспешной свадьбе, но когда узнал, что намерены придаться к случаю, чтобы отложить его собственную свадьбу, и что даже убранство замка, сделанное ради свадебного дня его и дорогой Эмилией послужит для празднования бракосочетания г-жи Монтони, его взяла досада и негодование. Он не мог скрыть своих чувств от Эмилией; на него не действовали даже попытки ее рассеять его печальные мысли и заставить посмеяться над этой новой постигшей их невзгодой.

Когда он прощался с Эмилией, его душевная нежность глубоко тронула ее; она поплакала, глядя ему вслед, хотя сама не могла дать себе отчета — о чем эти слезы.

Монтони, сделавшись мужем г-жи Шерон, овладел замком и забрал в руки всех его обитателей с апломбом человека, уже давно считавшего дом своею собственностью. Другу его Кавиньи, окружавшему г-жу Монтони лестью и услужливостью, которые она так любила, но которые зачастую возмущали самого Монтони, были отведены отдельные апартаменты, и слуги ходили перед ним по струнке, как и перед хозяином.

Через несколько дней г-жа Монтони, согласно своему обещанию, задала великолепный пир; гостей собралось множество; был там и Валанкур; г-жа Клерваль извинилась и не приехала. Вначале был концерт, потом бал и ужин. Разумеется, Валанкур все время не отходил от Эмилией. Глядя на нарядное убранство комнат, он не мог сдержать своей досады при мысли, что все это было приготовлено для совсем иного празднества. Но он утешался надеждой, что в скором времени дело устроится по его желанию. Весь вечер г-жа Монтони танцевала, болтала, смеялась, между тем как ее супруг, молчаливый, сдержанный, несколько высокомерный, казалось, утомился всем этим шумом и легкомысленным обществом, собравшимся в его доме.

Это было первое и последнее празднество, устроенное в честь их свадьбы. Хотя серьезность характера Монтони и его несколько сумрачная надменность не позволяли ему веселиться на таких празднествах, но он не прочь был появляться в обществе. Ему трудно было бы встретиться в каком бы то ни было кружке с человеком более ловким и более умным, чем он сам; следовательно, в светских сношениях перевес всегда оставался на его стороне, и ему нравилось мериться своими силами и талантами с более слабыми собеседниками и затмевать их. Что касается его супруги, то в тех случаях, когда затрагивались ее ближайшие интересы, она забывала свое тщеславие, и действовала с осторожностью. Убедившись, что другие женщины красивее и изящнее ее, и от природы ревнивая, она стала всячески противиться желанию мужа посещать все светские собрания в Тулузе; очевидно, она боялась для него общества привлекательных женщин.

Прошло лишь несколько недель после свадьбы, как вдруг г-жа Монтони однажды объявила Эмилии, что ее супруг собирается ехать в Италию, как только окончены будут приготовления в дальний путь.

— Сперва мы отправимся в Венецию, где у синьора прекрасный дворец, — заявила она, — а оттуда проедем в его тосканское имение. Но отчего у вас такое унылое лицо, дитя мое? Ведь вы охотница до романтических, красивых видов? Без сомнения, вам понравится наше путешествие.

— Как, и я тоже поеду с вами? — удивилась Эмилия.

Само собою разумеется; как могли вы предположить, что мы бросим вас здесь одну. Я вижу, вы все думаете о шевалье Валанкуре; он, кажется, еще не уведомлен о нашем отъезде, но он скоро узнает обо всем. Синьор Монтони отправился известить г-жу Клерваль о том, что мы уезжаем, и вместе с тем сказать ей, что о предполагаемом союзе вашем с Валанкуром не может быть и речи.

Равнодушие, с каким г-жа Монтони уведомляла племянницу о том, что она должна расстаться, быть может, навсегда с человеком, с которым ей на днях предстояло соединиться на всю жизнь, усугубляло еще горе Эмилии. Как только она получила способность говорить, она спросила, какая же причина этой неожиданной перемены в чувствах тетки к Валанкуру. Но из слов тетки она ничего не могла понять, кроме того, что синьор Монтони не желает этого союза и находит, что Эмилия может сделать гораздо более блестящую партию.

— Я предоставляю это дело всецело моему мужу, — прибавила м-м Монтони, — но должна сказать, что Валанкур никогда не пользовался моим расположением; меня уговорили, иначе я никогда не дала бы своего согласия на его брак с вами. Я была настолько слаба, — со мной это иногда случается, — что не могла хладнокровно видеть чужого горя, и вот я уступила вам, вопреки рассудку. Но синьор Монтони совершенно ясно доказал мне безрассудство этого брака и в другой раз ему уже не придется укорять меня. Я решила, что вы подчинитесь тем, кто сумеет руководить вами, — я все устрою, что нужно, для вашего счастья.

Может быть, Эмилия в другое время и оценила бы красноречивые доводы тетушки, но в ту минуту она была так поражена неожиданным ударом, обрушившимся на ее голову, что почти не понимала, что ей говорят. Каковы бы ни были слабости г-жи Монтони, она уж никак не могла упрекнуть себя в излишнем сострадании и нежности к другим людям, в особенности же к Эмилии. То же самое тщеславие, что раньше побуждало ее породниться с семейством г-жи Клерваль, теперь, наоборот, заставляло ее расторгнуть эту помолвку: ее собственный брак с Монтони удовлетворял ее честолюбие и она задалась целью сыскать более выгодную партию для племянницы.

В ту минуту Эмилия была слишком удручена, чтобы возражать тетке или просить ее о чем-нибудь; она было заикнулась, чтобы высказать свои мысли, но от волнения не могла говорить и удалилась в свою комнату поразмыслить на досуге о неожиданном, поразительном для нее событии. Даже в тиши уединения она долго не могла оправиться и собраться с духом; когда она немного успокоилась, ее мысли все-таки были самого мрачного, безотрадного свойства. Она ясно понимала, что Монтони хочет показать свою власть, распоряжаясь ее судьбою; ей даже пришло в голову, уж не старается ли он в пользу своего приятеля, Кавиньи. Перспектива ехать в Италию казалась ей еще непригляднее ввиду тревожного состояния страны, терзаемой в то время междоусобной смутой. Каждое из мелких государств находилось во вражде со своими соседями, и даже каждый частный замок подвергался опасности нападения. Она с ужасом помышляла о том, кому была поручена опека над нею, размышляла о расстоянии, которое будет отделять ее от Валанкура! При воспоминании о возлюбленном, все прочее поблекло и все ее мысли опять затуманились безысходным горем.

В таком состоянии смятения и расстройства она пробыла несколько часов; когда ее позвали к обеду, она попросила позволения остаться в своей комнате. Но г-жа Монтони была одна, и просьба молодой девушки не была уважена. Эмилия и ее тетка мало разговаривали за

обедом — одна была всецело поглощена своим горем, другая расстроена неожиданным отсутствием Монтони. Не только ее самолюбие страдало от такого недостатка внимательности к ней, но и ревность ее была встревожена: она подозревала, что ее супруг отправился на какое-то таинственное свидание.

Когда прислуга удалилась и обе женщины остались одни, Эмилия завела речь о Валанкуре, но тетка, не смягчаясь жалостью к ней и не чувствуя никаких угрызений совести, даже рассердилась, что смеют сопротивляться ее воле и не признавать авторитета Монтони, хотя Эмилия все время говорила с обычной своей кротостью. Наконец, после долгого, бесцельного разговора Эмилия ушла вся в слезах.

Проходя по сеним, она увидела, что кто-то вошел в ворота; ей показалось, что это Монтони, и она ускорила шага, но вдруг услышала позади знакомый голос Валанкура.

— Эмилия! Эмилия! — окликнул он ее взволнованным голосом.

Она обернулась и, взглянув на него, была поражена его изменившимся лицом.

— Вы плачете, Эмилия! мне необходимо говорить с вами. Как много я должен сказать вам! Пойдемте куда-нибудь, где мы могли бы побеседовать без стеснения. Но вы дрожите, вы больны! Вы едва стоите на ногах...

Увидев открытую дверь какой-то комнаты, он поспешно схватил Эмилию за руку и повел ее туда; но она пыталась выдернуть руку и проговорила с томной улыбкой.

— Мне уже лучше; если хотите видеть тетю, то она в столовой.

— Я хочу говорить с вами, Эмилия, — отвечал Валанкур. — Боже мой, неужели уже до этого дошло? Неужели вы соглашаетесь отвергнуть меня? Выслушайте меня внимательно всего несколько минут!..

— После того, как вы повидаетесь с тетей! — сказала Эмилий,

— Придя сюда, я и так уже был несчастен, — воскликнул Валанкур, — не растравляйте же моего горя этой холодностью, этим жестоким отказом!

Отчаяние, звучавшее в его голосе, тронуло сердце Эмилии; но она все-таки не соглашалась выслушать его раньше, чем он повидается с г-жой Монтони.

— Где же ее муж? Где же сам Монтони? — спросил Валанкур изменившимся голосом, — вот с кем мне необходимо переговорить!

Эмилия, испуганная гневом, сверкавшим в его глазах, со страхом уверяла его, что Монтони нет дома, и просила молодого человека успокоиться.

Один звук ее голоса мгновенно смягчил его раздражение.

— Вы больны, Эмилия, — проговорил он нежно, — ах, эти люди погубят нас обоих!

Эмилия уже не противилась, когда он повел ее в соседнюю приемную. Тон, которым он произнес имя Монтони, так испугал ее за него самого, что в эту минуту ей прежде всего хотелось как-нибудь успокоить его справедливый гнев. Валанкур выслушал ее доводы и просьбы и отвечал на них взглядами, полными отчаяния и нежности, скрывая, насколько мог, свои чувства к Монтони, чтобы не встревожить ее еще более. Но она заметила, что это притворство. Его напускное спокойствие беспокоило ее еще более и она, наконец, высказалась, что считает неполитичным требовать свидания с Монтони, так как это может сделать их разлуку окончательной. Валанкур уступил этим убеждениям: своими трогательными просьбами ей удалось исторгнуть у него обещание, что хотя бы Монтони и настаивал на своем намерении разлучить их, однако он, Валанкур, не будет стараться отплатить ему каким-нибудь насилием.

— Ради меня, — проговорила Эмилия, — откажитесь от мести, подумайте, как сильно это заставит меня страдать!

— Ради вас, Эмилия, — отвечал Валанкур, — я сдержу себя, — при этом глаза его наполнились слезами горя и нежности. — Но хотя я даю вам торжественное обещание исполнить ваше желание, однако не ожидайте, чтобы я покорно подчинился этому Монтони: если б я подчинился, я был бы недостоин вас. О, Эмилия, неужели он надолго разлучит меня с вами? Скоро ли вы вернетесь во Францию?

Эмилия пробовала успокоить его уверениями в своей неизменной привязанности; она

говорила ему, что через год освободится от опеки тетки, достигнув совершеннолетия, но все эти доводы принесли мало утешения Валанкуру; он знал, что Эмилия и тогда будет находиться в Италии и что власть ее опекунов не прекратится, даже когда они утратят над нею законные права; но он сделал вид, что утешен ее уверениями. Эмилия, успокоенная исторгнутым обещанием и кажущимся самообладанием Валанкура, уже встала, чтобы уйти, как вдруг в комнату вошла ее тетка. Она бросила строгий, укоризненный взгляд на Эмилию, которая тотчас же вышла из комнаты, и с неудовольствием покосилась на Валанкура.

— Не ожидала я от вас такого поступка, — начала она, — и не рассчитывала видеть вас в своем доме, после того как вас уведомили, что посещения ваши нежелательны; еще менее думала я, что вы будете искать тайного свидания с моей племянницей и что она согласится видиться с вами без моего ведома.

Валанкур, чтобы оправдать Эмилию от такого обвинения, объяснил, что он пришел исключительно с целью видиться с Монтони. Затем он заговорил о своем деле сдержанно и почтительно, считая такой тон обязательным в разговоре со всякой женщиной, даже и такой, как г-жа Монтони.

Но его объяснения были встречены резким отпором: г-жа Монтони опять стала выражать сожаления, что слишком поддалась чувству сострадания; теперь она сознает безумие своего первоначального решения и во избежание повторения подобной ошибки поручила это дело всецело своему мужу, синьору Монтони.

Однако трогательное красноречие Валанкура до известной степени открыло ей недостойность ее поведения. Она почувствовала стыд, но не угрызения совести. Она сердилась на Валанкура, пробудившего в ней это тягостное ощущение, и по мере того, как росло ее недовольство собою, росла и ненависть к нему. Наконец она до того обозлилась, что Валанкур принужден был удалиться, чтобы не поддаться соблазну наговорить ей резкостей. Он окончательно убедился, что от г-жи Монтони ему не на что рассчитывать: можно ли ожидать жалости или хотя бы простой справедливости от человека, который, сознавая свою вину, не чувствует смиренного раскаяния?

От Монтони он также не ожидал ничего хорошего. Раз известно, что план разлучить влюбленных задуман им, то нельзя было рассчитывать, что он уступит просьбам и доводам, которые наверное предвидел раньше. Однако, помня обещание, данное Эмилии, Валанкур остерегался пуститься на какую-либо резкость, чтобы напрасно не раздражать Монтони. Поэтому он написал ему письмо, в котором убедительно просил, а не требовал свидания с ним. Сделав это, он решился спокойно ждать ответа.

Г-жа Клерваль играла пассивную роль во всей этой истории. Дав свое одобрение на брак Валанкура, она была уверена, что Эмилия будет наследницей состояния своей тетки. После свадьбы г-жи Монтони она убедилась в тщетности своих надежд, но совесть не позволяла ей принять какие-либо меры, чтобы порвать этот союз. С другой стороны, в ней было слишком мало сердечной доброты и энергии, чтобы содействовать этому браку. Напротив, она была втайне довольна, что Валанкур избавился от помолвки, которую она считала недостойной его, в смысле состояния; точно также и Монтони считал этот брак недостойным такой красивой девушки, как Эмилия. Хотя гордость г-жи Клерваль была задета отказом, которому подвергся один из членов ее фамилии, но она не удостоивала выражать свое неудовольствие и молчала.

Монтони в своем ответном письме заявлял Валанкуру, что их свидание ни к чему не поведет: так как ни та, ни другая сторона не намерены уступать, то оно может вызвать между ними только лишние пререкания. В силу этих соображений он отказывается видиться с Валанкуром.

Не теряя из виду советов Эмилии и данного ей обещания, Валанкур с трудом удержался, чтобы не пойти немедленно к Монтони и не потребовать того, в чем ему было отказано после его мягкой просьбы. Он написал второе письмо, повторял в нем свою просьбу, подкрепляя ее всеми аргументами, какие только мог придумать. Так прошло несколько дней в мольбах с одной стороны и в неумолимом сопротивлении с другой. Был ли

это страх, или стыд, или ненависть, но Монтони упорно избегал человека, глубоко оскорбленного им. Он твердо стоял на своем отказе, не смягчался под влиянием горя, которым дышали письма Валанкура, и нимало не раскаивался в своей несправедливости. Наконец догшо до того, что письма Валанкура отсылались обратно нераспечатанными. Тогда, в первые минуты страстного отчаяния, молодой человек позабыл все обещания, данные Эмили, кроме клятвы — избегать всякого насилия, — и сам отправился в замок к Монтони с твердым намерением видаться с ним во что бы то ни стало. Монтони не принял его Валанкур спросил г-жу Монтони, затем м-ль Сент Обер, но слуги наотрез отказались впустить его. Не желая входить в препирательство с прислугой, он наконец ушел и, вернувшись домой в состоянии близком к умоисступлению, написал Эмили о случившемся, — красноречиво изобразил ей терзания своего сердца и умолял ее, раз нет другого средства видаться с ней немедленно, согласиться на свидание с ним без ведома Монтони. Вскоре после отсылки письма, когда страсти его несколько поулеглись, он понял, какую он сделал ошибку, доставив Эмили новый повод к волнениям. Он отдал бы полжизни, только бы вернуть посланное письмо. Эмили однако была избавлена от огорчения, которое испытала бы, читая его, — избавлена благодаря интриганству г-жи Монтони, еще ранее отдавшей приказание, чтобы все письма, адресованные на имя племянницы, подавались ей самой. Пробежав последнее отчаянное письмо Валанкура и прочтя нелестные отзывы Валанкура о ее супруге, она без церемонии бросила письмо в огонь.

Тем временем Монтони, сгорая нетерпением поскорее выехать из Франции, поспешно отдавал распоряжения слугам, занимавшимся приготовлениями к отъезду, и торопился закончить все свои дела. Он упорно не отвечал на письма Валанкура, в которых тот, отчаявшись достигнуть большего и подавив свое разочарование, умолял только об одном — о разрешении проститься с Эмилией. Узнав, что она в самом деле уедет через несколько дней, что ему не суждено больше видаться с ней, он забыл все соображения осторожности и написал к Эмили второе письмо, в котором осмелился предложить ей тайный брак. Это письмо точно так же попало в руки г-жи Монтони. Настал последний день пребывания Эмили в Тулузе, но Валанкур не получил еще ни одной строки, которая облегчила бы его тоску или хотя бы подала надежду, что ему разрешено будет прощальное свидание с Эмилией.

В этот период мучительной неизвестности для Валанкура Эмили находилась в состоянии какого-то столбняка, что часто бывает при великих, ошеломляющих несчастьях. Любя Валанкура нежной привязанностью и давно привыкнув считать его своим другом и спутником на всю жизнь, она не могла себе представить счастья вдали от него. И вдруг она узнает, что ее разлучают с ним, быть может, навеки и увозят на чужбину, куда до нее даже не будут доходить вести о возлюбленном... И все это бедствие творится над ней по произволу какого-то чужого человека, каким был для нее Монтони, и по капризу женщины, которая еще так недавно сама желала ускорить ее свадьбу! Тщетно старалась Эмили совладать со своим горем и примириться с неизбежным. Молчание Валанкура больше огорчало, чем удивляло ее; но когда настал последний день ее пребывания в Тулузе и она не знала, позволено ли ей будет проститься с ним, она впала в отчаяние и, несмотря на свое нежелание говорить о нем с г-жой Монтони, спросила тетку, неужели ей откажут в этом последнем утешении? Тетка отвечала, что свидание ей, конечно, не разрешат, прибавив, что после дерзостей, которые наделал ей Валанкур в последний раз, и после того, как он осмелился преследовать синьора своими письмами, никакие просьбы не помогут.

— Если шевалье рассчитывает на такое одолжение с нашей стороны, — сказала она, — то ему следовало бы вести себя совсем иначе: терпеливо ждать, пожелаем ли мы оказать ему такую милость, а не упрекать меня за то, что я не считаю для себя лестной его женитьбу на моей племяннице; ему не следовало приставать к моему мужу. Его поведение с начала до конца было крайне самонадеянным и дерзким; я не желаю даже слышать его имени; советую вам отделаться от этой блажи и вздорных печалей, быть такой, как все люди, и не строить

мрачной физиономии, точно вы плакать собираетесь. В самом деле, хотя вы молчите, вы не можете скрыть своей печали от моей проницательности: я вижу, что вы и сейчас готовы удариться в слезы, несмотря на мое приказание!

Эмилия отвернулась, скрывая слезы, затем вышла из комнаты, чтобы наплакаться вволю. Весь день прошел для нее в таком глубоком отчаянии, какого она еще никогда не испытывала в жизни. Перед тем как ложиться спать, она села в кресло и просидела так, не двигаясь, погруженная в скорбь, долгое время после того, как все домашние отправились на покой. Она не могла отогнать от себя мысли, что расставалась с Валанкуром окончательно и никогда более его не встретит — уверенность эта возникла не случайно — ее, по-видимому, оправдывали разные обстоятельства: и предстоящее длинное путешествие, и неизвестность насчет того, когда она вернется, и строгие запрещения, которым она подвергалась. Кроме того у нее было какое-то впечатление, не то предчувствие, что она уезжает от Валанкура навсегда. Каким страшным казалось ей расстояние, которое разлучит их! Исполинская стена Альп воздвигнется между ними и целые области будут разделять их. Жить где-нибудь в соседней провинции, жить в той же стране, хотя бы и не видясь с ним, представлялось ей счастьем в сравнении с этой ужасной далью...

Она так сильно волновалась, размышляя о своем горе и о том, что никогда больше не увидится с Валанкуром, что вдруг почувствовала приступ слабости и дурноты; беспомощно озираясь и отыскивая, что бы такое могло оживить ее, она случайно взглянула на окно. Едва имела она силу подойти к нему, распахнуть раму и сесть. Струя воздуха несколько оживила ее и кроткий лунный свет, падавший на длинную аллею высоких вязов успокоил ее смятенный дух. Она решилась выйти в сад, надеясь, что движение и свежий воздух облегчат мучительную боль, сковывавшую ее виски. В замке все было тихо; спустившись по широкой лестнице в сени, откуда был ход прямо в сад, она тихонько, как ей казалось, неслышно, отперла дверь и вступила в аллею. Эмилия шла, то ускоряя, то сдерживая шаги, так как в тени меж деревьев ей все чудились какие-то движущиеся фигуры и она боялась, не шпионы ли это, посланные теткой. Но желание еще раз увидеть павильон, где она проводила столько счастливых часов с Валанкуром, любуясь далекими видами Лангедока и родной Гаскони, преодолели ее страхи и она направилась к террасе, которая тянулась вдоль всего верхнего сада, сообщаясь с нижним несколькими мраморными ступенями в конце аллеи.

Дойдя до этих ступеней, она остановилась и оглянулась — теперь отдаленность ее от замка пугала ее среди тишины и темноты ночной. Но, не заметив ничего страшного, она поднялась на террасу. Там при лунном свете ясно виднелась широкая дорожка к павильону; луна серебрила кусты и деревья, окаймлявшие павильон справа, и кудрявые макушки других деревьев, подымавшихся в уровень с балюстрадой из нижнего сада. Эмилия остановилась, прислушиваясь; ночь была так тиха, что ни малейший звук не пропадал даром. Но в ушах ее раздавалась печальная песня соловья да легкий шелест листьев; она продолжала идти к павильону. Достигнув его, она, несмотря на темноту, скрывавшую знакомые предметы, ощутила волнение: окна были открыты и в их пролеты, окаймленные зеленью, виднелся пейзаж, залитый мягким лунным светом: рощи и равнины смутно рисовались вдали, на горах виднелись более яркие блики света; в соседней реке отражалось трепетное сияние луны.

На Эмилию эта красивая сцена производила тем более сильное впечатление, что она вызывала перед нею образ Валанкура.

— Ах, — проговорила она с тяжким вздохом, падая в кресло у окна, — как часто мы, бывало, сживали с ним на этом самом месте и любовались окрестностями! Никогда никогда мы уже не будем сидеть здесь вместе! никогда, никогда уже не увидим друг друга!

Вдруг слезы ее иссякли под влиянием страшного испуга: чей-то голос раздался, у самого павильона. Эмилия вскрикнула. Знакомый голос послышался снова. Действительно, это был Валанкур; не прошло секунды, как он уже очутился около нее и заключил ее в свои объятия. Долго они не могли от волнения произнести ни слова.

— Эмилия!... — начал наконец молодой человек, сжимая ей руку, — Эмилия!... — и опять умолк.

Но в тоне, которым он произнес ее имя, сказалась вся его нежность, вся его скорбь.

— О, дорогая моя! — продолжал он после длинной паузы. — Вот я опять вижу вас, опять слышу ваш голос! Я бродил по этим садам много-много вечеров подряд, со слабой, очень слабой надеждой когда-нибудь встретить вас. Это был единственный шанс, оставшийся мне. Слава Богу! наконец-то мне улыбнулось счастье, — я не обречен на безвыходное отчаяние!

Эмилия заговорила о своей глубокой привязанности и старалась успокоить волнение его души. Валанкур в течение нескольких минут произносил лишь отрывистые, бессвязные слова. Поуспокоившись немного, он сказал:

— Я пришел сюда вскоре после солнечного заката и с тех пор все подкарауливал вас в саду и павильоне; хотя я потерял всякую надежду видеть вас, но не мог оторваться от этого места, близкого к вам; вероятно, я пробродил бы вокруг замка до самого рассвета. О, как медленно тянулось время... Однако каждая минута приносила с собою разнообразные ощущения. По временам мне казалось, что я слышу приближающиеся шаги, но вслед затем опять наступала глубокая, мертвая тишина! Когда вы открыли дверь павильона и за темнотою я не мог удостовериться, вы ли это, сердце мое так безумно забилося надеждой и страхом, что я едва переводил дыхание... В тот момент, когда я услышал тихий звук вашего голоса, все мои сомнения исчезли — но не мои опасения, пока вы не заговорили про себя обо мне. Тогда, забыв, что я могу испугать вас своей порывистостью, я не в силах был долее молчать. О, Эмилия! это — минуты, когда горе и радость так жестоко борются в сердце человека, что оно едва в силах вынести борьбу...

Эмилия в душе признавала истину этих слов. Радость, которую она почувствовала, встретив Валанкура в ту самую минуту, когда уже отчаялась когда-нибудь его видеть, вскоре сменилась горем, лишь только она оправилась и получила способность рассуждать. Перед ней с жестокой ясностью восстали картины будущего. Она старалась обрести спокойное достоинство, необходимое для нее, чтобы перенести это последнее свидание; Валанкур же не мог совладать с собою; вскоре восторг его перешел в отчаяние, и он в страстных выражениях стал изливать горе разлуки. Слушая его, Эмилия молча плакала; желая овладеть своей собственной тоской и успокоить его, она упомянула, что надежда еще не погибла. Но с пронизательностью страсти он тотчас же угадал обманчивость этих иллюзий, которые она старалась внушить ему и себе самой.

— Вы уезжаете от меня в дальние края, — промолвил он, — там вы войдете в новое общество, приобретете новых друзей, новых поклонников! Вас заставят позабыть меня и уговорят заключить новые узы! Зная это, могу ли я надеяться, что вы вернетесь ко мне и будете моею!

Голос его замер в тяжелых вздохах.

— Так вы думаете, — возразила Эмилия, — что муки, которые я терплю, вызваны лишь поверхностным, временным чувством! вы думаете...

— Вы страдаете, и страдаете из-за меня! О, Эмилия, как сладостны и как горьки для меня эти слова! Какую отраду и вместе с тем скорбь они вливают в мою душу. В сущности я не должен сомневаться в прочности вашей привязанности; однако истинная любовь требовательна: она всегда открыта подозрениям, иногда самым безрассудным — она постоянно ищет новых доказательств. Вот почему я всегда оживаю, услышав от вас уверение, что я вам дорог; а за отсутствием этих уверений я опять впадаю в тоску сомнения и слишком часто — в отчаяние. Но какой я злодей, — воскликнул он, опомнившись, — что терзаю вас — да еще в такие минуты! Мне бы следовало поддержать и утешить вас!

Эта мысль наполняла сердце Валанкура бесконечной нежностью, но вслед затем его опять охватило отчаяние, и он стал жаловаться на предстоящую жестокую разлуку в выражениях столь страстных, что Эмилия тоже невольно поддалась его отчаянию. В промежутках между судорожными рыданиями Валанкур целовал ее и пил слезы, катившиеся по ее щекам; но тут же с жестокой укоризной заметил ей, что, по всей вероятности, она больше никогда не будет плакать о нем. Как ни старался он обуздать себя и говорить более

спокойно, но мог только восклицать:

— О, Эмилия! сердце мое разрывается! я не в силах расстаться с вами! Теперь я смотрю на ваше лицо, держу вас в моих объятиях! но пройдет немного времени и все исчезнет, как сон. Я буду смотреть, но не увижу вас, буду стараться воскресить в моем воображении черты вашего лица, но воспоминание будет ускользать от меня; я буду прислушиваться к вашему голосу, но память моя окажется бессильной! я не могу, не могу оставить вас! Зачем должны мы вверять счастье нашей жизни произволу чужих, жестоких людей? О, Эмилия! решитесь довериться своему собственному сердцу, решитесь стать моею навеки!..

Его голос задрожал и оборвался. Эмилия продолжала молча плакать. Тогда Валанкур предложил ей напрямик обвенчаться с ним немедленно: завтра рано утром она должна уйти из дома г-жи Монтони, а он встретит ее и они пойдут в церковь августинцев, где монах обвенчает их.

Молчание, с каким она выслушала предложение, внушенное страстью и отчаянием и сделанное ей в такой момент, когда сердце ее было размягчено печалью разлуки, быть может вечной, а рассудок ее был затуманен любовью и страхом, — это молчание ободрило Валанкура и пробудило в нем надежду, что план его не будет отвергнут.

— Скажите хоть слово, моя Эмилия! — настаивал он с пылкостью, — дайте мне услышать ваш голос, решайте мою судьбу!

Она все молчала; щеки ее похолодели, она готова была лишиться чувств. Однако она не потеряла сознания. Валанкуру гюказалось, что она умирает; он стал звать ее по имени, хотел броситься в замок за помощью, но, видя, в каком она состоянии, побоялся отойти и оставить ее одну.

Через несколько минут она глубоко вздохнула и стала оправляться. Борьба между ее любовью и долгом по отношению к сестре своего отца, отвращение к тайному браку, боязнь попасть в затруднения, которые в конце концов могут вовлечь ее возлюбленного в неприятности и раскаяние, все эти разнообразные чувства нахлынули на ее душу, уже истерзанную горем: наступил момент, когда ее рассудок как бы замер и перестал мыслить. Но долг и здравый смысл наконец восторжествовали над любовью и мрачными предчувствиями. Более всего она боялась испортить жизнь Валанкуру и возбудить в нем впоследствии слишком поздние сожаления, а это непременно должно произойти, по ее мнению, в случае, если они обвенчаются украдкой. И вот, вооружившись неженской твердостью, она решила лучше перенести свое теперешнее несчастье, чем причинить целую цепь несчастий в будущем.

С чистосердечием, доказывавшим, как искренне она уважала и любила Валанкура, и делавшим ее еще дороже его сердцу, она высказала ему причины, почему она отвергает его предложение. Он энергично разбил те доводы, которые касались его личного благосостояния в будущем; но вместе с тем у него возникли нежные опасения насчет нее самой. Раньше он этого не сознавал: страсть и отчаяние отуманивали его рассудок. Любовь, побудившая его предложить ей тайный брак, напротив, заставляла его отказаться от такого намерения. Но переворот в его мыслях жестоко поразил его сердце. Ради Эмилии он бодрился и старался казаться спокойнее, но лютая тоска так и рвалась наружу.

— О, Эмилия, говорил он, — я должен уйти, я должен оставить вас, и я знаю, что расстанусь с вами навеки!

Судорожные рыдания не дали ему договорить: оба молча плакали. Наконец, Эмилия, вспомнив, что их могут застать, и сознавая неприличие продолжительного свидания, решила не подавать повода к злословию и, призвав на помощь все мужество, сказала ему последнее прости.

— Пойдите! — воскликнул Валанкур. — Умоляю вас, остановитесь. Мне надо так многое сказать вам! В смятении моих чувств я говорил только о том предмете, который в данную минуту поглощал меня всецело. Но я избегал касаться другой вещи, тоже чрезвычайно важной, отчасти боясь, чтобы вы не подумали, будто я говорю это с неблагородной целью напугать вас и насильно заставить согласиться на мое последнее

предложение.

Эмилия, сильно взволнованная, вышла с Валанкуром из павильона, и, пока они ходили по террасе, Валанкур говорил ей:

— Про этого Монтони ходят странные слухи... Уверены ли вы, что он родственник г-жи Кенель и что действительно так богат, как кажется?

— Я не имею причин сомневаться в этом... — промолвила Эмилия с беспокойством. — Насчет родства его с г-жой Кенель я не могу усомниться; что же касается его состояния, я не имею данных судить о нем и прошу вас сказать мне все, что вы слышали.

— Но и мои сведения тоже очень смутны и неопределенны: я получил их от одного итальянца, рассказывавшего другому лицу об этом Монтони. Они говорили о его женитьбе. Итальянец заметил, что если это тот Монтони, которого он знает, то вряд ли он может составить счастье женщины. Вообще он отзывался о вашем родственнике очень дурно, между прочим, сделал кое-какие намеки относительно его честности и доброй славы, и это возбудило мое любопытство: я решился задать ему несколько вопросов. Он был сдержан в своих ответах, но после некоторого колебания признался, что за границей Монтони слывет за человека отчаянного и сомнительной репутации. Он

упомянул между прочим о замке, принадлежащем Монтони в Апеннинах, и о каких-то темных обстоятельствах, касающихся его прежнего образа жизни. Я просил его объясниться точнее; но никакие убеждения не подействовали, он ни за что не соглашался сообщить мне что-нибудь определенное насчет Монтони.

Я заметил ему, что если Монтони владеет замком в Апеннинах, то это доказывает, что он не без роду и племени, и опровергает слух, будто он бедняк, без гроша за душой! На это итальянец покачал головой, и видно было, что он мог бы сказать многое, если б только захотел. Надежда узнать что-нибудь более определенное и положительное заставила меня довольно долго оставаться в его обществе, и я несколько раз пытался возобновить разговор. Но итальянец замкнулся в молчании, заметив только, что все это, конечно, слухи, а слухи часто распространяются со злым умыслом и доверять им не следует. — Дольше я не мог настаивать; я понял, что мой итальянец уже раскаивается, что проболтался, и я остался в невыносимой неизвестности. Подумайте, Эмилия, что я должен выстрадать, видя, что вы уезжаете на чужбину, находясь во власти человека такой подозрительной репутации, как Монтони! Но я не хочу напрасно тревожить вас: очень возможно, что итальянец ошибается... Однако, Эмилия, подумайте хорошенько, прежде чем отдать свою судьбу в руки этого подозрительного господина!..

Валанкур стал взволнованно ходить взад и вперед по террасе, а Эмилия стояла, облокотясь на балюстраду, погруженная в глубокую думу. Рассказ Валанкура встревожил ее сильнее, чем можно было ожидать. Она никогда не любила Монтони. Она часто со страхом наблюдала его пронизывающий, пламенный взгляд, его надменную смелость и угадывала его душу всякий раз, как какой-нибудь случай, хотя бы пустой, заставлял его обнаруживать свои чувства; даже в спокойном состоянии ее всегда пугало выражение его лица. На основании таких наблюдений она была склонна верить намекам итальянца и не сомневалась, что они относятся именно к Монтони, мужу ее тетки. Мысль очутиться на чужбине во власти этого страшного человека была для нее ужасна; конечно, не один страх побудил бы ее согласиться на немедленный брак с Валанкуром: она чувствовала к нему нежнейшую любовь; и все-таки ни страх, ни любовь не могли победить в ней сознания долга, бескорыстное участие к интересам Валанкура и ее скрытое отвращение к тайному браку.

Но Валанкура трудно было убедить. Он ясно видел под влиянием своей любви и опасений за возлюбленную, что путешествие в Италию будет ужасным несчастьем для Эмилии; поэтому он решил настойчиво противиться ее отъезду и умолял ее дать ему право стать ее законным защитником.

— Эмилия! — убеждал он торжественным тоном, — теперь не время взвешивать сомнительные и сравнительно пустячные обстоятельства, которые могут повлиять на наше

будущее благосостояние. Теперь я яснее чем когда-либо вижу ту цепь серьезных опасностей, которым вы подвергнетесь по милости такого человека, как Монтони. Эти темные намеки итальянца очень серьезны, они только подтверждают мое собственное мнение о Монтони, утвердившееся на основании того, что я прочел на его лице. Я боюсь этого итальянца; я умоляю вас, Эмилия, ради меня и ради вас самих, остерегайтесь зла, которое я предвижу. О, Эмилия! позвольте мне, моей любви, моим рукам удержать нас на краю гибели, дайте мне право защищать вас!

Эмилия вздыхала, между тем как Валанкур продолжал умолять, уговаривать, убеждать со всей энергией страстной любви. Но по мере того как он преувеличивал возможные страдания, которым она подвергнется на чужбине, — туман, заволакивающий ее мысли, стал, напротив, рассеиваться и она поняла, насколько преувеличены эти опасения. Намеки итальянца основаны на слухах, и хотя внешность Монтони действительно может хоть отчасти оправдать дурные толки, но в точности ничего неизвестно. Пока она пыталась самым мягким образом убедить Валанкура в его ошибке, она подала ему повод к новой ошибке. Его лицо и голос изменились — они выражали глубокое отчаяние.

— Эмилия! — проговорил он, — эта минута самая горькая, какую я испытал в жизни! Вы не любите, вы не можете любить меня! Если б вы любили, вы не стали бы рассуждать так хладнокровно, так разумно! Я терзаюсь тоской при мысли о нашей разлуке и о тех несчастьях, которые ожидают вас. Я готов был бы на все, чтобы только избавить вас от этой беды, спасти вас. Нет, Эмилия, нет, вы меня не любите!

— Теперь нечего терять время на сетования и укоры, — молвила Эмилия, стараясь быть спокойной, — если вы еще не знаете, как вы дороги моему сердцу, то никакие мои уверения не смогут убедить вас в этом.

Она замолчала, и слезы ее полились градом. Эти слова, эти слезы мгновенно отрезвили Валанкура и внушили ему уверенность в ее любви. В волнении он только восклицал: «Эмилия, Эмилия!», — и плакал, целуя ее руки. Но через несколько минут Эмилия очнулась от временной слабости и проговорила:

— Я должна оставить вас: уже поздно, мое отсутствие из замка может быть замечено. Думайте обо мне, любите меня... когда я буду далеко! Эта уверенность будет моей единственной поддержкой!

— Думать о вас, любить вас! .. — воскликнул Валанкур.

— Старайтесь умерить свою печаль, старайтесь — ради меня.

— Ради вас!

— Да, ради меня. Я не могу оставить вас в таком состоянии.

— Так не покидайте меня совсем! — горячо возразил Валанкур. — Для чего нам расставаться, или расставаться на более долгий срок, чем до завтрашнего дня.

— Право, я не в силах выносить этого, — отвечала Эмилия. — Вы терзаете мое сердце. Но я никогда не соглашусь на ваше поспешное, необдуманное предложение.

— Если б мы могли располагать временем, Эмилия, то мое предложение не было бы поспешно. Но мы должны подчиняться обстоятельствам.

— Да, именно — это необходимо! Я уже высказала вам все, что у меня на сердце. Душа моя изнемогает!.. Вы согласились с силой моих аргументов, но ваша любовь создала какие-то смутные страхи, которые только еще более измучили нас. Пощадите меня! не заставляйте повторять снова все мои доводы!

— Пощадить вас? — воскликнул Валанкур. — Я злодей, я был настоящим злодеем, думая только о себе! Мне следовало обнаружить стойкость мужчины и поддерживать вас... а вместо того я только усилил ваши страдания своим ребяческим поведением! Простите, Эмилия, подумайте о расстройствах моих чувств, теперь, когда я должен расстаться со всем, что мне дорого — простите! Когда вы уедете, я с горьким раскаянием буду вспоминать, как мучил вас; я буду желать, тщетно желать увидеть вас хотя на одну минуту, чтобы я мог облегчить вашу печаль...

Слезы опять не дали ему говорить; Эмилия плакала вместе с ним.

— Я докажу, что я достоин вашей любви, — сказал Валанкур, — по крайней мере я не стану затягивать этих горьких минут. Эмилия! моя дорогая! не забывайте меня: Бог ведает, увидимся ли мы когда-нибудь в жизни! Поручаю вас Его святому покровительству. О Боже! защити и сохрани ее!

Он прижал ее руку к своему сердцу. Эмилия почти без чувств упала к нему на грудь; они не могли ни плакать, ни говорить. Наконец Валанкур, овладев своим отчаянием, старался успокоить и поддержать ее; но она, казалось, не сознавала даже, что он говорит ей. Только по вздохам, вырывавшимся по временам из ее груди, видно было, что она не в обмороке.

Он медленно повел ее к замку, все время проливая слезы и что-то говоря ей; но она отвечала одними вздохами, пока они не достигли калитки в конце аллеи. Тогда только она как будто очнулась и, оглянувшись, заметила, как близко они находятся от замка.

— Здесь мы должны расстаться, — проговорила она, останавливаясь, — зачем затягивать прощание? Научите меня твердости, я изнемогаю!

Валанкур боролся с самим собою, чтобы казаться спокойным.

— Прощай, любовь моя, — промолвил он с торжественной нежностью, — поверь мне, мы с тобою еще встретимся для того, чтобы уже не расставаться!

Голос его оборвался, но в ту же минуту он оправился и продолжал более твердым тоном:

— Вы не знаете, как я измучаюсь, пока не получу от вас известия. Я буду писать вам, но мне страшно подумать, как редко мои письма будут доходить до вас! Поверьте мне, дорогая, ради вас я постараюсь выносить разлуку с твердостью. Но, простите! я так мало твердости проявил сегодня.

— Прощайте, — слабо вымолвила Эмилия. — Когда мы расстанемся, я припомню многое, что я имею еще сказать вам.

— То же самое будет и со мною! — сказал Валанкур. — После каждого свидания с вами, я всегда припоминал, что мне нужно было высказать вам то-то и то-то; я страдал, что не в состоянии этого сделать. О, Эмилия! ваше лицо, на которое я смотрю в настоящую минуту, скоро скроется с глаз моих, и все усилия воображения не будут в состоянии нарисовать его с точностью. О, какая бесконечная разница между этой минутой и следующей: теперь мы вместе, я могу любоваться вами, а тогда откроется мрачная пустота, я буду странником, изгнанным из своего единственного приюта!

Снова Валанкур прижал ее к своему сердцу, и так продержал ее несколько мгновений, горько плача. Слезы опять облегчили ее опечаленную душу. Еще раз сказали они друг другу «прости» и расстались. Валанкур с усилием оторвался от нее и торопливо пошел по аллее. Эмилия, направляясь к замку, слышала его удаляющиеся шаги. Она прислушивалась к этим звукам, они становились все слабее и наконец совсем замерли. Осталась одна тишина ночная. Эмилия поспешила вернуться в свою комнату искать отдыха, но — увы! — сон не являлся, и она долго не могла забыться!

ГЛАВА XIV

*В какие бы края ни бросила меня судьба,
Где б ни скитался я,
Но сердце верное всегда полно тобою.*
Гольдсмит

Рано утром дорожные экипажи уже стояли у ворот. Суетня прислуги, бегавшей взад и вперед по коридорам, разбудила Эмилию от тревожного полусна; всю ночь ее преследовали кошмары и рисовались печальные картины ее будущей судьбы. Проснувшись, она старалась отогнать от себя мрачные впечатления, навеянные этими снами. Но от воображаемых ужасов она прямо перешла к сознанию грустной действительности.

Вспомнив о том, что она рассталась с Валанкуром, быть может, навсегда, она почувствовала страшное замирание сердца. Однако она употребила все усилия, чтобы забыть мрачные предчувствия и сдерживать печаль, которой не в силах была избежать; благодаря этим усилиям по ее грустному лицу разлилось выражение кроткой покорности, которая, подобно тонкой дымке, наброшенной на прекрасные черты, делала их еще более интересными и трогательными. Но г-жа Монтони ничего не заметила в ее лице, кроме непривычной бледности, и сделала ей соответственный выговор: зачем предаваться каким-то фантастическим печалям и показывать всему свету, что она не в силах отказаться от своей нелепой любви? При этих словах тетки бледные щеки Эмилии вспыхнули яркой краской — краской негодования, но она не возразила ни слова.

Вскоре после этого Монтони появился в столовой за завтраком, говорил мало и только торопил с отъездом.

Окна комнаты выходили в сад. Проходя мимо окна, Эмилия увидела то место, где она накануне прощалась с Валанкуром; от этого воспоминания опять больно сжалось ее сердце, и она поспешно отвернулась, чтобы ничего не видеть.

Наконец багаж был уложен, и путешественники уселись в экипажи; Эмилия рассталась бы с этим домом радостно, без единого вздоха, если б только поблизости от него не жил Валанкур.

С небольшого пригорка она оглянулась назад на Тулузу и далеко раскинувшиеся равнины Гаскони, позади которых на дальнем горизонте виднелись гордые вершины Пиренеев, озаренные утренним солнцем. «Милые, родные горы! — подумала она про себя. — Как много пройдет времени, прежде чем я снова увижу вас, и за это время сколько злых бед могут обрушиться на мою голову! О, если б только я была уверена, что когда-нибудь вернусь сюда и опять увижусь с Валанкуром, и что он по-прежнему будет любить меня, тогда я уехала бы спокойная!»

Деревья, нависшие над крутыми краями дороги, грозили скрыть из виду далекую перспективу; но голубоватые вершины все еще виднелись из-за темной зелени, и Эмилия продолжала смотреть из окна кареты, пока наконец густые ветви окончательно не заслонили вида.

Вскоре нечто другое привлекло ее внимание. Она заметила какую-то фигуру, ходившую взад и вперед вдоль берега, в шапке, украшенной пером, признаком военного звания, и нахлобученной на глаза; но вот при стуке колес человек круто обернулся, и Эмилия узнала Валанкура; он сделал приветственный знак рукою, выбежал на дорогу и, подойдя к окну кареты, сунул в руку Эмилии письмо. Отчаяние сквозило в его глазах, но он старался улыбнуться. Воспоминание об этой вымученной улыбке запечатлелось в сердце Эмилии навеки. Она высунулась из окна и еще раз увидела его стоящим на пригорке у берега, прислонившегося к высокому дереву и следящего глазами за каретой. Он опять махнул рукой, а она долго не спускала глаз с его исчезающей фигуры. Наконец на повороте дороги он скрылся из виду.

Остановившись у соседнего замка, чтобы прихватить с собой синьора Кавиньи, наши путешественники продолжали путь по равнинам Лангедока, причем Эмилию бесцеремонно отсадили в другую карету вместе с горничной г-жи Монтони. Присутствие служанки мешало Эмилии прочесть письмо Валанкура, — она не желала, чтобы кто-нибудь был свидетелем ее слез и волнений. Но ей так страстно хотелось прочесть последнее послание возлюбленного, что дрожащая рука ее ежеминутно порывалась сломать печать.

Наконец путники достигли одной деревушки, где переменили только лошадей, не останавливаясь на отдых. Но когда сделали привал для обеда, Эмилия могла воспользоваться случаем, чтобы прочесть письмо. Хотя она никогда не сомневалась в искренности любви Валанкура, однако новые уверения и клятвы, заключавшиеся в письме, оживили ее скорбную душу; она поплакала над письмом, с нежной грустью спрятала его на груди, с тем чтобы вынимать каждый раз как почувствует себя особенно удрученной тоскою, и после этого стала думать о своем возлюбленном с меньшей печалью, чем за все время их разлуки. Между

прочими просьбами, особенно для нее отрадными, потому что они выражали силу и степень его любви и потому что выполнение этих просьб могло доставить ей некоторое утешение в разлуке, он умолял ее всегда вспоминать о нем на закате солнца.

«Таким образом наши мысли будут всегда встречаться, — писал он, — я тоже буду наблюдать солнечный закат и для меня будет счастьем думать, что ваши глаза устремлены на тот же предмет, что наши души беседуют между собой. Вы не знаете, Эмилия, какого утешения я жду от этих моментов, но, надеюсь, вы сами это испытаете».

Нечего и говорить, с каким чувством Эмилия в тот же вечер наблюдала солнце, заходившее над обширной равниной, — наблюдала, как огненный шар закатывался над горизонтом в той стороне, где живет Валанкур. После этого душа ее немного успокоилась и примирилась с судьбою — такого отрадного чувства она еще не испытала со времени брака ее тетки с Монтони.

Несколько дней путешественники ехали по равнинам Лангедока, затем, вступив в Дофинэ и пространствовав некоторое время среди тор этого романтического края, вышли из экипажей и начали восхождение по Альпам. Здесь перед ними открылись такие дивные картины, что их не описать никакими красками. Воображение Эмилии было так поражено новыми изумительными зрелищами, что иногда они вытесняли даже мысли о Ва-ланкуре, хотя в большинстве случаев, напротив, еще живее воскрешали его образ перед ее духовными очами. Она вспоминала виды в Пиренеях, которыми они любовались вместе, думая, что ничто на свете не сравнится с их величием. Как бы она желала теперь высказать другу свои новые чувства, по поводу этих чарующих картин, как желала бы, чтоб и он разделил ее восторг! Она старалась при этом угадывать его замечания и почти воображала, что он тут, с нею. Она как будто вознеслась в какой-то новый мир, оставив внизу все пустые тревожения, все мелочные чувства: теперь в ее душе царили одни лишь высокие, благородные помыслы, расширяя ее понятия и одухотворяя ее сердечные чувства.

С каким ощущением упоения и нежности встретилась она мыслями с Валанкуром в обычный час солнечного заката, когда, бродя в горах, она наблюдала пышное светило, опускающееся за вершины, окрашивая своими последними лучами снеговые пики; вслед затем торжественный мрак спустился над землею и, когда потухла последняя искра света, Эмилия отвела глаза свои от запада почти с такой же грустью и сожалением, какое испытываешь при разлуке с возлюбленным другом. Это настроение еще усиливалось распространяющимся мраком и смутными звуками, которые слышатся только во тьме, делая тишину еще более жуткой — шелест листьев, легкий вечерний бриз, дующий после солнечного заката, или журчание далекого потока.

В эти первые дни путешествия по Альпам местность представляла поразительную смесь пустынности и населенности, культуры и уединения. На краю грозных пропастей, в углублениях меж утесов, над которыми часто носились облака, виднелись селения, шпицы и башни монастырей, между тем как виноградники и зеленые пастбища расстилались яркими пятнами у подножия отвесных глыб мрамора и гранита, вершины которых, поросшие альпийским кустарником или совершенно оголенные, громоздились одна над другой, пока не завершались снеговым пиком, откуда с грохотом низвергался в долину пенящийся поток.

Снег еще не растаял на вершинах Мон Сени, через проход которого направлялись наши путешественники; но, глядя на светлое озеро и расстилающуюся внизу равнину, окруженную дикими скалами, Эмилия представляла себе в воображении, как должна быть прекрасна эта равнина летом, когда стают снега и пастухи погонят стада из Пьемонта пастись на эти цветущие аркадские плоскогорья.

По мере того, как путешественники спускались в сторону, обращенную к Италии, пропасти становились все круче, а виды еще более дикими и величественными. Эмилия с наслаждением наблюдала различные эффекты света и теней на снеговых вершинах в течение дня — утром они алели нежным розовым сиянием, в полдень горели ярким блеском, а вечером окрашивались пурпуром заката. Следы присутствия человека в этих местностях можно было заметить только в какой-нибудь незатейливой хижине пастуха или охотника,

или в примитивном мостике, перекинутом через поток, для более удобной охоты за сернами в горах, — не будь этих признаков, можно было бы подумать, что только дикие козы да волки отваживаются бродить над страшными пропастями и по головоломным кручам.

Однажды, когда Эмилия смотрела на один из таких опасных мостиков, с пенящимся под ним водопадом, в голове ее сложилось следующее стихотворение.

СОНЕТ

Усталый путник карабкался весь вечер
По грозным кручам Альп,
По краю страшных пропастей он пробирался,
Где притаилась мрачная опасность.
Вдруг видит он из-за деревьев
Луною озаренную избушку пастуха.
Но между ним и нею бездна страшная зияет.
Через которую перекинута утлая сосновая доска.
В ужасе немом стоит он на краю,
Глядит: внизу клубится, пенится поток
С ужасным, диким ревом —
Он все еще колеблется, дрожит, трепещет,
Боится и назад вернуться и отважиться вперед.
В отчаянии наконец он пробует ногой шатающуюся доску,
Дрожащая нога скользит, он вскрикивает, падает вниз и
погибает!

Очнувшись среди облаков, Эмилия часто с безмолвным трепетом наблюдала, как они белыми волнами клубились под ее ногами; в первые минуты, закрывая густой пеленой все находящееся внизу, они образовали как бы отдельный мир хаоса; а иногда они растягивались тонким слоем и сквозь них просвечивали уголки пейзажа — поток, с непрерывным грохотом катящийся вниз по скалистым пропастям, исполинские белеющие снегами утесы или темные макушки сосновых лесов на полугоре. Но трудно описать восторг Эмилии, когда она, пройдя сквозь целое море паров, впервые увидела Италию; стоя на краю одного из грозных утесов, нависших над Мон Сени и охраняющих вход в этот волшебный край, она глянула сквозь разорванные облака и увидела у ног своих зеленеющие долины Пьемонта, а далее равнины Ломбардии, тянущиеся до краев горизонта, где смутно вырисовывались башни Турина.

Суровое величие окружающих зрелищ — область гор, громоздящихся вверх, глубокие пропасти внизу, полнующиеся темные леса дубов и сосен, стремительные потоки, ниспадающие между скал, в иные минуты похожие на облака тумана, а в другие на ледники, — все эти подробности казались еще величественнее и суровее рядом со спокойной красотой итальянского ландшафта, расстилающегося внизу на необозримое пространство, до самого горизонта, где небо с землей как бы стушевывалось общим голубоватым тоном. Г-жа Монтони всякий раз пугалась и вздрагивала, заглядывая вниз в пропасти, по краю которых носильщики портшеза пробирались с легкостью и проворством серн. Эмилия также трепетала при виде этих крутых обрывов, но к страху ее примешивались и другие чувства, более отрадные — восхищение, удивление и какое-то благоговение, никогда еще не испытанное ею.

Между тем носильщики, дойдя до какой-то площадки, остановились отдыхать; путешественники расположились на скале; Монтони с Кавиньи затеяли между собою спор относительно того, где Ганнибал переправлялся через Альпы. Монтони утверждал, что в Мон Сени, а Кавиньи стоял за Сен Бернарский проход. Слушая эти разговоры, Эмилия живо представляла себе в своем воображении все бедствия, вынесенные полководцем в этом опасном походе. Она мысленно видела перед собой ряды войск, тянущиеся между ущельев и по грозным кручам, ночью озаряемые светом костров или факелов. Ей чудилось

поблескивание оружия в полумраке, чудились знамена, развевающиеся над ратью, между тем как отдаленный звук труб разносится эхом в ущельях и на каждый сигнал мгновенно отвечает бряцание оружия. Она с ужасом представляла себе, как горцы, засевшие на скалах вверху, бросали в войска обломки камней, как солдаты и слоны обрывались и падали в глубокие пропасти; ей даже казалось, будто она слышит грохот падающих камней; но вот фантастические ужасы наконец уступали действительности, и она со страхом убеждалась, что сама стоит на той головокружительной высоте, откуда падали, как ей представлялось, полчища Ганнибала.

Тем временем г-жа Монтони, поглядывая вниз на равнины Италии, мечтала о великолепии дворцов и замков, подобных тем, которыми она будет владеть в Венеции и Апеннинах, и в своих грезах уже представляла самое себя какой-то царствующей принцессой. Успокоившись от тревог ревности, мешавших ей принимать у себя тулузских красавиц, она решила теперь устраивать в своем доме концерты, хотя сама не обладала ни слухом, ни музыкальностью, и «*conversazione*», хотя не имела никакого таланта вести интересный разговор. Главной ее целью было все-таки затмить веселостью своих вечеров и пышностью ливрей всю венецианскую знать. Эти блаженные мечтания несколько омрачались, когда она вспоминала о своем супруге, который, хотя и не прочь был пользоваться выгодами этих приемов, однако всегда относился презрительно к легкомысленному светскому чванству; но вслед затем она успокаивалась, соображая, что ему лестно будет щегольнуть в родном городе среди своих друзей тем богатством и великолепием, каким он пренебрегал во Франции, — и опять она предавалась сладким мечтаньям.

Путешественники, спускаясь с гор в долину, покидали область зимы и попадали в страну, где царила чудная весна. Небо уже принимало прекрасный оттенок, свойственный одной Италии; зеленые лужайки, благоухающие кустарники и цветы весело выглядывали между скал, иногда свешиваясь бахромой с суровых вершин и красуясь пучками по их склонам. На дубах и рябинах лопались почки и превращались в листву; по мере того как наши путники спускались ниже и ниже, кое-где в солнечных уголках стали показываться апельсины и миртовые деревья; желтые цветочки их выглядывали из темной зелени, смешиваясь с пурпурными цветами граната и более бледными цветами толокнянки, растущей по верхнему краю скал; а еще ниже расстилались пастбища Пьемонта, где ранние стада щипали роскошную весеннюю травку.

Река Дория, берущая начало в вершинах Мон Сени, на протяжении многих миль низвергавшаяся через пропасти, теперь стала принимать уже менее бурный, хотя и не менее романтический характер, приближаясь к зеленым долинам Пьемонта, в которые наши путешественники спускались с наступлением вечера. Опять Эмилия очутилась среди спокойной красоты пастушеской природы, среди стад на склонах, поросших зелеными рощами и красивым альпийским кустарником. Зелень пастбищ, пестреющая нежными весенними цветами, среди которых были желтые ранункулы и душистые лиловые фиалки, была так прекрасна, как Эмилии еще никогда не доводилось видеть. У нее почти являлось желание самой сделаться пьемонтской поселянкой, чтобы жить в одной из прелестных, обвитых зеленью хижин, выглядывающих из-за скал, и беспечно проводить часы среди романтических долин. Она со страхом думала о тех часах, днях и месяцах, которые ей придется прожить под властью Монтони, — о прошлом же она вспоминала с горем и сожалением.

Часто грезился ей образ Валанкура: то она видела его стоящим на вершине скалы и с восторгом любующимся на живописные окрестности; то представляла она себе, как он задумчиво бродит по долине внизу, часто останавливаясь и восхищаясь красотами природы, с лицом, горящим поэтическим вдохновением. Когда она вспоминала при том, какое расстояние и какой долгий период времени будет разлучать их, и что с каждым ее шагом будет увеличиваться это расстояние, сердце ее сжималось от боли, и окружающая красота уже не восхищала ее.

Поздно вечером путешественники достигли небольшого старинного городка Сузы, в прежнее время охранявшего этот проход Альп, ведущий в Пьемонт. Со времени изобретения артиллерии укрепление высот, господствующих над проходом, сделалось бесполезным. Но эти романтические высоты при лунном свете, с расстилающимся внизу городом, окруженным стенами и сторожевыми башнями, частью освещенными, представляли очень интересное для Эмилии зрелище. Здесь они остановились на ночлег в гостинице, которая не могла похвастаться большими удобствами; но путешественники сильно проголодались, поэтому самые незатейливые блюда показались им вкусными, и от утомления заснули крепким сном на жестких постелях. Здесь впервые Эмилия услышала образчик итальянской музыки. Сидя после ужина у окошка и наблюдая эффекты лунного освещения, озарявшего далекие горы, вспоминая при том, что в точно такую же ночь она сидела с отцом и Валанкуром на одном из утесов Пиренеев, она услышала снизу томные звуки скрипки; выразительная мелодия как раз гармонировала с нежными чувствами, которым она предавалась в эту минуту — эти звуки удивили и восхитили ее. Кавиньи, также подошедший к окну, улыбнулся ее изумлению.

— В этом нет ничего необычайного, — сказал он, — то же самое вы услышите чуть не в каждой гостинице по пути. Это играет, кажется, кто-то из родственников нашего хозяина.

Слушая музыканта, Эмилия думала, что он играет не хуже профессора, исполнение которого она когда-то слыхала. Под влиянием сладких, жалобных звуков она скоро погрузилась в задумчивость, которая была неприятно прервана насмешками Кавиньи и голосом Монтони, отдававшего распоряжение, чтобы экипажи были поданы завтра рано поутру; к обеду он рассчитывал поспеть в Турин.

М-м Монтони чрезвычайно радовалась тому, что опять очутилась на плоской, ровной местности; пространно расписывая все ужасы, испытанные ею в горах, и совершенно забывая, что она не сообщает ничего нового своим спутникам, разделявшим эти опасности, она выражала надежду, что скоро совсем избавится от этих «противных гор».

— Ни за какие блага в мире, — прибавляла она, — я не согласилась бы еще раз переправляться через горные проходы.

Жалуясь на усталость, она скоро удалилась на покой; Эмилия также ушла в свою комнату; от Аннеты, горничной тетки, она узнала, что Кавиньи не ошибался насчет музыканта, с таким чувством игравшего на скрипке, — оказалось, что это сын одного крестьянина из соседней долины.

— Он собирается на венецианский карнавал, — добавила Аннета, — он мастер играть на скрипке и заработает там пропасть денег; а теперь как раз начинается карнавал. А я бы на его месте с радостью осталась жить среди здешних лесов и холмов; здесь лучше, чем в городе. Слыхали вы, барышня, — говорят, в Венеции мы уже не увидим ни холмов, ни лесов? город-то стоит среди моря.

Эмилия согласилась со словоохотливой Аннетой, что молодой человек делает неудачный выбор, и тайне не могла не пожалеть, что он меняет скромную жизнь среди невинной, безыскусственной природы на испорченность и суету роскошного города.

Оставшись одна, Эмилия долго не могла заснуть; покинутая родина, образ Валанкура и обстоятельства, сопровождавшие ее отъезд, с поразительной живостью восставали в ее воображении: она рисовала себе картины мирного счастья среди величественной простоты природы и со скорбью думала, что, вероятно, ей уже никогда не доведется наслаждаться этим счастьем. Потом ей опять пришел на ум молодой пьемонтец, так легкомысленно играющий своей судьбой; желая хоть на минуту отвлечься от своих собственных гнетущих печалей, она занялась сочинением следующей пьесы:

ПЬЕМОНТЕЦ

Веселый юноша! чей смех
И звонкая свирель разносятся в горах.
Зачем ты покидаешь хижину свою, леса и доли,

Друзей любимых ради корыстной наживы?
Он направляется в Венецию со скрипкой,
Он хочет счастья попытать!
Пленяет золото его мечты.
Однако в своей незатейливой деревенской песенке он часто
поминает дом родной
И, взобравшись на последнюю вершину, стоит как вкопанный.
Если виднеется избушка среди зеленых сосен,
Знакомые леса и светлый ручеек, зеленые луга,
Он вспоминает о покинутых друзьях, родных,
О деревенских играх, плясках, хороводах;
Он слышит шелест тростника, приносимый ветром,
И его грустные вздохи вторят отдаленным звукам.
Так юноша идет, пока не опустился мрак
И местность скрыл от его утомленных глаз.
Зачем же покидать любимые долины?
Чужое золото и пышность не могут прельстить его сердце —
Нет! счастливые долины! ваши дикие скалы
По-прежнему услышат звонкую свирель его,
Когда погонит он стада свои к прозрачному ручью.
Прочь, золото Венеции! чары твои нарушены!
И вот он быстрыми шагами возвращается назад.
Где среди роши светится в избушке огонек
И направляет его к прежней безмятежной жизни.
О, юноша веселый, снова смех твой
И звонкая свирель в горах пусть раздаются!
Хижина твоя и лес, и доли
И милые друзья побольше радости тебе доставят,
Чем золото Венеции богатой.

ГЛАВА XV

*Титания: Не хочешь ли спокойно поплясать
Средь наших хороводов или взглянуть
На праздник наш при месячном сиянье? Пойдем...*
Сон в летнюю ночь

На другое утро чем свет путешественники выехали в Турин. Роскошная равнина, простирающаяся от самой равнины Апеннин до этого великолепного города, не прерывалась в то время, как теперь, аллеей насаженных деревьев, тянувшейся на целых девять миль, но зато плантации оливковых, тутовых и пальмовых деревьев, перевитые виноградом, перемежались с пастбищами, по которым струился быстрый По, по выходе из гор, навстречу тихой реке Дории, сливаясь с нею у Турина. По мере того, как путешественники приближались к городу, Альпы, видимые на расстоянии, стали являться во всем своем грозном величии, громоздясь гряды одна над другой; наиболее высокие вершины окутывались хмурыми тучами, и то скрывались из виду, то опять выступали торчащими шпицами, между тем как нижние утесы самых причудливых очертаний окрашивались голубыми и лиловыми тонами, которые, переходя от света к тени под влиянием освещения, как будто открывали глазу все новые картины. К востоку тянулись равнины Ломбардии, с башнями Турина, возвышающимися в отдалении, а еще далее Апеннины замыкали горизонт. Эмилию поразило великолепие этого города, с рядами дворцов и церквей, идущими в разные

стороны от центральной площади, причем из каждого проспекта открывался вид на далекие Альпы или Апеннины. Она не видела ничего подобного во Франции и даже не воображала себе, что есть на свете такая роскошь.

Монтони, часто бывавший в Турине, не интересовался никакими видами; он не соглашался даже исполнить просьбу жены, желавшей осмотреть некоторые из дворцов. Остановившись лишь на короткое время отдохнуть и закусить, они вскоре выехали дальше, в Венецию. Со своими спутниками Монтони все время держал себя важно и даже надменно; к жене он относился особенно сдержанно, и в этой сдержанности сквозило не столько уважение, сколько высокомерие и неудовольствие. На Эмилию он не обращал никакого внимания. С Кавиньи они беседовали больше о политике или о военных делах — вопросах особенно жгучих в те времена, когда смута волновала край. Эмилия замечала, что при упоминании о каком-нибудь смелом подвиге глаза Монтони теряли их обычную угрюмость и метали молнии, но Эмилии думалось, что в его зоре светится скорее злорадство, а не пламя отваги, что, однако, было бы под стать его величественной рыцарской осанке; по части осанки Кавиньи значительно уступал ему, несмотря на изящные, галантные манеры.

Вступив в Миланскую область, мужчины сменили свои французские шляпы итальянскими пунцовыми шапками. Эмилия не без удивления заметила, что Монтони носил на своей шапке военный плюмаж, тогда как у Кавиньи было только перо, обыкновенно носимое на таких шляпах. Она заключила, что, вероятно, Монтони носит это военное отличие ради удобства, чтобы безопасно проехать по местности, наводненной в то время отрядами войск.

На прекрасных равнинах то и дело встречались следы опустошения. Возделанные поля были потоптаны кавалерией. Виноградные лозы лежали оборванные, и даже тутовые рощи были местами вырублены неприятелем на костры и для поджигания деревень и сел. Эмилия со вздохом отводила глаза от этих печальных следов разрушения и устремляла взор на Альпы Гризона, окаймлявшие равнину с севера, как бы маня преследуемого человека в верное убежище среди своих суровых пустынь.

Путешественники часто могли наблюдать отряды войск, двигавшиеся в отдалении; в маленьких гостиницах по дороге они испытывали недостаток в продовольствии и разные другие неудобства — неизбежные последствия междоусобной войны. Но они не имели причин тревожиться за свою непосредственную безопасность и достигли Милана почти без препятствий. Там они даже не остановились, чтобы осмотреть великолепный город, а главное обширный собор, тогда еще только строившийся.

За Миланом местность представляла следы еще большего разорения; и хотя теперь все как будто успокоилось, но это был покой смерти, вроде того, что разливается по чертам умирающего, еще искаженным последней судорогой.

Только проехав через северную границу Миланской области, наши путники увидели опять войска, впервые после Милана. Вечером показались вдали извивающиеся по равнине колонны войск и оружие их блестело при последних лучах заходящего солнца. Когда колонна проходила по известной части дороги, сдавленной между двух холмов, то на небольшом пригорке можно было видеть командиров верхом, указывающих направление и подающих сигналы отряду; несколько офицеров ехали верхом вдоль линии и направляли ее куда следует, сообразуясь с сигналами, подаваемыми сверху, а другие, отделясь от авангарда, уже вышедшего из прохода, скакали по равнине, немного вправо от отряда.

Подъехав ближе, Монтони, судя по султанам на их шапках и знаменам отряда, пришел к заключению, что это войско под предводительством знаменитого военачальника Утальдо, с которым, как и с некоторыми другими предводителями, он был лично знаком. Поэтому Монтони приказал каретам остановиться у края дороги, чтобы выждать приближение войск и пропустить их. Теперь уже раздавались слабые звуки военной музыки, потом звуки эти стали усиливаться, по мере того, как войска подходили ближе. Эмилия различала барабаны и трубы, вместе со звоном кимвалов и оружия, мерно звывавшего под такт маршу.

Монтони, удостоверившись, что это действительно были отряды победоносного

Утальдо, высунулся из окна кареты и приветствовал их полководца, махая шапкой; на это приветствие командир отвечал, подымая копьё вверх и затем быстро опуская его; некоторые из офицеров, ехавшие вольно, на расстоянии от войск, также подъезжали к экипажу и здоровались с Монтони, как со старым знакомым. Скоро подъехал и сам полководец; его отряд остановился, пока он дружески разговаривал с Монтони. Из его слов Эмилия поняла, что победоносное войско возвращается домой в свое княжество; многочисленный обоз, сопровождавший отряд, заключал в себе богатую добычу, отнятую у неприятеля, раненых солдат, а также пленных, захваченных в бою; эти пленные подлежат выкупу, после заключения мира между соседними государствами. На другой день вождам надо было расстаться; каждый, забрав свою долю добычи, должен был вернуться с отрядом в свой замок. Поэтому сегодня вечером предстоял роскошный пир для празднования победы и для прощания между собой отдельных вождей.

В то время как офицеры разговаривали с Монтони, Эмилия с восхищением и некоторым страхом смотрела на их воинственные фигуры, гордую, благородную осанку, отличавшую дворян того времени, на их блестящие одежды, плюмажи, развевающиеся на касках, кольчуги с гербами, персидские шарфы и старинные испанские плащи. Утальдо, сообщив Монтони, что войско его расположится лагерем на ночь близ селения, лежащего на расстоянии нескольких миль, приглашал его повернуть назад и принять участие в их празднике, уверяя, что дамам постараются доставить всякие удобства; но Монтони отказался наотрез — он хотел в тот же вечер достигнуть Веронты; переговорив еще немного о состоянии края, лежащего по направлению этого города, они расстались.

Далее путешественники ехали без перерыва; через несколько часов после солнечного заката достигли Веронты, прекрасные окрестности которой Эмилии удалось увидеть только на другое утро, когда, покинув этот город на заре, они направились далее в Падую; там они сели на корабль, чтобы плыть по Бренте до Венеции. Здесь сцена совершенно изменилась; не видно было ни малейших следов войны, как в Миланской области; напротив — всюду царили мир и спокойствие. Зеленеющие берега Бренты представляли непрерывные картины красоты, веселости и роскоши. Эмилия с восторгом любовалась вилами венецианской знати, с прохладными портиками и колоннадами, осененными величественными тополями и кипарисами; на богатые плантации померанцевых деревьев, цвет которых наполнял воздух сладким благоуханием; на роскошные ивы, окунавшие свои легкие ветви в воды реки и защищавшие от солнечного зноя веселые группы гуляющих; по временам доносилась с берега музыка. Карнавал, очевидно, разлился от самой Венеции вдоль всей этой линии волшебных берегов; река оживлялась лодками, плывущими из города и полными народу в фантастических маскарадных костюмах, а к вечеру зачастую можно было видеть группы масок, танцующих под деревьями.

Между тем Кавиньи называл Эмилии имена знатных людей, владевших вилами, мимо которых они плыли, прибавляя к каждой фамилии легкие характеристики, более рассчитанные на то, чтобы позабавить ее остроумием, чем сообщить точные сведения. Эмилию иногда развлекали эти разговоры; но остроумие Кавиньи уже не забавляло г-жу Монтони, как бывало прежде: часто на нее находило серьезное и задумчивое настроение. Монтони вел себя, по обыкновению, сдержанно.

Легко себе представить восторг Эмилии, когда она впервые увидела Венецию, с ее островками, дворцами и башнями, подымавшимися из моря, в гладкой поверхности которого отражалось все великолепие этого волшебного города. Солнце, опускаясь на западе, окрашивало шафранным сиянием волны и высокие горы Фриули, окаймлявшие северные берега Адриатики; на мраморных портиках и колоннадах св.Марка играли роскошные вечерние краски и тени. Путешественники скользили по воде, и чем дальше, тем яснее обрисовывались перед ними величавые красоты города: его террасы, увенчанные воздушными, хотя величественными сооружениями, окрашенные в настоящую минуту пурпуром заката, казались каким-то волшебством вызванными из пучины морской, а не созданными руками простых смертных.

Вскоре солнце склонилось к горизонту и вечерние тени постепенно опустились над волнами, потом поползли вверх по склонам Фриульских гор, пока наконец не потухли последние лучи, еще горевшие на их вершинах, и вечерний лиловый сумрак не затянул их, как тонкой дымкой. Какое глубокое, невозмутимое спокойствие царило кругом! Казалось, природа отдыхала, — одни только тончайшие чувства души бодрствовали. Глаза Эмилии наполнялись слезами восторга, когда она окидывала взором необъятные небеса и прислушивалась к звукам какой-то торжественной музыки, издавек разливавшейся над волнами. Она слушала в немом очаровании, и никто из путешественников не осмеливался нарушить волшебства каким-нибудь вопросом. Звуки как бы росли в воздухе; барка скользила так плавно, что движение ее было незаметно и волшебный город точно плыл навстречу путешественникам. Теперь они уже различали женский голос, певший в сопровождении нескольких инструментов какой-то грустный, тихий мотив, с неподдельным чувством и выражением, — то в нем слышалась нежная мольба страстной любви, то звуки томной, безнадежной печали.

«Ах, — думала Эмилия, вздыхая и вспоминая Валанкура, — эти звуки выливаются прямо из сердца!»

Эмилия с пытливым любопытством оглядывалась вокруг. В глубоких сумерках, окутавших природу, можно было лишь смутно различать предметы, но на некотором расстоянии ей показалось вдруг, что она видит приближающуюся гондолу: хор голосов и музыкальных инструментов зазвенел в воздухе. То была дивная, торжественная гармония, словно ангельский гимн неся с высоты небес в тиши ночной! Вдруг пение замерло; казалось, невидимый хор опять поднялся на небо, — но вот оно раздалось с новой силой. Некоторое время мелодия дрожала в воздухе и опять потонула в безмолвии.

Глубокая тишина, наступившая вслед затем, была так же полна значения, как и замолкнувшая музыка. Ничто не нарушало ее в продолжение нескольких минут. Наконец раздался общий вздох, как бы в знак того, что слушатели освободились от волшебных чар. Однако Эмилия долго оставалась под обаянием тихой грусти, овладевшей ее душой. И только под впечатлением веселых, оживленных сцен, представившихся перед ними, когда барка подошла к площади св.Марка, наконец развеялась ее меланхолия. При бледном свете восходящего месяца, озарявшем террасу с ее портиками и великолепными аркадами, можно было видеть группы людей; легкие шаги, тихий звон гитар и музыкальные голоса разносились эхом под колоннадами.

Гондола с музыкой, слышанной ими раньше, проехала мимо баржи Монтони; множество других гондол сновали взад и вперед по морю, озаренному лунным светом, наполненные веселыми группами людей, наслаждавшихся прохладным вечерним бризом. В большинстве гондол была своя музыка, мелодия которой сливалась с плеском волн и шумом весел, мерно ударявших по искрящимся водам. Эмилия смотрела, слушала, и ей казалось, что все это какой-то волшебный сон. Даже г-жа Монтони была довольна. Монтони радовался возвращению в Венецию, которую он называл первым городом в мире, а Кавиньи был также веселее и оживленнее обыкновенного.

Барка направилась по Большому каналу, на котором стоял дом Монтони. И здесь перед восхищенными взорами Эмилии открылись такие прекрасные, величественные зрелища, каких ей никогда и во сне не снилось, — то были дворцы Сансовино и Палладия, пронесившиеся мимо них, как в панораме, по мере того как судно скользило по каналу. В воздухе стояли гармонические звуки, раздававшиеся с обоих берегов и с гондол на самом канале, между тем как группы масок танцевали на залитых луною террасах, как будто перенося зрителей в какое-то сказочное царство.

Барка остановилась перед портиком большого дома; оттуда выбежал навстречу слуга Монтони, и все общество тотчас же высадилось. Из портика они прошли по величественным сеням к мраморной лестнице, ведущей в салон, убранный с великолепием, поразившим Эмилию. Стены и потолок были украшены историческими и аллегорическими фресками; серебряные лампы, свешиваясь с потолка на таких же цепях, освещали комнату, пол которой

был устлан индийскими циновками, расписанными пестрыми красками и девизами; диваны и драпировки окон были из бледно-зеленого шелка и вышиты золотом, с такой же бахромой. Балконные двери выходили на Большой канал, и ветерок, освежая воздух, доносил в комнату смешанный гул голосов и музыкальных инструментов. Эмилия, принимая в соображение мрачный характер Монтони, с удивлением смотрела на роскошную обстановку его дома. Она вспоминала, что его называли человеком разорившимся. «Жаль, — думала она про себя, — что Валанкур не видит этих хором; он успокоился бы совершенно, убедившись, что все эти недобрые слухи — чистая выдумка».

Г-жа Монтони разыгрывала роль какой-то принцессы; но сам Монтони казался чем-то встревоженным и недовольным. Он позабыл даже исполнить долг вежливости — приветствовать жену в ее новом доме.

Вскоре по приезде он приказал подать гондолу и вместе с Кавиньи отправился из дому, чтобы принять участие в карнавальных увеселениях. Г-жа Монтони насупилась и впала в задумчивость. Эмилия, восхищенная всем, что видела, старалась оживить тетку, но г-жа Монтони не умела побеждать своих капризов и дурного расположения духа; в ее ответах обнаруживалось так много того и другого, что Эмилия отказалась от попыток развеселить ее и отошла к окну, чтобы позабавиться уличными сценами, столь для нее новыми и очаровательными.

Первым предметом, увлекшим ее внимание, была группа людей, танцевавших на террасе внизу, под звуки гитары и других инструментов. Девушка, игравшая на гитаре, и другая, махавшая над головой тамбурином, проходили, танцуя с такой воздушной грацией и искренним оживлением, что перед ними не устояла бы сама богиня сплина. За ними следовала группа масок; некоторые были переодеты гондольерами, другие менестрелями, третьи, наконец, — в каких-то фантастических костюмах. Они пели под аккомпанемент нескольких струнных инструментов. На небольшом расстоянии от портика певцы остановились, и Эмилия узнала слова Ариосто — о войнах мавров против Карла Великого и о страданиях Орlando; после этого размер стихов и мелодия сразу изменились и полились печальные строфы Петрарки. Волшебству впечатления способствовало все, что могли дать итальянская страстность и обаяние лунной ночи Венеции.

Эмилия невольно поддалась этой мечтательной грусти, из глаз ее закапали слезы, между тем как воображение перенесло ее далеко, во Францию, к Валанкуру. С каждым сонетом, полным чарующей печали, усиливались волшебные чары: с сожалением смотрела она, как музыканты удаляются, и прислушивалась к мелодии, пока последний звук не замер в отдалении. После этого она долго оставалась погруженной в задумчивость, обыкновенно навеваемую тихой музыкой; такое же состояние овладевает нами при виде прекрасного лунного пейзажа, при воспоминании о погибшем друге, или о горестях, с течением времени смягчившихся и перешедших в тихую грусть. Подобные картины действительно являются для души тем же самым, что впечатление от замолкнувшей прелестной музыки.

Скоро нечто другое привлекло внимание Эмилии: то были торжественные звуки труб, несшиеся издалека: заметив, что все гондолы поспешно выстраиваются вдоль террас, она накинула на голову покрывало и, выйдя на балкон, увидела вдали нечто вроде процессии, двигавшейся по каналу. По мере ее приближения трубы и другие инструменты стали сливаться в стройную мелодию. Словно из недр океана выступили сказочные божества города, на колышающихся волнах показался Нептун с Венецией в виде его супруги-королевы, окруженные тритонами и морскими нимфами. Фантастическое величие этого зрелища среди величавых дворцов казалось воплощением какой-то поэтической грезы, и причудливые образы, созданные в воображении Эмилии под влиянием этой процессии, сохранились долго после того, как она проплыла мимо. Эмилия старалась представить себе, каковы должны быть жизнь и забавы морской нимфы; в конце концов она замечталась до того, что ей почти захотелось сбросить с себя человеческий образ и кинуться в зеленую пучину морскую.

— Как приятно, должно быть, — думала она, — жить в беседках из коралла и в

хрустальных пещерах, на дне океана, вместе с веселыми сестрами-нимфами; прислушиваться к плеску струй над головами и к звучным раковинам тритонов! А после солнечного заката резвиться на поверхности волн, вокруг скал и вдоль пустынных берегов, куда задумчивый странник приходит грустить и мечтать! И вот я старалась бы размыкать его печаль сладкой музыкой и стала бы подносить ему в раковине нежные плоды, растущие вокруг Нептунова дворца!..

Тут ее отвлекли от грез прозаическим приглашением к ужину, и она не могла не улыбнуться, вспомнив о своих причудливых фантазиях и о том, как рассердилась бы г-жа Монтони, если б узнала, о чем она мечтала.

После ужина тетка ее долго не ложилась спать; Монтони все не возвращался, а Эмилия наконец удалилась на покой. Насколько ее восхищало великолепие гостиной, настолько порастил ее пустынный и запущенный вид полумеблированных покоев, через которые она принуждена была проходить, направляясь в свою комнату. По-видимому, эта анфилада когда-то пышных хором стояла необитаемой уже много лет. На стенах виднелись остатки ковровой обивки, на других стенах, расписанных фресками, сырость почти вытравила краски и рисунок. Наконец Эмилия достигла своей спальни — огромной высокой, пустынной, как и все другие, комнаты, с окнами, выходящими на Адриатическое море. В первую минуту на нее нахлынули грустные, мрачные впечатления; но вид Адриатики несколько рассеял ее; желая поскорее избавиться от удручающих впечатлений, она села за стол и попыталась уложить в поэтической форме свои причудливые грезы на тему о морских нимфах.

МОРСКАЯ НИМФА

Глубоко, глубоко в пучине морской
Живу я среди гулких струй.
Играю, резвлюсь у подножия скал,
Что грозно торчат над поверхностью волн.
Там, в пещерах сокровенных,
Я слышу рокот рек могучих
И направляю их течение сквозь Нептуновы волны
Оплодотворять зеленые берега земли.
Я посылаю прохладные потоки
Тем нимфам, что живут в реках, озерах и ручьях.
Сквозь рощи и обширные луга
И в дикие, живописные уголки.
Лишь только вечереет.
Нимфы пляшут на цветущих берегах
И в песнях имя мое восхваляют.
Венки сплетают и под водою мне благодарность воссылают.
Люблю в беседках я лежать из алого коралла
И слышать рокот волн над головой.
Сквозь слой воды следить за ходом гордых кораблей
И бегом облаков веселых.
Порою летом в тихий час полночный.
Когда волна плещется о кузов корабля.
Люблю я проявлять свои волшебные чары,
Всплывая на поверхность луною озаренных волн.
Когда весь экипаж погрузится в сон,
А юноша влюбленный в задумчивости стоит,
Облокотясь о борт, я нашептываю
Ему такие напевы, каких не знает ни единый смертный!
Его пытливый взор скользит по темным волнам,
Но видит длинные лишь тени корабля.

Вверху луна в лазурных небесах...
Очарованный, он слушает, трепещет.
Порою голос мой звучит одной лишь нотой
Мелодичной — она звенит и угасает!
Я пробуждаю звуки гулких раковин,
И вот кругом вдруг раздается громкий хор!
Юноша дрожит и, песнью очарован.
Созывает весь экипаж; матросы молча нагибаются
Вниз над высоким бортом, но тщетно прислушиваются -
Песнь моя умолкла и чары все пропали!
В лесистой бухте среди гор,
Где на якоре стоит стройный корабль,
В час сумерек с веселыми тритонами
Я выхожу плясать в пору прилива.
С сестрами-нимфами люблю резвиться я.
Покуда солнце не взойдет над морем;
Тогда проворно вниз спешим в свой дворец хрустальный
Глубоко там, в морской пучине, среди лесов Нептуна.
Под прохладными аркадами и беседками из трав
Мы проводим томительные полуденные часы
Там, куда не заглядывает солнца луч,
И плетем из морских цветов гирлянды.
Мы поем свои мелодические песни
В сопровождении гулких раковин
И журчания течений, что скользят проворно
По нашим залам светлым.
Там бледный жемчуг, голубой сапфир,
Рубин кровавый и зеленый изумруд —
Все камни самоцветные из купола сияют.
Хрустальные колонны высятся со всех сторон;
Когда грозная буря собирается над морскою бездной
И раздаются раскаты грома,
Я взбираюсь на какой-нибудь утес высокий
И оттуда наблюдаю взбаламученное море.
И вот вдали, качаясь на волнах свирепых,
С усилием подходит корабль одинокий, вздымая пену белую.
И низко пригибая к волнам паруса и мачты.
Тогда бросаюсь я в кипучую пучину океана
И при вспышках молнии
Направляю судно к мирным берегам,
И сразу умолкают стоны моряка...
Но если я нечаянно не подспею,
Чтобы спасти корабль от гибели,
Я созову своих дельфинов
И прикажу им нести утопающего туда,
Где в океане виднеется далекий остров.
Несчастных грусть я скоро утешаю.
Проносясь по пустынным берегам.
Тихими песнями, которые слабо доносятся до их слуха
В промежутках, когда затихает бури вой.
И песнь моя заводит их в грустные рощи.
Шумящие у берегов пустынных моря.

Там зреют сладкие плоды, прохладные журчат ручьи.
Густая роща доставляет им убежище от бури.
И духи воздуха, послушные
Моему властному голосу, который они так любят,
На облаках рисуют веселые видения,
И в отдалении раздаются сладкие мелодии.
Вот так я коротать помогаю им одинокие часы,
Успокаивая сердце несчастных, потерпевших крушение,
До тех пор, пока утихнет буря
И на востоке заалееется заря.
За все эти проделки Нептун порой привязывает меня крепко
К скалам внизу коралловою цепью,
Покуда не минует буря.
Тогда утопающие тщетно взывают о помощи.
Кто бы вы ни были, если любите мои песри,
Приходите, когда закат окрасит волны,
На тихие пески, где резвятся феи.
Там люблю я жить в студеных волнах.

ГЛАВА XVI

*Он наблюдателей к проникает
Дела других насквозь пытливым взором;
Не любит зрелищ, музыки не терпит,
Смеется редко, и его улыбка
Как будто бы насмешку выражает
Над ним самим, презрение к уму,
Который до улыбки снизошел.
Такие люди вечно беспокойны:
Они не терпят, если кто-нибудь
Стоит кх выше, потому — опасны.*
Юлий Цезарь

Монтони с приятелем вернулись домой поздно, уже когда утренняя заря окрасила алым цветом волны Адриатики. Веселые группы, протанцевавшие всю ночь под колоннадами св.Марка, рассеялись как сонмы духов. Монтони был охотник до иных развлечений, он не любил легких светских забав, — ему были больше по душе страсти пылкие, волнующие. Препятствия и бури жизни, обыкновенно разрушающие счастье людей, в нем, напротив, возбуждали и укрепляли душевные силы и давали ему высшие наслаждения, на какие он только был способен. Без какой-нибудь цели, захватывающего интереса жизнь казалась ему сонной, пресной, и за отсутствием предметов истинного интереса он заменял их искусственными возбуждениями, пока это не обращалось у него в привычку. Такого же рода была привычка к азартной игре, которую он усвоил, томясь бездействием, и которой затем предавался страстно. В этом занятии он провел и эту ночь вместе с Кавиньи и кружком молодых людей, не столько знатных и родовитых, сколько богатых и порочных. В сущности, Монтони презирал этих пустых, бездарных юношей, вдобавок с порочными наклонностями, и водил с ними компанию только для того, чтобы сделать их орудиями для достижения своих целей. Впрочем, некоторых из них, более умных и способных, Монтони приблизил к себе, но даже и с ними обращался несколько свысока. Эта надменность действовала угнетающим образом на слабых, а в людях более сильных возбуждала жгучую ненависть. Разумеется, у Монтони было много заклятых врагов; но сила их ненависти именно доказывала степень его власти. А так как власть была главной целью его жизни, то он больше гордился этой

ненавистью, чем гордился бы любовью окружающих. Чувство столь спокойное, как уважение, он глубоко презирал и готов был бы презирать самого себя, если бы счел себя способным ценить уважение к своей собственной личности.

В числе этих немногих людей, которых он отличал в этом кружке, были синьоры: Бертолини, Орсино и Верецци. Первый был человек веселого нрава, с сильными страстями, легкомысленный, немного сумасброд, но вместе с тем великодушный, мужественный и доверчивый. Орсино был сдержан, надменен и склонен к властолюбию. Нрав он имел жестокий и подозрительный, отличался обидчивостью и неумолимой мстительностью; хитрый и ловкий, — он был стоек и неутомим в достижении намеченных целей. Он прекрасно владел своим лицом и своими страстями, — впрочем, страстей у него почти не было, кроме разве гордости, мстительности и скупости, и удовлетворяя им, он не останавливался ни перед чем, да и вообще не признавал препятствий в осуществлении своих замыслов. Этот-то человек и был главным фаворитом Монтони. Верецци, не лишенный дарований, обладал пылкой фантазией и был рабом разнообразных страстей. Веселый, сладострастный и смелый, он, однако, не имел ни выдержки, ни истинного мужества и был низко эгоистичен во всех своих стремлениях. Падкий до интриги и всегда готовый верить в успех своих происков, он столь же быстро отказывался не только от своих собственных планов, но и от планов, заимствованных у других. Гордый и стремительный, он не признавал никакого подчинения; однако те, кто изучил его характер и наблюдал прихотливость его страстей, могли водить его на помочах, как малого ребенка.

Таковы были друзья, которых Монтони ввел в свой дом и пригласил к своему столу на другой же день по приезде в Венецию. В числе гостей находился также венецианский вельможа, граф Морано, и некая синьора Ливона, которую Монтони представил жене, как знатную и замечательную женщину; утром она явилась приветствовать г-жу Монтони по случаю ее приезда в Венецию и была приглашена к обеду.

Г-жа Монтони с довольно кислой миной принимала приветствия синьоров. Она невзлюбила их уже за то, что они были приятелями ее мужа; она подозревала, что это они задержали его так поздно накануне; наконец она завидовала им, сознавая, как мало она имеет влияния на мужа, и была уверена, что он предпочитает их общество. Впрочем, знатность графа Морано до-ставляла ему некоторую внимательность с ее стороны, чего были лишены остальные гости. Ее надменное обращение и надутое лицо, а также экстравагантность ее наряда, — она еще не успела усвоить венецианские моды, — представляли разительный контраст с красотой, скромностью и простотой Эмилии, которая с большим любопытством, чем удовольствием, наблюдала собравшихся гостей. Красота и обворожительное обращение синьоры Ливоны, однако, невольно привлекли ее внимание; прелесть ее разговора и выражение кроткой приветливости на лице венецианки пробудили в сердце Эмилии долго дремавшую в нем симпатию.

Чтобы подышать вечерней прохладой, все общество село в гондолу Монтони и отправилось кататься на взморье. Алое сияние заходящего солнца еще окрашивало волны и горело на западе; но меланхолический свет заката постепенно погасал, а в темной синеве неба уже стали загораться звезды. Эмилия сидела в грустной задумчивости. Гладкая поверхность воды, по которой скользила гондола, трепетавшие в ней отражения — второе небо и звезды, прозрачные очертания башен и портиков, в совокупности с тишиной вечерней, прерываемой только плеском воды да звуками отдаленной музыки, все это возбуждало восторг и душевное умиление. Прислушиваясь к мерным ударам весел и к отдаленным звукам, приносимым бризом, она думала о покойном отце и о Валанкуре, и на глазах ее навертывались слезы. Взошла луна, и лучи ее с нежностью коснулись серебристым светом ее лица, отчасти затененного плотной черной вуалью. Чертами она напоминала Мадонну, а выражением — Магдалину: поднятые вверх глаза и слеза, сверкавшая на щеке, довершали сходство.

Последние звуки далекой музыки замерли в воздухе, так как гондола далеко ушла в открытое море, и общество пожелало собственной музыки. Граф Морано, сидевший возле

Эмили и некоторое время молча наблюдавший ее, схватил лютню и ударив по струнам рукой артиста, запел красивым тенором следующее рондо, проникнутое нежной грустью:

РОНДО

Как луч серебряный, что дремлет
На трепетной волне,
Как бриз, что слегка вздувает
На лодке парус горделивый.
Как ропот тихого прибоя,
Умирающего у далеких берегов,
Или песня тихая, тающая в воздухе.
Так нежен вздох, несущийся из моей груди.
Любовь моя верна, как волна лучам зари,
Верна, как парус ветерку.
Верна, как душа обаянию музыки,
Или как музыка Венеции морям.
Нежна, как луч серебряный, что дремлет
На трепещущей груди Океана;
Да, так нежна, так преданна моя любовь,
Нежна и преданна тебе!

Каденца, составлявшая переход от последней строфы к повторению первой, чудные модуляции его голоса, сила и выразительность исполнения обнаруживали в нем истинно художественный вкус. Кончив, он передал лютню Эмили, и та, не желая навлечь на себя подозрения в аффектации, тотчас же начала играть и петь. Она выбрала грустную народную песенку родного края и пропела ее с очаровательной простотой и чувством. Знакомая мелодия так живо напомнила ей родину и тех лиц, в присутствии которых она, бывало, так часто слыхала эту песню, что душа ее переполнилась, голос задрожал, оборвался и струны зазвенели под ее пальцами странным диссонансом. Устыдившись, однако, своего волнения, она вдруг перешла на мелодию такую веселую и удалую, что, казалось, видишь перед собой танцующих и слышишь их топот. — «Брависсимо!» — вырвалось в один голос у присутствующих, и ее заставили повторить песню... В числе комплиментов и похвал, посыпавшихся на Эмилию по окончании пения, похвалы графа Мо-рано были всех восторженнее. Они не прекратились и тогда, когда Эмилия передала лютню синьоре Ливоне и та запела под аккомпанемент ее с чисто итальянским брио.

После этого граф, Эмилия и Кавиньи пели канцонеты, в сопровождении двух лютней и нескольких других инструментов. Порою инструменты замолкали и голоса из громкой гармонии вдруг понижались до тихого шепота; затем, после долгой паузы, звуки постепенно росли и крепились, инструменты вступали один за другим и наконец полный, могучий хор снова несся к небесам.

Между тем, синьору Монтони надоела музыка, и он мечтал о том, как бы ему избавиться от общества, или ретироваться с теми из гостей, которые пожелали бы заняться азартной игрой в казино. Воспользовавшись паузой, он предложил повернуть к берегу; это предложение охотно поддержал Орсино, тогда как граф и другие синьоры горячо протестовали.

Монтони ломал себе голову, как бы избавиться от обязанности занимать графа, единственного из гостей, с которым он считал нужным стесняться, и как ему добраться до берега; но случилось, что гондольер пустой лодки, возвращавшейся в Венецию, окликнул его людей. Не беспокоясь более о том, что он делает неловкость, Монтони ухватился за удобный случай и, поручив дам попечению своих друзей, уехал вместе с Орсино. В первый раз Эмили был неприятен этот отъезд, — его присутствие она считала как бы охраной, хотя сама не отдавала себе отчета, чего она боится,

Монтони высадился на площади св.Марка, поспешил в соседнее казино и вскоре очутился в компании игроков.

Между тем, граф Морано потихоньку послал своего слугу в лодке Монтони за своей собственной гондолой и музыкантами; не зная об этом, Эмилия скоро услышала веселую песню приближавшихся гондольеров, сидевших на корме, и увидела трепетное сияние озаренной луною зыби, потревоженной их веслами. Затем послышались музыкальные инструменты и стройная симфония наполнила воздух. Когда лодки встретились, гондольеры окликнули друг друга. Граф объяснил, в чем дело, и вся компания пересела в его гондолу, убранную с изящнейшим вкусом.

Пока все угощались фруктами и мороженым, оркестр, следовавший на некотором расстоянии в другой лодке, играл восхитительные мелодии, и граф, опять занявший место рядом с Эмилией, все время оказывал ей нежное внимание. По временам он тихим, страстным голосом нашепывал ей слова, значения которых она не могла понять. Чтобы уклониться от этих речей, она стала разговаривать с синьорой Ливоной; вообще обращение ее с графом было сдержанно и полно достоинства, но слишком кротко и робко, чтобы заставить его прекратить свое ухаживание. Граф никого не видел, никого не слышал, ни с кем не говорил кроме Эмилии; Кавиньи часто поглядывал на него с досадой, а Эмилия с беспокойством. Теперь она только одного желала — вернуться поскорее в Венецию; было уже около полуночи, когда гондолы пристали к площади Св.Марка, откуда неслись веселые голоса и громкие песни. Гул смешанных звуков был слышен уже издали на воде, и не будь яркого лунного света, освещавшего город с его террасами и башнями, иностранец мог бы поверить сказочным чудесам Нептунова царства и подумать, что этот шум раздается из глубины морской.

Общество высадилось на площади Св.Марка; под колоннадой было так весело, а ночь так прекрасна, что г-жа Монтони охотно согласилась на предложение графа прогуляться немного и затем отужинать всем вместе в казино. Если что могло рассеять неприятное чувство Эмилии, то именно веселость, роскошь и новизна окружающего зрелища: эти дворцы Палладио, эта толпа оживленных масок.

Наконец, все общество вошло в казино, убранное с необыкновенным вкусом, и где уже был приготовлен великолепный банкет. Заметив холодность Эмилии, граф задумал, ради своих интересов, снискать милость г-жи Монтони, что казалось делом вовсе не трудным. Поэтому он часть своих ухаживаний перенес от Эмилии на ее тетку, которая была этим крайне польщена и даже не смогла скрыть своего удовольствия; прежде чем общество разошлось по домам, графу удалось вполне овладеть расположением госпожи Монтони. Когда он обращался к ней, ее надутое лицо начинало сиять улыбками и на все его предложения она изъявляла согласие. Он пригласил ее и остальных гостей на завтрашний вечер пить кофе у него в ложе, в опере; Эмилия слышала, что тетка дала согласие, и тотчас же решила про себя под каким-нибудь предлогом отказаться сопровождать м-м Монтони.

Было уже очень поздно, когда велели подавать их гондолу. Выходя из казино, Эмилия поразилась, увидав солнце, подымавшееся из волн Адриатики, между тем как площадь Св.Марка все еще была полна гуляющими. Давно уже глаза ее слипались от сна; но теперь свежий морской бриз подбодрил ее и ей было бы жаль возвращаться домой, если б не было тут графа, исполнявшего долг вежливости, провожая их домой. Дома им сказали, что Монтони еще не возвращался; жена его с досадой ушла в свою комнату и избавила Эмилию от утомительной беседы с нею.

Монтони вернулся только утром, сильно не в духе, так как проиграл большую сумму, и прежде чем уйти спать, имел конфиденциальный разговор с Кавиньи, по виду которого на другой день можно было заметить, что предмет разговора был не из приятных.

Вечером м-м Монтони, весь день дувшаяся на своего супруга, принимала посещения нескольких венецианских дам, очаровавших Эмилию своей любезностью. Они держали себя с иностранками так мило и непринужденно, как будто давно были с ними знакомы. Разговор их был интересен, полон искренности и веселости. Даже г-жа Монтони, хотя она не ценила

такой беседы и со своей грубостью и самонадеянностью порою составляла контраст с их утонченностью, и та не могла не поддаться очарованию их общества.

В одну из пауз среди разговора, одна из дам, синьора Эрминия, взяла лютню и начала играть с непринужденной веселостью, нисколько не стесняясь многочисленным обществом. У нее был великолепный голос, выразительный и богатый разнообразными оттенками; однако она, по-видимому, не сознавала его качеств и вовсе не желала щегольнуть им. Она пела как поется, от полноты души, сидя с полуоткинутой вуалью, грациозно держа лютню под зеленью растений, возвышавшихся группой у одного из окон гостиной. Эмилия, отойдя в сторону, набросала в альбом ее фигуру в окружающей обстановке, и получалась интересная картинка: конечно, очень может быть, она не выдержала бы строгой критики, но в ней было так много вкуса и дарования, что она не могла не понравиться. Окончив рисунок, Эмилия поднесла его прелестному оригиналу; синьора Эрминия была в восторге от подарка и с очаровательной улыбкой уверяла Эмилию, что сохранит его на память о ее дружбе.

Вечером к дамам присоединился Кавиньи, но у Монтони оказались какие-то другие приглашения; они сели в гондолу и поплыли к площади Св.Марка, где опять сновала та же веселая толпа, что и накануне. Прохладный бриз, гладкое, как стекло, море, тихий плеск воды и сладкая мелодия далекой музыки; высокие портики и аркады, веселые группы, сновавшие перед ними, — все это вместе очаровывало и восхищало Эмилию, тем более, что ее не беспокоило в эту минуту назойливое ухаживание графа Морано.

В то время как она любовалась светом луны на зыби, колыхавшейся у стен Св.Марка, и прислушивалась к меланхолической песне какого-то гондольера, ожидавшего в лодке своего господина, — она умиленным сердцем переносилась в далекую родину, к друзьям, ко всему, что было дорого ее сердцу.

Пройдясь немного, общество расположилось у дверей казино; Кавиньи стал угощать дам кофе и мороженым; в эту минуту вдруг появился граф Морано. Своим нетерпеливым взором он тотчас же отыскал Эмилию; но та, как и вчера, все старалась, скромно уклониться от его ухаживаний и разговаривала только с синьорой Эрминией и другими дамами их кружка.

Было уже около полуночи, когда они отправились в оперу; Эмилия, вспоминая о роскошных картинах природы, только что виденных ею, почувствовала, насколько самое утонченное искусство ничтожно в сравнении с величием природы. Тут, в театре, сердце ее не было тронуто, слезы восхищения не навертывались ей на глаза, как в те минуты, когда перед нею расстилался необъятный океан, бесконечный свод небесный и когда она прислушивалась к рокоту волн и к нежной музыке, по временам сливавшейся с их плеском. Помня все это, она находила представление неувлекательным.

Она желала только одного, чтобы вечер поскорее кончился, стремясь избавиться от любезностей графа, а так как в наших мыслях противоположности часто притягивают друг друга, так и теперь Эмилия, глядя на графа, вспоминала о Валанкуре и глубоко вздыхала.

Несколько недель пронеслось в обычных увеселениях и визитах; не случилось ничего из ряда вон выходящего. Эмилию развлекала окружающая жизнь и нравы, столь не похожие на французские; одно отравляло ей все удовольствие: это назойливое присутствие графа Морано, слишком частое для того, чтобы она могла быть спокойна. Его манеры, лицо и обращение, которыми многие восхищались, быть может и понравились бы Эмилии, если б сердце ее не было всецело занято Валанкуром или если б граф не преследовал ее своим упорным ухаживанием, причем она подметила в его характере кое-какие черты, которые еще более восстановили ее против него.

Вскоре по прибытии в Венецию Монтони получил от г. Кенеля письмо, в котором он сообщал о смерти жениного дяди, последовавшей в его вилле на Бренте, и прибавлял, что вследствие этого события он поспешил вступить во владение этой усадьбой и прочей собственностью, отказанной ему по завещанию. Этот дядя был брат покойной матери г-жи Кенель. Монтони был ее родственником с отцовской стороны, и хотя он никоим образом не рассчитывал на это наследство, однако едва мог скрыть свою зависть по прочтении письма

Кенеля.

Эмилия с беспокойством замечала, что после отъезда из Франции Монтони даже не старался притворяться перед теткой; сперва он относился к ней с небрежностью, потом стал бесцеремонно третировать ее с грубой резкостью. Эмилия никогда не надеялась, чтобы слабости ее тетки могли ускользнуть от наблюдательности Монтони или что ее ум и наружность могли действительно нравиться ему. Поэтому этот брак в самом начале возбуждал в ней удивление; но раз выбор был сделан им свободно, то она все же никак не ожидала, что Монтони так скоро и так открыто начнет выказывать жене свое презрение. Дело в том, что Монтони, соблазнившись показным богатством г-жи Шерон, был теперь сильно разочарован ее относительной бедностью и крайне возмущен лукавством, с каким она старалась это скрыть перед свадьбой. Он рассчитывал обмануть ее, а теперь вдруг сам оказался обмороченным. И кем же? Хитрой женщиной, которую он в душе считал недалекой и для которой он пожертвовал своей гордостью и своей свободой, а между тем не спас себя от разорения, висевшего над его головой. Г-жа Мон-тони умудрилась укрепить на свое имя большую часть своего имущества, а остатки, совсем не соответствовавшие ожиданиям ж потребностям ее мужа, он обратил в деньги и привез с собою в Венецию, с целью еще немного поморочить публику и сделать последнее усилие поправить свои расстроенные обстоятельства.

Итак намеки, слышанные Валанкуром относительно характера и состояния Монтони, оказывались совершенно основательными, — но только время или случай могли раскрыть истину.

Не такова была г-жа Монтони, чтобы кротко сносить обиды, или по крайней мере встречать их с достоинством: она возмутилась против мужа со злобностью ж необузданностью ограниченной и дурно воспитанной женщины. Даже в душе она не хотела сознаться, что сама до известной степени навлекла на себя презрение мужа своим двоедушием; ей казалось, что она достойна только жалости, а Монтони кругом виноват перед нею. Имея весьма слабое представление о нравственных обязательствах, она признавала их силу лишь тогда, когда их нарушали другие, к ее невыгоде; ее тщеславию и так уже был нанесен чувствительный удар, когда она заметила презрительное отношение к ней мужа; теперь, в довершение всего, ей оставалось только узнать истину о его материальном положении. Хотя по обстановке его дворца в Венеции всякий беспристрастный человек мог догадаться о состоянии финансов его владельца, однако эта обстановка еще ничего не говорила тем, кто сознательно закрывал глаза на все неприятное. Г-жу Монтони прельщала роль какой-то принцессы, обладательницы дворца в Венеции и замка в Апеннинах. Сам Монтони иногда говорил, что собирается на несколько недель в свой Удольфский замок, чтобы осмотреть, в каком он состоянии, и собрать оброки. Оказывалось, что он там не был уже два года и за это время в замке оставался только старый слуга, которого он называл своим мажордомом.

Эмилия с радостью услышала о планах отъезда; от путешествия она ждала не только новых впечатлений, но и возможности избавиться от упорного ухаживания графа Морано. Она мечтала, что в уединении ей можно будет думать о Валанкуре и предаваться грустным воспоминаниям о «Долине» и о покойных родителях. Воспоминания эти были для нее дороже и отраднее, нежели блеск веселых собраний; они были как бы талисманом, утешавшим ее в горе и поддерживавшим в ней надежды на более счастливые солнечные дни.

Но граф Морано недолго ограничивался простым ухаживанием; он открылся Эмилии в своей любви и сделал ей предложение, через Монтони; тот отнесся к этому предложению сочувственно, но Эмилия отвечала отказом. Имея на своей стороне Монтони и обладая большим самомнением, граф не отчаивался в успехе. Эмилия была удивлена и крайне раздосадована его настойчивостью, после того, как она объяснила ему свои чувства с искренностью, не допускавшей никаких недоразумений.

Теперь граф проводил большую часть времени в доме Монтони, обедал, там почти каждый день и сопровождал г-жу Монтони и Эмилию всюду, куда бы они ни отправлялись,

и все это несмотря на неизменную холодность Эмилии; ее тетка напротив, по-видимому, не менее Монтони желала устроить этот брак и нарочно не пропускала ни одного собрания, где знала, что будет присутствовать граф.

К великому удивлению Эмилии, Монтони молчал о своем предполагаемом путешествии; он редко бывал дома — разве иногда оставался для графа и синьора Орсини; между ним и Кавиньи, очевидно, произошла размолвка, хотя Кавиньи продолжал жить у него в доме. С Орсини Монтони по часам запирался наедине; о чем бы ни беседовали они между собой, но, по-видимому, дело было важное, так как Монтони часто отказывался из-за этого от своего любимого занятия — игры и оставался дома весь вечер. В посещениях этого Орсини была также какая-то странная таинственность, и это возбуждало не только удивление, но и беспокойство у Эмилии; совершенно невольно она подметила в характере этого господина такие черты, которые он более всего желал скрыть. После его визитов Монтони всегда бывал задумчив и сосредоточен; он совершенно отрешался от всего окружающего, и лицо его делалось мрачным, даже страшным; порою глаза его метали пламя и все силы его души, казалось, сосредоточивались на одной какой-то заветной мысли. Эмилия с глубоким интересом и почти с трепетом читала эти движения души на его чертах: ее охватывало беспокойство при мысли, что она находится всецело во власти этого страшного человека. Но она ни единым намеком не выражала своих опасений г-же Монтони, которая пока ничего не замечала в своем супруге, кроме его обычной суровости и презрения к ней.

Второе письмо г.Кенеля извещало о его приезде с женой на виллу Миаренти; он писал также об удачном ходе того дела, для которого приехал в Италию, и в заключение убедительно звал Монтони, его жену и племянницу к себе в гости на новую виллу.

Около того же времени Эмилия получила письмо, очень для нее интересное и хоть на время успокоившее ее сердечную тоску. Валанкур, надеясь, что она еще не уехала из Венеции, послал ей письмо по почте, в котором твердил о своей неизменной, горячей любви. Он пробыл в Тулузе некоторое время после ее отъезда, чтобы насладиться грустной отрадой бродить по тем местам, где он привык встречать ее, а затем отправился к своему брату в имение, по соседству с «Долиной».

«Я часто езжу туда верхом, рано утром, — писал он, — чтобы обойти на досуге все места, где вы бывало гуляли, где я встречал вас и разговаривал с вами. Я возобновил знакомство с доброй, старой Терезой; она обрадовалась мне, как случаю поговорить о вас. Не могу выразить, в какой степени это расположило меня в ее пользу и как охотно я слушал ее рассказы на любимую тему. Вы конечно догадываетесь, какая причина заставила меня главным образом отрекомендоваться Терезе; мне просто хотелось получить доступ в замок и в сады, где так недавно жила и гуляла моя ненаглядная Эмилия. Здесь я люблю бродить и всюду ветречать ваш образ: но больше всего я люблю сидеть под развесистыми ветвями вашего милого платана, где мы, Эмилия, когда-то сидели с вами, где я впервые осмелился признаться вам в своей любви. О, Эмилия! воспоминание об этих минутах терзает мое сердце. Я сижу погруженный в задумчивость — я стараюсь вызвать ваш образ перед своим взором, затуманенным слезами, услышать снова ваш голос, от которого когда-то трепетало мое сердце нежностью и надеждой. Я облакачиваюсь на ограду террасы, откуда мы, помните, вместе наблюдали быстрое течение Гаронны в то время, как я описывал вам дикую местность, где она берет начало, причем все время думал только о вас одной. О Эмилия! неужели эти минуты миновали навеки — неужели они никогда более не вернутся?»

В другой части письма он писал:

«Вы видите, письмо мое помечено несколькими датами, и если вы взглянете на первую дату, то убедитесь, что я начал писать вскоре после вашего отъезда из Франции. Писать — было действительно единственным занятием, отвлекавшим меня от моей сердечной печали и помогавшим мне выносить ваше отсутствие, или, вернее, это как бы уничтожало отсутствие. Когда я беседовал с вами на бумаге, изливал перед вами все чувства и все муки моего сердца, вы как будто были со мною. Это занятие служило мне от времени до времени единственной

отрадой, и я все откладывал отсылку моего письма, исключительно ради утешения дополнять его. Чуть только мне делалось особенно тоскливо на душе, я всякий раз делился с вами своей печалью и всегда находил утешение; а когда какое-нибудь, хоть малейшее обстоятельство зароняло искру радости в мою душу, я опять-таки прибегал к вам и получал отраженное удовлетворение. Таким образом мое письмо нечто вроде картины всей моей жизни и моих помыслов за последний месяц; и хотя оно было глубоко интересно для меня в то время как я писал его и, вероятно, по той же причине не будет безразличным и для вас, но для постороннего читателя оно, пожалуй, покажется пустячным и бессодержательным. Так всегда бывает, когда мы пытаемся изобразить тончайшие движения нашей души: они слишком тонки, чтобы быть замеченными, и их надо испытать, чтобы понять; равнодушный наблюдатель не оценит их, тогда как заинтересованное лицо почувствует, что все подобные описания несовершенны и бесполезны и хороши разве тем, что они доказывают искренность пишущего и облегчают его страдания. Простите мне этот эгоизм, ведь я люблю!»

«Только что узнал я об одном обстоятельстве, которое примирит меня с необходимостью вернуться в полк; я уже больше не могу бродить по дорогим для меня местам, где я привык встречаться с вами мыслями. — „Долина“ отдана в аренду! Я имею основание думать, что это произошло без вашего ведома, судя по тому, что говорила мне Тереза сегодня утром. Она плакала, бедняжка, рассказывая, что должна уйти от своей дорогой барышни и покинуть замок, где она провела так много лет, — „и все это, — прибавила она, — сделалось вдруг, я даже не получила от барышни письма, которое облегчило бы мне это известие: это все шутки месье Кенеля, а она, голубушка, даже и не подозревает, что здесь творится“.

«По словам Терезы, она получила от г.Кенеля записку с извещением, что замок сдан в аренду и что, так как в ее услугах более не нуждаются, то она должна убраться в течение недели, до приезда нового хозяина.

«За несколько дней до этого письма Тереза была удивлена появлением г.Кенеля, которого сопровождал какой-то незнакомый господин, внимательно осматривавший все помещения...»

В конце письма, помеченного неделей спустя после этого, Валанкур прибавлял: «Я получил из полка предписание явиться и еду туда без сожаления, раз я отрезан от мест, столь дорогих моему сердцу. Сегодня утром я ездил верхом в „Долину“, узнал, что прибыл арендатор и что Тереза уехала. Я не стал бы говорить об этом так открыто, если б не думал, что вы даже не уведомлены о переменах, произошедших в вашем доме; для вас я хотел навести справки и узнать кое-что о характере и социальном положении квартиранта, — но безуспешно. Говорят, он дворянин, — и это все, что я мог узнать. Вся усадьба, когда я бродил в окрестностях, показалась мне унылой и мрачной; мне очень хотелось проникнуть туда, чтобы еще раз проститься с вашим любимым платаном и еще раз посидеть под его тенью, думая о вас; но я воздержался, чтобы не возбудить любопытства чужих людей; однако рыбацья хижина в лесу была по-прежнему доступна для меня. Туда я и направился и провел там час, о котором не могу вспомнить без волнения. О Эмилия, наверное мы разлучены не навсегда — несомненно настанет время, когда мы будем жить друг для друга...».

Это письмо заставило Эмилию пролить немало слез, — слез любви и радости, когда она узнала, что Валанкур жив, здоров и что время и разлука несколько не изгладили ее образ в его сердце. Некоторые места его письма особенно тронули ее — например, рассказ о поездках в «Долину» и чувства нежной привязанности, вызванные в нем видом ее родного дома. Не сразу, а немного погодя, оторвавшись мысленно от Валанкура, она хорошенько поняла все значение сообщенной им новости о «Долине». Что г.Кенель отдал усадьбу в аренду, даже не спросившись ее согласия, удивляло и возмущало ее до глубины души, в особенности, так как этот поступок доказывал, что он считал себя вправе полновластно распоряжаться ее делами. Правда, он предлагал ей, еще до отъезда ее из Франции, отдать замок внаймы на время ее отсутствия, и против рассудительности такой меры с

экономической стороны она ничего не могла возразить; но отдать дом своего отца на произвол чужих людей, лишиться себя самое верного убежища в случае каких-нибудь неблагоприятных обстоятельств, — эти соображения даже и тогда заставили ее энергично воспротивиться такой мере.

Отец ее на смертном одре взял с нее слово никогда не продавать «Долину», и это обещание она считала до некоторой степени нарушенным тем, что усадьба сдана в аренду. Теперь для нее стало ясно, как мало уважал г.Кенель эти соображения и как мало значения он придавал всему, что не связано с материальными выгодами. Оказывалось, что он даже не удостоил известить Монтони о сделанном им распоряжении: все это огорчало и удивляло Эмилию. Но более всего ее рассердило увольнение старой, верной служанки ее отца.

«Бедная Тереза, — думала Эмилия, — ты не много накопила за все время твоей службы, потому что всегда была милосердна к бедным и рассчитывала скоротать свой век в нашем доме. Бедная Тереза! тебя выгнали вон на старости лет, оставив без крова и без куска хлеба!..»

Эмилия горько плакала, размышляя об этом; она решила непременно что-нибудь сделать для Терезы и серьезно поговорить об этом с месье Кенелем; но она сильно опасалась, что его холодное сердце не внемлет ее просьбам. Ей хотелось также выяснить, упоминал ли он о ее делах в письме своем к Монтони; к счастью, тот скоро доставил ей желаемый случай, попросив ее зайти к нему в кабинет для делового разговора. Она почти не сомневалась, что разговор коснется той части письма г.Кенеля, где говорилось о сдаче в аренду «Долины». Она тотчас же явилась на приглашение. Монтони был один.

— Я как раз пишу г.Кенелю, — обратился он к Эмилиж, — в ответ на письмо, полученное мной от него несколько дней тому назад; я желал поговорить с вами об одном деле, упомянутом между прочим в этом письме.

— И я желала поговорить с вами о том же, — отвечала Эмилия.

— Это предмет несомненно очень для вас интересный, — продолжал Монтони, — и мне кажется, вы должны взглянуть на него в том же свете, как смотрю я. Вы согласитесь со мною, что всякие возражения, основанные на сентиментах, как говорится, должны ступать перед соображениями солидной выгоды.

— Согласна с вами, — скромно подтвердила Эмилия, — но, по-моему, необходимо считаться с человеколюбием. Однако, боюсь, что теперь уже поздно рассуждать об этом деле; я могу только пожалеть, что уже не в моей власти изменить его.

— Действительно, уже поздно, — сказал Монтони, — но раз это так, мне приятно видеть, что вы покоряетесь голосу рассудка, не вдаваясь в бесполезное нытье. Я одобряю ваш образ действия чрезвычайно, тем более, что это признак душевной твердости, не совсем обыкновенной у особ вашего пола. Когда вы будете постарше, вы с благодарностью вспомните о друзьях, помогавших вам избавиться от романтических иллюзий чувства, вы убедитесь, что это ребяческие увлечения, с которыми надо распрощаться тотчас же по выходе из детской, Я еще не запечатал письма, и вы можете прибавить несколько строчек от себя, чтобы сообщить дяде о своем согласии. Вы скоро увидите с ним лично, так как я намерен повезти вас и мою жену в Миаренти, — там вы можете хорошенько переговорить обо всем.

На свободной странице письма Эмилия приписала следующее:

«Теперь мне уже бесполезно, милостивый государь, выражать свое мнение насчет того дела, о котором, по словам синьора Монтони, он уже писал вам. Могу только пожалеть, что все совершилось, так поспешно; я не успела даже опомниться и подавить в себе кое-какие „предрассудки“ (по выражению синьора Монтони), которые все еще живы в моем сердце. Как бы то ни было, я покоряюсь. С точки зрения рассудительности, конечно, ничего нельзя возразить против вашего распоряжения. Но хотя я и покоряюсь, однако имею возразить очень многое относительно других сторон предмета, что и выскажу вам при личном свидании. А пока умоляю вас позаботиться о Терезе, ради искренне преданной вам племянницы

Эмили Сент Обер».

Монтони насмешливо улыбнулся над припиской Эмили, но не возразил ни слова; она ушла к себе в комнату и села писать ответ Валанкуру, в котором подробно рассказала о своем путешествии и о приезде в Венецию, описала некоторые из наиболее поразительных сцен переправы через Альпы, изобразила свои чувства при виде Италии, наружность и обращение окружающих людей и кое-какие черты из жизни Монтони. Но она избегала даже имени графа Морано, а тем более не упоминала о его признании, хорошо зная, как боязлива истинная любовь, как ревниво она подкарауливает малейшие обстоятельства, могущие повредить ее интересам; поэтому она тщательно избегала давать Валанкуру хотя бы малейший повод думать, что у него есть соперник.

На другой день граф Морано опять обедал в доме Монтони. Он был особенно в ударе, и Эмили показалось, что в его обращении с нею сквозило как бы торжество, которого она раньше не замечала. Она пробовала побороть это восторженное состояние, усилить свою обычную сдержанность, но ее холодность вместо того, чтобы действовать на него угнетающим образом, напротив, как будто поощряла его. По-видимому, он ждал случая объясниться с нею наедине и несколько раз просил ее уделить ему несколько минут. Но Эмилия неизменно отвечала, что не станет слушать ничего такого, что он не мог бы повторить при всех.

Вечером г-жа Монтони со своими гостями опять отправилась кататься на взморье; граф, ведя Эмилию к своему *zendaletto*, поднес ее руку к своим губам и благодарил ее за оказанную ему милость. Эмилия, крайне удивленная и раздосадованная, торопливо отдернула свою руку и была уверена, что он говорит иронически; но, дойдя до ступеней террасы и заметив по ливреям, что внизу ожидал *zendaletto* графа, между тем как остальная компания, разместившись в гондолах, уже отплывала от берега, она не захотела оставаться наедине с графом и, пожелав ему доброго вечера, вернулась в портик. Граф последовал за нею с просьбами и упреками; но вышедший в эту минуту из дворца Монтони прекратил все это: ни слова не говоря, он взял Эмилию за руку и повел ее назад к лодке. Эмилия уже не могла молчать; тихим голосом она умоляла Монтони подумать, как неприлично ей ехать наедине с графом, и просила его избавить ее от такой необходимости. Но он ничего не хотел слушать.

В эту минуту нерасположение Эмили к графу Морано дошло до отвращения. Что он с такой дерзкой самоуверенностью преследует ее, несмотря на ее видимое несочувствие его ухаживанию, и что он, очевидно, думает, что ее личное мнение о нем ничего не значит, раз его притязания поддерживаются со стороны Монтони, — все это приводило Эмилию в еще большее негодование. Ее несколько успокоило то, что и Монтони поедет с ними; он поместился около нее по одну сторону, а Морано по другую. Несколько минут продолжалось молчание, пока гондольеры готовили весла; Эмилия со страхом ожидала, что последует за этой паузой. Наконец она собралась с духом и сама нарушила молчание, в надежде предупредить любезности Морано и выговоры Монтони. На какое-то пустое замечание ее со стороны Монтони последовал короткий, холодный ответ; но Морано тотчас же вступил в разговор и ухитрился закончить свою речь комплиментом по адресу Эмили; ее холодность и невнимание несколько не смутили его.

— Я с нетерпением ждал случая, — обратился он к Эмили, — выразить вам мою благодарность за вашу доброту; но я должен также поблагодарить синьора Монтони, доставившего мне желанный случай.

Эмилия взглянула на графа с удивлением и досадой.

— О, синьора, — отвечал граф, — зачем хотите испортить вы сладость этой минуты, притворяясь жестокой и холодной? Зачем хотите снова повергнуть меня в муки сомнения, стараясь своими взорами опровергнуть свою недавнюю милость? Вы не можете сомневаться в искренности и силе моей страсти, поэтому бесполезно, очаровательная Эмилия, совершенно бесполезно скрывать ваши чувства!

— Если я когда-нибудь скрывала их, — возразила Эмилия, успевшая овладеть

собою, — то теперь было бы уже бесполезно долее маскировать их. Я надеялась, что вы избавите меня от дальнейшей необходимости касаться моих чувств, но раз вы этого не хотите, позвольте мне сказать вам — надеюсь, в последний раз, что ваша настойчивость лишает вас даже того уважения, которое я готова была оказывать вам.

— Поразительно! — воскликнул Монтони, — уж этого я никак не ожидал, хотя до сих пор отдавал должную справедливость женским капризам! Но позвольте вам заметить, мадемуазель Эмилия, что ведь я не влюбленный, как граф Морано, и не позволю с собою шутить! Вам делают предложение, которое оказало бы честь девице любой знатной фамилии, а ваша фамилия вовсе не знатная — не забывайте этого. Вы долго противились моим советам, но теперь задета моя честь, и я не дам себя морочить. Вы исполните то, что поручили мне передать графу.

— Очевидно, вы ошибаетесь, — возразила Эмилия, — мой ответ на предложение всегда был один и тот же. Несправедливо обвинять меня в капризах. Я все время уверяла графа Морано, да и вас также, что не могу принять его предложения, — и теперь повторяю то же.

Граф взглянул на Монтони с удивлением; лицо Монтони выражало также удивление, с примесью негодования.

— Здесь уже нет более каприза! — воскликнул он. — Неужели вы станете опровергать ваши собственные слова?

— Подобный вопрос недостойн даже ответа, — проговорила Эмилия, вспыхнув, — впоследствии вы опомнитесь и пожалеете о сказанном.

— К делу! — воскликнул Монтони раздраженным тоном. — Намерены вы отречься от своих же слов? намерены вы отрицать, что признались мне, не далее как несколько часов тому назад, что теперь уже поздно отступать от вашего обстоятельства и что вы принимаете предложение графа?

— Я отрицаю все это, потому что не говорила ничего подобного!

— Удивительно! Вы отрицаете то, что написали г-ну Кенелю, вашему дяде? Если отрицаете, так ведь и против вас есть доказательство — письмо, написанное вашей собственной рукой. Что вы на это скажете?

Монтони не спускал глаз с Эмилии и заметил ее смущение.

— Я убеждаюсь, синьор, что вы находитесь под влиянием страшного заблуждения, и что я тоже ошибалась.

— Пожалуйста, без уверток: будьте откровенны и чистосердечны, если это возможно...

— Я всегда была такою, — мне нечего скрывать.

— Скажите, однако, что все это значит? — воскликнул Морано в волнении.

— Погодите выражать ваше мнение, граф, — отвечал Монтони, — лукавство женского сердца неисповедимо. Ну-с, слушаем ваше объяснение, сударыня!

— Простите, синьор, но я воздержусь от объяснений до тех пор, пока вы не обещаете поверить мне. Иначе все мои слова подадут только повод к оскорблениям с вашей стороны.

— Объяснитесь, прошу вас! — умолял Морано,

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал Монтони, — так и быть, я обещаю верить вам, — послушаем ваше объяснение.

— Сперва позвольте мне задать вам один вопрос.

— Сколько угодно, — презрительно уронил Монтони.

— О чем бышло ваше письмо г.Кевелю?

— О том же, о чем была ваша приписка, само собою разумеется. Вы хорошо сделали, попросив моего доверия, прежде чем задали этот вопрос.

Попрошу вас выразаться точнее, о чем было письмо?

— О чем же, как не о лестном предложении графа Морано? — отвечал Монтони.

— В таком случае, мы совершенно не поняли друг друга, — сказала Эмилия.

— Так, по-вашему, мы не понимали друг друга и в разговоре, предшествовавшем приписке? Ну, синьора, я должен отдать вам справедливость. Вы большая мастерица по

части всяких недоразумений.

Эмилия старалась удержать слезы, наворачнувшиеся ей на глаза, и отвечать с надлежащей твердостью.

— Позвольте мне объясниться до конца, или же совсем замолчать.

— Теперь уже можно обойтись без объяснения — заранее можно предвидеть, в чем оно будет заключаться. Если же граф Морано все еще считает его нужным, то я объясню ему начистоту, что вы просто переменили свое решение со времени нашего последнего разговора; и если у него хватит терпения и покорности подождать до завтра, то он, вероятно, убедится, что вы опять передумаете; но у меня-то нет ни терпения, ни покорности, которых вы ожидаете от влюбленного, — предупреждаю вас, что я вам не прощу.

— Монтони, вы слишком торопитесь! — вмешался граф, слушавший этот разговор в сильном волнении и нетерпении. — Синьора, умоляю вас, растолкуйте мне сами, в чем дело.

— Синьор Монтони сказал правду, — отвечала Эмилия, — что теперь можно избежать всякого объяснения; после всего случившегося я не скажу ничего нового; мне достаточно, да и вам также, граф, если я повторю свое последнее заявление; позвольте мне надеяться, что это будет в последний раз: я никогда не соглашусь принять вашего предложения.

— Очаровательная Эмилия! — воскликнул граф с пылким чувством, — не будьте несправедливы под влиянием гнева; не карайте меня за проступок Монтони. Смилуетсясь!..

— Проступок? — прервал Монтони. — Граф, ваши речи неуместны, ваша покорность чисто ребяческая. Говорите как мужчина, а не как раб тирана...

— Вы меня приводите в отчаяние, синьор, позвольте мне самому отстаивать мои интересы; вы уже доказали свою несостоятельность по этой части.

— Все разговоры на эту тему более чем бесполезны, — сказала Эмилия, — они могут только измучить нас обоих; сделайте мне одолжение, перестаньте об этом говорить.

— Я не в состоянии, синьора, так легко отказаться от любви, которая составляет и счастье, и мучение моей жизни. Я не могу перестать любить, не могу не преследовать вас со всем жаром моей страсти; когда вы убедитесь в силе и постоянстве ее, ваше сердце смягчится жалостью и раскаянием.

— Разве это великодушно? разве это достойно мужчины? заслуживаете ли вы уважения, если намерены продолжать преследование, от которого я не имею пока никаких средств избавиться?

Лунный свет, скользнув по лицу Морано, обнаружил его душевное волнение и, коснувшись Монтони, осветил черты, искаженные злобой.

— Клянусь Богом! это уже слишком! — вдруг воскликнул граф, — синьор Монтони, вы дурно обошлись со мной, от вас я жду объяснения.

— От меня вы его и получите, — пробормотал Монтони, — если ваш рассудок действительно так омрачен страстью, что вам еще нужно объяснение! А вы, сударыня, знайте, что честного человека нельзя морочить безнаказанно, как вы морочите мальчишку!..

Этот сарказм поднял всю гордость Морано; равнодушие Эмилии бесило его, но это чувство сменилось негодованием, возбужденным дерзостью Монтони, и он решил еще более раздосадовать его, защищая Эмилию.

И это тоже, — проговорил он, отвечая на последние снова Монтони, — и это тоже не пройдет даром. Было бы вам известно, синьор, что вам придется иметь дело не со слабой женщиной, а с более сильным врагом! Я буду защищать синьору Сент Обер против вашей злобы. Вы обманули меня и за свою неудачу мстите невинной жертве.

— Я обманул вас! — с живостью возразил Монтони. — Граф Морано, к таким речам, к такому обращению я не привык! это поведение вспыльчивого мальчишки — я и отношусь к нему с презрением.

— С презрением, синьор?

— Ради чувства самоуважения, — возразил Монтони, — мне необходимо серьезно поговорить с вами. Вернитесь со мною в Венецию, и я удостою убедить вас в вашей ошибке.

— Удостоите! но я-то не удостою разговаривать с вами.

Монтони презрительно усмехнулся; а Эмилия, ужасаясь последствий этого столкновения, не могла долее молчать. Она рассказала, каким образом она ошиблась поутру насчет значения слов Монтони, думая, что он говорит исключительно об отдаче ее усадьбы в аренду; в заключение она просила Монтони тотчас же написать г-ну Кенелю и исправить ошибку.

Но Монтони все не верил ее искренности или притворялся неверящим, а граф Морано продолжал оставаться в недоумении. Однако, пока она говорила, внимание ее собеседников было отвлечено от ближайшего предмета спора и поэтому их страсти несколько поулеглись. Монтони пожелал, чтобы граф приказал своим людям грести назад в Венецию, где хотел переговорить с ним с глазу на глаз; и Морано, немного успокоенный смягченным тоном его голоса и манерой, а также горя нетерпением получить разъяснение интересующего его вопроса, согласился на его просьбу.

Эмилия, радуясь скорой возможности избавиться от своих собеседников, старалась напоследок как-нибудь примирить их и предупредить роковое столкновение между лицами, которое так неделикатно преследовали и оскорбляли ее.

Она оживилась духом, когда опять услышала звуки песен и веселья, раздававшиеся с Большого канала и когда наконец лодка поплыла по каналу, между двух рядов величественных дворцов.

Zendaletto остановился перед домом Монтони; граф поспешно проводил Эмилию в вестибюль; там Монтони взял его под руку и что-то сказал ему тихим голосом. Тогда граф поцеловал руку Эмилии, несмотря на ее старания отдернуть руку, и, пожелав ей доброго вечера, вернулся к своему zendaletto, вместе с Монтони.

Очутившись в своей комнате, Эмилия с беспокойством стала обдумывать положение дел: несправедливые и тиранические выходки Монтони, упорное ухаживание Морано и свою собственную безотрадную судьбу, без друзей, без родных на чужой стороне... Напрасно было бы рассчитывать на покровительство Валанкура, который был далеко, связанный своей службой; но ей было отрадно думать, что хоть одна душа в мире способна отозваться сочувственно на ее горе и желает помочь ей. Однако она решила не тревожить Валанкура понапрасну, сообщая ему, как оправдалось на деле его дурное мнение о Монтони. Но даже и теперь она все-таки не жалела, что ради чувства деликатности и бескорыстной привязанности к жениху отвергла его просьбу обвенчаться тайно. На предстоящее свидание с дядей она возлагала некоторую надежду, так как намеревалась описать ему свое ужасное положение и просить его и г-жу Кенель взять ее с собой во Францию. Но, вспомнив вдруг, что ее возлюбленная «Долина», ее родное убежище уже не в ее распоряжении, она заплакала горькими слезами. Нечего ждать жалости, думала она, от такого человека, как Кенель, который распорядился ее усадьбой, даже не спросившись ее совета, и имел дух прогнать старую служанку, лишить ее крова и хлеба. Но хотя у самой Эмилии уже не было более убежища во Франции и мало, очень мало друзей на родине, она все-таки жаждала вернуться туда, по возможности, чтобы избавиться от ужасной власти Монтони. Она не рассчитывала поселиться у своего дяди г.Кенеля: его отношение к ее покойному отцу и к ней было всегда таким, что прибегнуть к нему в настоящем случае значило бы только переменить одного деспота на других; точно так же она не имела ни малейшего намерения согласиться на предложение Валанкура обвенчаться немедленно, хотя это доставило бы ей законного и великодушного покровителя; ведь главные причины, повлиявшие на ее тогдашний отказ, не исчезли и теперь. Интересы Валанкура, его доброе имя во всякое время были ей слишком дороги, чтобы позволить ей согласиться на брак, который в эту раннюю пору их жизни, по всей вероятности, погубил бы их обоих. Во Франции для нее все-таки было всегда открыто одно верное убежище. Она знала, что может приютиться в монастыре, где ее когда-то принимали так ласково, и где лежат дорогие для нее останки ее отца. Там она могла жить в безопасности и спокойствии, до тех пор, пока истечет срок аренды «Долины», или пока дела г.Мотвила устроятся настолько, что ей будут возвращены остатки отцовского состояния.

Что касается поведения Монтони в истории с письмами к г.Кенелю, то она не могла

отрешиться от некоторых сомнений. Хотя он, может быть, действительно ошибался насчет ее записки, но она сильно подозревала, что потом он упорствовал в своем заблуждении нарочно, чтобы заставить ее подчиниться его желанию устроить ее брак с графом Морано. Было ли это так, или нет, во всяком случае Эмилия хотела объяснить все дело Кенелю и ждала предстоящего посещения его виллы с надеждой, нетерпением и страхом.

На другой день г-жа Монтони, оставшись одна с Эмилией, сама завела речь о графе Морано, выразив свое удивление по поводу того, что накануне вечером Эмилия не участвовала в катании по морю и что она так внезапно вернулась в Венецию. Тогда Эмилия рассказала ей все случившееся, выразила свое сожаление по поводу недоразумения между нею и Монтони, и просила тетку уговорить мужа, чтобы тот окончательно подтвердил ее отказ графу; но вскоре она заметила, что г-же Монтони были небезызвестны все подробности дела.

— Напрасно вы ждете от меня поддержки, — заявила тетка, — я уже раз сказала вам свое мнение об этом предмете и нахожу, что синьор Монтони, напротив, должен заставить вас согласиться на этот брак. Если молодые девушки иной раз бывают слепы к своим собственным выгодам и упрямо противятся им, то, слава Богу, у них есть друзья, которые помешают им делать глупости. Скажите, пожалуйста, какие у вас права претендовать на такую партию, какая представляется вам?

— Решительно никаких, — отвечала Эмилия, — поэтому я и прошу оставить меня в покое; я готова довольствоваться скромным счастьем.

— Что говорить, племянница, у вас все-таки большой запас спеси! У моего бедного брата, вашего отца, тоже немало было гордости, хотя, признаться сказать, ему нечем было и гордиться-то!

Эмилия, возмущенная этой неприязненной ссылкой на ее отца и желая в то же время отвечать в умеренном духе, колебалась несколько мгновений в смущении, и это было чрезвычайно приятно ее тетке. Наконец она проговорила:

— Гордость моего отца, сударыня, была направлена к благородной цели — к счастью, которое, по его твердому убеждению, может быть основано лишь на таких качествах, как доброта, знание и милосердие. Он никогда не пренебрегал людьми бедными и несчастными и презирал только тех, которые, имея случай быть счастливыми, сами делали себя несчастными, благодаря тщеславию, невежеству и жестокости. Поддерживать в себе такую гордость я сочту высшим благом.

— Ну, милая моя, я не намерена углубляться во все эти выпренные сантименты, предоставляю это вам. Мне хотелось бы только научить вас малой толике простого здравого смысла и посоветовать вам, от великой мудрости, не пренебрегать счастьем.

— Это действительно было бы не мудростью, а безумием, — возразила Эмилия, — потому что высшая цель мудрости именно и есть достижение счастья. Но вы должны согласиться, что наши с вами понятия о счастье совершенно различны. Я не сомневаюсь, что вы желаете мне счастья, но боюсь, что вы ошибаетесь насчет средств сделать меня счастливой.

— Я не могу похвастаться ученостью и образованностью, какую ваш отец счел нужным дать вам, — заявила г-жа Монтони, — и поэтому, признаться, не понимаю всех этих рассуждений о счастье; мне доступен только здравый смысл, и, право, хорошо было бы для вас и для вашего отца, если бы и это было включено в ваше воспитание.

Эмилия была слишком взволнована этими словами, затрагивающими память отца, чтобы рассердиться на тетку.

Г-жа Монтони хотела продолжать, но Эмилия вышла из комнаты и ушла к себе; там ее окончательно покинуло мужество, и она залилась слезами горя и досады. Обдумывая свое положение, она каждый раз находила новую причину к огорчению. Перед тем она только что убедилась в злокозненности Монтони; теперь к этой неприятности присоединилось жестокосердное обращение тетки, которая хотела принести ее судьбу в жертву своему тщеславию. Ее глубоко возмущало бесстыдство, с каким г-жа Монтони хвасталась своей

привязанностью к племяннице в то время, как замышляла погубить ее, пожертвовать ею и, наконец, язвительная зависть, с какой она осуждала характер ее покойного отца.

За те несколько дней, что оставались еще до отъезда в Миаренти, Монтони ни разу не заговаривал с Эмилией. На его лице можно было прочесть злобу и неудовольствие; но Эмилию крайне удивляло то обстоятельство, что он не упоминал ей о причине своего гнева; не менее удивлялась она и тому, что за эти три дня граф Морано ни разу не показывался у Монтони и никто даже не упоминал его имени. У нее возникало на этот счет несколько догадок. То она опасалась, что ссора между ними опять возгорелась и имела роковой исход для графа; то она надеялась, что утомление и досада на ее твердый отказ заставили графа наконец бросить свои притязания, то она начинала подозревать, что он пошел на хитрости, прекратил свои визиты и просил Монтони не упоминать его имени нарочно, в расчете, что Эмилия из чувства благодарности и великодушия даст согласие, хотя и не любя его.

Так проходило время в тщетных догадках и постоянно сменяющихся надеждах и страхах, пока не настал день, назначенный Монтони для отъезда на виллу Миаренти.

Монтони, решив пуститься в путь не раньше вечера, желая избежать жары и воспользоваться свежим бризом, — около часа до заката солнца сел со своим семейством на баржу, чтобы плыть по Бренте. Эмилия поместилась одна на корме судна и по мере того, как оно медленно скользило по реке, наблюдала роскошный город, все уменьшавшийся в отдалении, пока наконец его дворцы как будто стали опускаться в морские волны, между тем как наиболее высокие башни и церкви, освещенные заходящим солнцем, долго еще виднелись на горизонте, подобно тем облакам, которые в северных странах долго медлят на западной окраине неба, отражая на себе последние лучи солнца. Вскоре, однако, и они стали смутными и растаяли в отдалении; но Эмилия все не могла оторваться от необъятной картины ясного неба и беспредельного моря и чутко прислушивалась к шуму волн; взор ее переносился через Адриатику к противоположным берегам, находившимся, однако, далеко за пределами зрения, и она предавалась воспоминаниям о древней Греции; эти размышления о классическом мире навевали на нее ту чарующую грусть, которая овладевает всеми, кому случается видеть театр, где разыгрывалась история древних народов, и сравнить его теперешнее безмолвие и пустынную с былым величием и кипучей жизнью. Сцены из Илиады в ярких красках рисовались ее воображению; когда-то эти места кипели деятельностью и оглашались славой героев, а теперь лежат безлюдные, в развалинах, но по-прежнему милые сердцу поэта и сияющие в глазах его юной красотою.

Созерцая умственными очами далекие пустынные равнины Трои, Эмилия дала волю своей фантазии и набросала следующие строки:

СТАНСЫ

По равнинам Илиона, где некогда воины кровь проливали
И певец вдохновенный бессмертные песни слагал.
По равнинам Илиона усталый путник гнал
Своих верблюдов гордых к развалинам древнего храма.
Кругом широкая пустыня расстилалась,
На западе алое погасло облако,
И сумерки над всей безмолвною равниной
Накинули покров свой; держал он путь к востоку.
Там, на сером горизонте, возвышались
Гордые колонны покинутой Трои
И пастухи бродячие убежище находили
Под стенами, где некогда цари пировали.
Под высоким сводом остановился путник
И, сняв тяжелую ношу с верблюдов,
Вместе с ними подкрепился пищей
И в краткой молитве вознес помыслы к Богу.

Из стран далеких прибыл он с товаром,
Все состояние его несли на себе его терпеливые слуги.
Вздыхая, он с тоскою помышлял
О том, как бы скорей добраться до своей счастливой хижины.
Там ждут его жена и маленькие дети,
Улыбками ему они отплатят за тяжкие труды.
При этой мысли слезы жаркие тоски и ожидания
Наполнили его глаза.
Безмолвие могилы там царит
Где некогда герои оглашали песней тишину ночную.
Хамет заснул, тут возле прилегли верблюды,
И в груды свалены товары.
Невдалеке лежала плоская, пустая сумка
И флейта, развлекавшая его в дороге.
Во время сна его разбойник Тартар
Подкрался к спящему: вчера он караван подкараулил.
Объятый жаждой грабежа,
И тщетно было бы молить о милости его.
За поясом его торчит отравленный кинжал.
Кривая сабля на бедре,
А за спиной колчан со смертоносными стрелами.
Холодные лучи луны храм озаряли,
Указывая Тартару путь к его уснувшей жертве.
Но, чу! потревоженный верблюд потряс колокольцами.
Расправил члены и поднял сонную голову.
Хамет проснулся! Над ним сверкнул кинжал!
Быстро со своего ложа он вскочил, и уклонился от удара.
Как вдруг из чьей-то невидимой руки пронеслась стрела
И мстительным ударом злодея уложила.
Он застонал и умер! Вдруг из-за колонны
Пастух выходит, перепуганный и бледный...
Гоня домой свое овечье стадо вечернею порой,
Он подметил, как разбойник подкрался к Хамету.
Он трусил за себя, но спас чужую жизнь!
Хамет прижал его к своему благодарному сердцу.
Затем поднял своих верблюдов в дальний путь
И с пастухом спешил проститься.
Но вот подуло снова свежим бризом.
Заря трепещет; на облаках востока
Весело выглянуло солнце из-за туманной дымки,
И тает под его лучами воздушное покрывало.
Скользя по широкой равнине, косые лучи солнца
Ударяют в башни Илиона,
Далекий Геллеспонт сияет утренним багрянцем
И старый Скамандер окутан светом.
Звонят колокольцы верблюдов,
И бьется любящее сердце Хамета —
Не успеют спуститься вечерние тени.
Как он увидится с женой, детьми, с счастливым домом.

Приближаясь к берегам Италии, Эмилия начала различать подробности роскошной природы и богатый колорит ландшафтов — лиловые горы, рощи апельсиновых деревьев и

кипарисов, осеняющие великолепные виллы и города, лежащие среди виноградников и плантаций. Показалась благородная Брента, вливающая в море свои многоводные волны; достигнув ее устья, баржа остановилась; впрягли лошадей, которые должны были тащить ее на буксире вверх по течению. Эмилия бросила последний взгляд на Адриатику, и баржа медленно поползла между зеленых, роскошных склонов, окаймлявших реку. Величие вилл, украшающих эти берега, еще выигрывало под лучами заката, благодаря резким контрастам света и теней на портиках, длинных аркадах и роскошной южной растительности. Аромат померанцевого цвета цветущих мирт и других благоухающих растений наполнял воздух и часто из-за глухой зелени беседок неслись стройные звуки музыки.

Солнце уже опустилось за горизонт, сумерки окутали природу, и Эмилия в задумчивом молчании продолжала наблюдать, как постепенно разливалась тьма. Она вспоминала те многие счастливые вечера, когда она вместе с Сент Обером следила, как постепенно спускаются тени над местами столь же прекрасными, как эти, в саду родной «Долины», и из глаз ее скатилась слеза, вызванная памятью отца. Душа ее прониклась тихой меланхолией, под влиянием вечернего часа, тихого плеска волны под кораблем и тишины, разлитой в воздухе, лишь по временам нарушаемой далекой музыкой. Но почему-то сердце ее наполнилось мрачными предчувствиями при воспоминании о Валанкуре, хотя она еще так недавно получила от него самое успокоительное письмо.

Несмотря на это, ее мрачному воображению представлялось, что она простилась с ним навеки; мысль о графе Морано мелькнула в ее голове и наполнила ее ужасом, но даже независимо от того ее охватило смутное, безотчетное предчувствие, что она больше никогда не увидит своего возлюбленного. Правда, она знала, что ни мольбы Морано, ни приказания Монтони не имеют законного права принудить ее к повиновению, — она смотрела на обоих с каким-то суеверным страхом, думая, что они в конце концов могут одолеть.

Погруженная в грустную задумчивость и украдкой проливая слезы, Эмилия была наконец выведена из этого состояния зовом Монтони; она пошла за ним в каюту, где была приготовлена закуска и где ее тетка сидела одна. Лицо г-жи Монтони пылало гневным румянцем — очевидно, она только что имела неприятный разговор с мужем; некоторое время оба хранили угрюмое молчание. Наконец Монтони заговорил с Эмилией о ее дяде, г.Кенеле:

— Конечно, вы не будете упорно стоять на том, будто не знали о содержании моего письма к нему?

— Я надеялась, синьор, что мне уже нет надобности говорить об этом, — отвечала Эмилия, — я надеялась, судя по вашему молчанию, что вы сами убедились в своей ошибке.

— Ну, так ваши надежды напрасны, — отрезал Монтони. — Скорее уж я могу ожидать искренности и последовательности от женщины, чем вы могли рассчитывать убедить меня в какой-то мнимой ошибке.

Эмилия вспыхнула и замолчала: она слишком ясно убедилась, как тщетны были ее надежды. Очевидно, поведение Монтони было следствием не простой ошибки, а коварного умысла. Желая избегнуть разговора, для нее тягостного и оскорбительного, она скоро вернулась на палубу и заняла свое прежнее место у кормы, не боясь вечерней свежести, так как тумана не было и воздух был тих и сух. Здесь наконец она обрела спокойствие, которое нарушил Монтони. Было уже за полночь, звезды проливали слабый полусвет; можно было, однако, различать очертания берегов по обе стороны и серую поверхность реки. Наконец поднялся месяц из-за пальмовой рощи и озарил мягким сиянием всю картину. Судно тихо скользило вперед; среди тишины ночной по временам раздавались голоса людей на берегу, понукавших своих лошадей, а из отдаленной части судна неслась печальная песнь матроса.

Эмилия между тем размышляла о том, как примут ее дядя и его жена; обдумывала, что она скажет им относительно своей усадьбы; затем, чтобы отогнать от себя более тягостные мысли, она стала всматриваться в слабые очертания окрестностей, облитых лунным светом, и дала волю своей фантазии. Но вот она действительно различила в отдалении какое-то здание, выглядывавшее из-за деревьев, озаренных лунным светом, и услышала звук голосов.

Вскоре показались высокие портики виллы, осененной рощами пиний и диких смоковниц: она вспомнила, что это та самая, на которую ей раньше указывали, как на собственность родственника г-жи Кенель.

Баржа причалила к мраморным ступеням, ведущим на лужайку. За колоннами портика показался свет. Монтони послал вперед своего слугу, затем высадился со своим семейством.

Г. и г-жа Кенель с несколькими гостями сидели на диванах террасы, наслаждаясь свежестью ночи и угощаясь мороженым и фруктами, между тем как на берегу несколько слуг исполняли незатейливую серенаду. Эмилия теперь уже привыкла к образу жизни в этом теплом климате и нисколько не удивилась, застав своих родственников в два часа ночи сидящими на открытом воздухе.

После обычных приветствий все общество расположилось на террасе и туда подали различные угощения из смежного зала, где был накрыт стол. Когда миновала первая суeta после приезда и Эмилия осмотрелась, она была поражена дивной красотой зала, в совершенстве приспособленного к этому прелестному климату. Стены были выложены белым мрамором, а крыша в виде открытого купола подпиралась такими же колоннами. С обеих сторон зала находились открытые террасы, откуда был обширный вид на сады и побережье; посередине бил фонтан, беспрерывно освежая воздух; эта свежесть как бы усиливала благоухание, распространявшееся от соседних апельсиновых деревьев, а журчание струй распространяло приятный, успокаивающий звук. Этрусские лампы, свешиваясь с колонн, ярко освещали внутреннюю часть зала, тогда как более отдаленные галереи озарялись только мягким сиянием луны.

Г-н Кенель разговаривал с Монтони о своих делах в обычном своем хвастливом тоне, расхваливал свои новые приобретения и делал вид, что сожалеет о финансовых неудачах, недавно понесенных Монтони. Между тем, гордый Монтони, презиравший подобного рода тщеславие и тотчас же угадавший, под видом этих притворных сожалений, злорадство Кенеля, слушал его в презрительном молчании, и только когда было названо имя его племянницы, оба встали и удалились в сад.

Тем временем Эмилия сидела возле г-жи Кенель, которая без умолку говорила о Франции; уже одно название ее родины было дорого Эмилии, и ей доставляло удовольствие смотреть на особу, только что приехавшую оттуда. Там жил Валанкур, и она смутно надеялась, что г-жа Кенель упомянет о нем в разговоре.

Живя во Франции, г-жа Кенель восторженно говорила об Италии, теперь же, находясь в Италии, она с таким же жаром отзывалась о Франции и старалась возбудить удивление и зависть своих слушателей рассказами о тех местах, где они не имели счастья побывать. Этими описаниями она не только пускала им пыль в глаза, но увлекалась сама, совершенно искренне — прошлое удовольствие всегда казалось ей лучше настоящего, — так что очаровательный климат, благоухающие померанцевые деревья и все окружающие роскоши проходили для нее незамеченными, тогда как воображение ее уносилось в далекие места более сурового края.

Тщетно Эмилия ждала, что она случайно назовет имя Валанкура. Г-жа Монтони в свою очередь заговорила о прелестях Венеции и об удовольствии, которого она ожидала от посещения прекрасного замка ее супруга в Апеннинах: тут она, видимо, попросту хвасталась, — Эмилия прекрасно знала, что ее тетушка не имела никакой склонности к уединению и в особенности к такому, какое обещает Удольфский замок. Так общество продолжало беседовать и, насколько позволяла вежливость, надоедать друг другу взаимным хвастовством, полулежа на диванах террасы; между тем кругом расстилалась роскошная природа и виднелись все прелести искусства, под влиянием которых другие, более искренние и честные души прониклись бы благородными стремлениями и предались бы истинным наслаждениям.

Скоро занялась заря на восточном небосклоне и при слабом сиянии рассвета, постепенно распространяющемся, обнаружили прекрасные склоны Итальянских гор и очертания пейзажа, расстилающегося у их подножья. Затем солнечные лучи, устремившиеся

из-за гор, разлили по всей картине нежный шафранный оттенок. Все запылало яркими красками, кроме самых отдаленных очертаний, все еще смутных и ступенчатых расстоянием; нежную красоту этой дали еще усиливала темная зелень сосен и кипарисов на переднем плане.

По Бренте задвигались лодки с поселянами, везущими свои товары в Венецию. Почти на всех лодках были приделаны маленькие цветные навесы для защиты от палящего солнца; и эти навесы вместе с горами плодов и цветов, лежащими под ними, и живописными нарядами крестьянских девушек представляли в общем веселую, приятную для глаза пестроту. Быстрое движение лодок по течению, сверкание весел, и от времени до времени плывущие мимо хоры поселян, растянувшихся под парусом своей маленькой барки, или звуки какого-нибудь незатейливого деревенского инструмента в руках девушки, сидящей возле своего товара, — все это еще усиливало оживление и праздничность сцены.

Когда г-н Кенель с Монтони присоединились к дамам, все вместе сошли с террасы в сад; там чарующие виды на время отвлекли Эмилию от ее грустных мыслей. Величественные очертания и роскошная зелень кипарисов — таких прекрасных, каких ей не случалось видеть; рощи кедров, лимонных и апельсиновых деревьев, группы пирамидальных сосен и тополей, густые каштаны и восточные платаны простирали над садами широкую тень; кусты цветущих мирт и других пряных кустарников смешивали свое благоухание с ароматом цветов, яркая пестрота которых еще более выделялась под тенью деревьев. Воздух непрерывно освежался ручейками, которые, благодаря изящному вкусу устроителя сада, змеились на свободе среди зеленых лужаек.

Эмилия часто отставала от других гуляющих, любуясь далеким пейзажем, замыкающим перспективу: вдали виднелись острые шпицы гор, задетые пурпуровым отблеском, крутые и отвесные наверху, но полого спускающиеся к подошве; открытая долина, еще не тронутая искусством; рощи высоких кипарисов, сосен и тополей, местами оживленные какой-нибудь полуразрушенной виллой, сломанные колонны которой виднелись меж ветвей сосны, как бы склонившейся над ними...

Из других частей сада открывались виды иного характера; здесь дивная, пустынная красота пейзажа сменялась пестротой и оживлением сел и городов.

Между тем солнце быстро подымалось над горизонтом; общество покинуло сад и удалилось на покой.

ГЛАВА XVII

Горькое несчастье чует бич порока.
Томсон

Эмилия воспользовалась первым удобным случаем, чтобы наедине переговорить с Кенелем насчет своего имения «Долины». На все ее вопросы он отвечал очень обстоятельно, но, очевидно, он сознавал свою безграничную власть и ему не нравилось, что смеют в этой власти сомневаться. По его мнению, сделанное им распоряжение было необходимо, к Эмилия должна быть ему благодарна за тот небольшой доход, который он доставил ей таким путем.

— Вот погодите. — прибавил он, — женится на вас этот венецианский граф, — как бишь его зовут, — и тогда ваше неприятное положение зависимости, конечно, прекратится. Как родственник ваш, я радуюсь этому счастливому случаю, столь неожиданному для ваших друзей.

Эмилия вся похолодела и не сколько минут не могла проговорить ни слова: оправившись она пыталась объяснить ему смысл своей приписки к письму Монтони; но он, очевидно, имея в виду какие-то скрытые причины, сделал вид, что не верит ей и некоторое время упорно обвинял ее в капризах. В конце концов, убедившись, что она действительно терпеть не может графа Мо-рано и наотрез отказала ему, он пришел в негодование и осыпал

ее колкими, жестокими упреками; втайне ему льстила перспектива породниться с вельможей, хотя он и притворялся, будто забыл его фамилию; и так как племянница своим упорством мешала осуществлению его честолюбивых надежд, то он не способен был чувствовать жалости к ее страданиям.

Эмилия сразу поняла, что и с его стороны ей надо ждать больших затруднений; конечно, никакими силами ее не могли принудить отказаться от Валанкура, чтобы выйти за Морано, но все же она со страхом ожидала столкновений с рассвирепевшим дядей.

Запальчивые, раздраженные упреки его она встретила со спокойным достоинством, свойственным высокой душе; но кроткая твердость ее как будто еще более усилила его гнев, он почувствовал свое собственное ничтожество. Уходя, он объявил племяннице, что если она будет продолжать глупо упорствовать, то он и Монтони бросят ее на произвол судьбы: тогда она увидит, каково бороться с презрением света!

Спокойствие, которое Эмилия старалась соблюдать в его присутствии, изменило ей, лишь только она осталась одна; среди горьких слез она призывала имя покойного отца и вспоминала советы, данные им на смертном одре.

«Правду говорил отец, — размышляла она про себя, — теперь я понимаю, насколько лучше сила и стойкость, нежели мягкость и чувствительность; постараюсь исполнить обещание, данное мною отцу: довольно тужить и плакать — надо с твердостью выносить притеснения, которых нельзя избегнуть».

Несколько успокоенная сознанием того, что она исполняет последний завет умирающего отца, Эмилия подавила слезы и, когда все собрались к обеду, старалась казаться спокойной и невозмутимой.

Пользуясь вечерней прохладой, дамы поехали кататься в коляске г-жи Кенель по берегам Бренты. Состояние духа Эмилии находилось в резком противоречии с оживлением веселых групп, собравшихся под тенью деревьев, осенявших волшебную реку. Некоторые танцевали, другие полулежали на траве, ели мороженое, пили кофе и безмятежно наслаждались прекрасным вечером и роскошными видами природы. Эмилия, взглянув на снежные вершины Апеннин, возвышающиеся вдаль, подумала о замке Монтони и вздрогнула от страха, всгюмнив, что он увезет ее туда и силою заставит повиноваться его воле. Но тут же она подумала, что и в Венеции она находится в его власти, точно так же, как и во всяком другом месте.

Взошла луна. Общество вернулось на виллу, где был накрыт ужин в прохладной зале, так восхитившей Эмилию вчера вечером. Дамы расположились на террасе, в ожидании прихода Кенеля, Монтони и других мужчин. Эмилия вся отдалась тихой меланхолии минуты. Вдруг какая-то барка остановилась у ступеней, ведущих в сад; Эмилия услышала голоса Кенеля и Монтони, а вслед затем и голос Морано. Вскоре он сам появился перед нею. Молча выслушала она его приветствия, и ее холодность в первую минуту как будто смутила графа. Однако он тотчас же оправился и развеселился, но Эмилия заметила, что любезность г. и г-жи Кенель претят ему. К такой низкопоклонной лести она даже не считала Кенеля способным: до сих пор ей случалось видеть его только в обществе равных или низших.

Удалившись в свою комнату, Эмилия невольно задумалась над тем, какими средствами заставить графа отказаться от своих притязаний; не лучше ли всего признаться ему откровенно в том, что сердце ее занято и, прибегнув к его великодушию, попросить его оставить свои преследования? Но когда на другой же день он опять повторил свои признания, она отдумала это делать. Гордость не позволяла ей открывать свою сердечную тайну такому человеку, как Морано, и прибегать к его состраданию; поэтому она отказалась от своего плана, удивляясь даже, как она могла остановиться на нем хоть на мгновение. Еще раз в самых решительных выражениях повторила она свой отказ, упрекая графа в назойливости. Граф как будто смутился, но и тут он опять не мог удержаться, чтобы не выразить ей своих восторженных чувств; на счастье Эмилии, подошла г-жа Кенель и прервала поток его пылких любезностей.

Все время, пока они гостили в этой прелестной вилле, Эмилию преследовали

ухаживания Морано и вдобавок жестокие упреки и настояния Кенеля и Монтони, по-видимому, тверже чем когда-либо решившихся устроить это сватовство. Наконец Кенель, убедившись, что ни уговаривания, ни угрозы не действуют и что ему не удастся сладить дело на скорую руку, отступился и поручил дело самому Монтони, надеясь, что все устроится в Венеции. Эмилия со своей стороны многого ждала от Венеции — там она будет по крайней мере избавлена от постоянного присутствия Морано и даже от Монтони, который опять заживет своей прежней рассеянной жизнью. Но под гнетом своих собственных страданий она не забывала о несчастной судьбе Терезы и трогательно умоляла Кенеля не покидать старуху. Тот дал обещание своим обычным небрежным тоном.

Монтони в длинной беседе с Кенелем условился насчет того, как сломить упрямство Эмилии, и Кенель обещал приехать в Венецию, как только его известят, что помолвка состоялась.

Эмилии казалось странным расставаться с кем-нибудь из своих родных, не испытывая никакого чувства сожаления; напротив, минута, когда она прощалась с Кенелями, была, может быть, единственная приятная за все время пребывания на вилле.

Морано вернулся в Венецию на барже Монтони, и Эмилия была принуждена покориться присутствию возле нее единственного человека, способного отравить ей искреннее восхищение видами приближающегося волшебного города. Они прибыли туда около полуночи. Наконец-то Эмилия вздохнула свободно, когда граф вместе с Монтони тотчас же отправился в казино, а ей разрешили удалиться к себе.

На другой день Монтони в немногих словах объяснил Эмилии, что он больше не позволит водить себя за нос и что раз брак с графом представляет для нее такие выгоды, то было бы безумием противиться ему, поэтому свадьба должна совершиться без дальнейших проволочек; в случае нужды обойдутся даже без ее согласия.

До сих пор Эмилия пробовала действовать с помощью увещаний, но теперь она прибегла к мольбам: в своем отчаянии она даже не соображала, что с таким человеком, как Монтони, всякие просьбы будут бесполезны. Между прочим она спросила его — по какому праву он так властно распоряжается ее судьбой. От подобного вопроса она несомненно удержалась бы в более спокойную минуту, так как он был напрасен и мог только доставить Монтони лишний случай восторжествовать над нею в ее беззащитном положении.

— По какому праву! — воскликнул Монтони со злобной усмешкой, — да просто потому, что я так хочу! В последний раз напоминаю вам, что вы одиноки, на чужбине, и что ваша прямая выгода заручиться моей дружбой. Каким способом — вам известно. Если же вы вооружите меня против себя, тогда берегитесь, вам придется плохо: вы должны знать, что меня нельзя дурачить!

Долго после ухода Монтони Эмилия находилась в состоянии безотрадного отчаяния; она была ошеломлена, и у нее в мыслях оставалось только одно — сознание своего глубокого несчастья. В этом состоянии застала ее г-жа Монтони; услышав ее голос, Эмилия подняла глаза, и тетка, немного смягчившись при виде ее измученного лица, заговорила с ней ласковее, чем когда-либо. Сердце Эмилии было растрогано; она залилась слезами и, оправившись, заговорила о предмете своего горя, стараясь возбудить сочувствие г-жи Монтони. Но хотя тетка и чувствовала некоторую жалость, однако не в силах была заглушить своих честолюбивых стремлений: ведь давно уже ее прельщала надежда увидеть свою племянницу графиней. Поэтому старания Эмилии были и с ней так же безуспешны, как и с ее мужем. Она удалилась в свою комнату — плакать и размышлять в одиночестве. Как часто вспоминалась ей сцена прощания с Валанкуром и как сильно жалела она о том, что итальянец не высказался тогда о Монтони с полной откровенностью! Когда мысли ее пришли в порядок после потрясения, вызванного сценой с Монтони, она старалась уверить себя, что ему все-таки будет невозможно силой принудить ее венчаться с Морано, если она не произнесет установленных слов обряда. Поэтому она тверже прежнего стояла на своем решении — лучше подвергнуться мстительности Монтони, чем отдать всю свою жизнь человеку, которого она презирала бы даже и тогда, если бы не существовало ее привязанности

к Валанкуру. Но как ни тверда была ее решимость, она трепетала, размышляя о злобе своего ужасного родственника.

Вскоре, однако, случилось одно происшествие, несколько отвлекшее от Эмилии внимание Монтони. После возвращения его в Венецию таинственные посещения Орсино стали повторяться все чаще. На эти полуночные совещания допускались, впрочем, и другие лица, между прочим Кавиньи и Верецци. Монтони стал еще сдержаннее и суровее в обращении с домашними, и если б Эмилия не была поглощена собственными заботами, она могла бы заметить, что у него в голове совершается какая-то тайная работа.

В один из вечеров, когда не происходило совещания, Орсино вдруг прибежал взволнованный и послал своего доверенного слугу в казино с наказом, чтобы он немедленно вернулся домой, причем не велел слуге называть его имени. Монтони явился, и Орсине сообщил ему о причинах переполоха, отчасти, впрочем, уже известных ему.

Один венецианский дворянин, имевший несчастье возбудить ненависть Орсино, был недавно завлечен в ловушку и зарезан наемными убийцами, а так как убитый имел большие связи, то сенат горячо взялся за это дело. Один из убийц был отыскан и арестован; он признался, что был подослан Орсино для совершения кровавого дела. Теперь Орсино, узнав об угрожавшей ему опасности, обратился к Монтони, чтобы посоветоваться с ним о средствах спастись. Он знал, что полицейские следят за цим по всему городу, поэтому выехать из Венеции немедленно не представлялось возможности. Монтони согласился приютить его на несколько дней у себя, пока не ослабнет бдительность правосудия, и затем помочь ему бежать из Венеции. Монтони сознавал, что сам подвергается опасности, скрывая Орсино в своем доме. Но, очевидно, он был настолько обязан этому человеку, что считал опасным отказать ему в убежище.

Такова была личность, которую Монтони удостаивал своим доверием и к которой чувствовал преданность и дружбу, насколько эти чувства были совместимы с его натурой.

Пока Орсино скрывался у него в доме, Монтони не желал привлекать внимания общества празднованием свадьбы Эмилии с графом Морано. Но через несколько дней это препятствие было устранено, преступник уехал, и тогда Монтони объявил, что свадьба состоится на другой день утром.

На уверения Эмилии, что этого никогда не будет, он отвечал язвительной усмешкой.

— Теперь я ухожу на весь вечер, — прибавил он, — а вы, пожалуйста, не забывайте, что завтра утром ваша свадьба с графом Морано!..

Эмилия давно уже знала, что ее испытания должны завершиться каким-нибудь кризисом; поэтому ее не особенно взволновало это заявление. Она старалась поддерживать себя мыслью, что брак не может считаться действительным, если она не согласится произнести перед священником установленные слова венчального обряда. Однако, по мере того как приближался момент испытания, ее измученная душа все более и более содрогалась. Она не была даже уверена в том, что ее упорное сопротивление перед алтарем послужит к ее спасению; она знала, что Монтони не постесняется даже нарушить закон, если это понадобится для достижения его цели.

Пока она терзалась этими размышлениями, ей доложили, что Морано желает видаться с ней; едва успела она отослать слугу с отказом, как уже раскаялась в этом. Вернувшись к своему первоначальному плану, она решила попробовать еще раз, нельзя ли чего-нибудь достигнуть просьбами и увещаниями, раз не подействовал суровый отказ; она позвала назад слугу и, сказав ему, что она согласна, приготовилась сойти вниз к графу.

Достоинство и наружное спокойствие, с каким она встретила его, и печальная покорность, смягчавшая строгость ее черт, нимало не склонили его отказать от нее — напротив, ее кроткий вид еще более распалял страсть, и без того уже отуманившую его рассудок. Он слушал все, что она говорила, с нежностью и желанием угодить ей; словом, старался всячески оплести ее, пуская в ход вкрадчивость, свойственную его характеру. Убедившись наконец, что ничем нельзя расшевелить в нем чувства справедливости, Эмилия торжественно повторила, что отвергает его предложение, и закончила уверением, что ее

решимость ему ничем не удастся сломить. Из чувства гордости она удерживалась от слез в его присутствии, но когда он ушел, слезы неудержимо хлынули из ее глаз. В своем отчаянии и тоске она часто призывала имя своего покойного отца и вспоминала о Валанкуре.

К ужину она не вышла и просидела одна в своей комнате, то отдаваясь своему горю и страху, то снова пробуя крепиться, чтобы с мужественным спокойствием встретить испытания завтрашнего утра, когда ей придется бороться с ухищрениями Морано и гневом Монтони.

Было уже довольно поздно, когда явилась к ней г-жа Монтони с подарками, присланными для Эмилии женихом. Весь день она нарочно избегала встречаться с племянницей; может быть, сердце ее немного смягчилось и она боялась увидеть горе Эмилии; а может быть, в ней наконец заговорила совесть и упрекнула ее в бессердечии по отношению к сироте, дочери ее брата, счастье которой было вверено ей умирающим отцом.

Эмилия не хотела даже взглянуть на подарки и сделала последнее, почти безнадежное усилие вызвать сострадание у г-жи Монтони; но та если и чувствовала какую-нибудь жалость и угрызения совести, однако тщательно это скрывала. Она начала упрекать племянницу в безрассудной печали, тогда как, напротив, ей следовало бы радоваться. «Я уверена, — говорила она, — что будь я не замужем и предложи мне граф руку и сердце, я была бы польщена его предложением, а уж вы-то тем более, милая моя, девушка без средств, должны считать себя счастливой и выказать ему благодарность за его снисходительность. Дивлюсь я, право, глядя, как скромно он держит себя перед вами, несмотря на ваши гримасы, дивлюсь его терпению; на его месте я не могла бы удержаться, чтобы не щелкнуть вас и посбить с вас спеси. Уж я-то не стала бы льстить и угождать вам: от этой лести вы и зазнаетесь. Я так прямо и говорю графу: мне противно видеть, как он лебезит перед вами, а вы-то и верите его комплинтам!».

— Уверяю вас, что мне самой еще противнее слушать эти сладости, — сказала Эмилия.

— Ну, это одно ломанье, — возразила тетка. — Я знаю, что его лесть восхищает вас и кружит вам голову; вы воображаете, будто весь мир у ваших ног! Но вы сильно ошибаетесь; могу вас уверить, милая моя, немного вам попадет в жизни таких поклонников, как граф, — всякий другой на его месте давно уже бросил бы вас.

— Ах, в таком случае, отчего граф не похож на этих других! — проговорила Эмилия с глубоким вздохом.

— Счастье для вас, что он не похож, — заметила г-жа Монтони, — и все это я теперь говорю, желая вам добра. Я стараюсь убедить вас, что вам повезло и что вы должны ухватиться за счастье обеими руками. Мне безразлично, по вкусу вам этот брак или нет, потому что он все равно состоится. Но я желаю вам добра, и вы сами будете виноваты, если не сумеете распорядиться со своим счастьем. Позвольте спросить вас серьезно, спокойно, на какую такую партию вы можете рассчитывать, если даже графа вам недостаточно!

— У меня и нет никакого честолюбия, — отвечала Эмилия, — единственное мое желание оставаться в теперешнем моем положении.

— Ах, это вздор! Я вижу, вы все еще думаете о месье Валанкуре! Пожалуйста, бросьте все эти бредни про влюбленность, бросьте свою глупую гордость и будьте, как все люди. Ведь это не поможет, все равно завтра состоится ваша свадьба с графом — даже против вашей воли. Граф не позволит над собой шутить.

Эмилия даже не пыталась возражать на эти странные речи; она чувствовала, что это было бы унижительно и бесполезно. Г-жа Монтони положила подарки графа на стол перед Эмилией и затем, сказав ей, чтобы она была готова рано утром, удалилась. Эмилия опять осталась наедине со своими грустными думами. Некоторое время она сидела в глубокой задумчивости, словно не сознавая, где она находится. Наконец, она подняла голову и обвела глазами комнату. Тишина и мрак поразили ее. Она уставилась на дверь, в которую только что вышла ее тетка, и старалась уловить хоть какой-нибудь звук, который облегчил бы ее безотрадное уныние. Но было уже поздно, весь дом спал, кроме одного слуги, дожидавшегося прихода Монтони. Под влиянием нервного возбуждения Эмилия невольно

поддалась каким-то фантастическим страхам; ей было жутко заглянуть в темные углы обширной комнаты; она боялась, сама не зная чего. Это состояние духа длилось так долго, что она готова была позвать Аннету, теткину горничную, но страх не позволял ей встать со стула и перейти через комнату.

Наконец, мрачные мысли стали понемногу рассеиваться, Эмилия легла в постель, не для того, чтобы заснуть, — это едва ли было возможно, — но чтобы по крайней мере успокоить свои расхолодившиеся нервы и собраться с силами к предстоящим испытаниям.

ГЛАВА XVIII

*О, сила темная! я с трепетным, смиренным духом
Молю тебя: побудь со мной, когда читаю я виденья старины
глубокой...*

Ода к страху Коллинза

Только что успела Эмилия забыться в тревожном полусне, как послышались быстрые постукивания в дверь; она вскочила в ужасе: мгновенно ей представилось, что это пришли Монтони с графом Морано, но, прислушавшись к голосу за дверью и узнав, что это горничная Аннета, Эмилия рискнула отворить.

— Что это значит, зачем ты пришла так рано? — обратилась она к горничной, дрожа всем телом.

— Милая барышня! На вас лица нет, такая вы бледная! — промолвила в ответ Аннета. — А у нас там внизу такой кавардак, что беда! прислуга бежит как угорелая, суэта, переполох, а в чем дело — никто не знает.

— Скажи мне, есть кто-нибудь чужой внизу? — спросила Эмилия. — Аннета, ради Бога, говори и не обманывай!

— Сохрани Бог, барышня, да стану ли я врать! Я всегда правду говорю. Наш синьор в страшных хлопотах — послал меня к вам сказать, чтобы вы поскорее собирались.

— Боже милостивый, поддержи меня! — воскликнула Эмилия, близкая к обмороку, — так значит, граф Морано уже пришел!

— Нет, барышня, кажется, его у нас нет, а только синьор наказывал, чтобы вы собирались сию минуту выехать из Венеции; гондолы будут поданы через несколько минут. Однако мне пора бежать к барыне: она совсем потеряла голову и впопыхах не знает, за что хвататься.

— Да объясни же мне наюнец толком, Аннета, что все это значит? — спросила Эмилия, до того ошеломленная неожиданностью и робкой надеждой, что едва могла перевести дух от волнения.

— Ишь чего захотели, барышня! я знаю одно, что синьор только что вернулся сильно не в духе, всех нас велел разбудить и сказал, что мы сейчас выезжаем из Венеции.

— Граф Морано тоже едет? и куда мы все отправляемся?

— В точности мне ничего неизвестно, барышня, но слыхала я от Людовико, будто едем мы в баринов замок, что в Апеннинах.

— В Апеннинах! — с жаром воскликнула Эмилия — Ну, тогда пропала надежда! ..

— Да-с, кажется, туда мы и едем, барышня. Только вы не унывайте, не больно принимайте это к сердцу, подумайте, как мало у вас времени на сборы, а синьор торопит нас! Ах, святой Марк-угодник! Я уже слышу плеск весел на канале — вот звуки ближе, ближе, а вот и стук слышен о ступени вниз. Наверное, это гондола подплывает.

Аннета выбежала из комнаты; Эмилия принялась готовиться к неожиданному отъезду, похожему на бегство. Едва успела она побросать свои книги и платья в дорожный сундук, как ее вторично позвали; она сбегала вниз, зашла в уборную тетки, где застала Монтони, который бранил жену за копотливость. Вскоре он вышел отдавать приказания своим людям. Тогда Эмилия спросила тетку о причине такого внезапного отъезда; та, по-видимому, тоже

ничего не знала и собиралась в дорогу, скрепя сердце.

Наконец вся семья уселась в гондолу, но ни граф Морано, ни Кавиньи не сопровождали их. Несколько успокоенная этим обстоятельством, Эмилия почувствовала себя как преступник, получивший отсрочку приговора, когда гондольеры взмахнули веслами и отчалили от ступеней дворца. Сердце ее повеселело, когда гондола вышла из канала в открытое море и когда они промчались мимо стен св. Марка, не остановившись, чтобы захватить с собою графа Морано.

Но вот заря окрасила алым блеском горизонт и берега Адриатики. Эмилия не решалась расспрашивать Монтони, который сидел некоторое время в угрюмом молчании, потом завернулся в свой плащ, как бы приготовясь спать; г-жа Монтони последовала его примеру; но Эмилия и не думала засыпать: она отдернула одну из занавесок гондолы и взглянула на море. Утренняя заря уже осветила Фриульские вершины; но склоны гор и морские волны, омывающие их подошвы, были еще погружены во тьму. Эмилия в тихой задумчивости наблюдала, как рассвет разливался по океану, обрисовывая постепенно всю Венецию с ее островками и берега Италии, вдоль которых зашевелились остроконечные латинские паруса.

Гондольеров часто окликали рыночные торговцы, спешившие в этот ранний час в Венецию, и скоро лагуны представили веселую картину бесчисленных лодочек, едущих от Тегга Firma и нагруженных всякой провизией. Эмилия бросила последний взгляд на роскошный город; но в эту минуту она была поглощена мыслями о том, что могло ожидать ее в тех краях, куда они ехали, и догадками насчет причин внезапного бегства из Венеции. Спокойно обсудив все обстоятельства, она пришла к выводу, что Монтони нарочно увозит ее в свой уединенный замок, чтобы там застрашать ее и тем принудить к повиновению; если же на нее не подействует и мрачное заключение, то свадьба ее с графом все-таки совершится против ее воли, обставленная полной таинственностью, которая нужна для безнаказанности Монтони. При этих мыслях та небольшая доля мужества, какую возбудила в ней отсрочка свадьбы, стала слабеть и, когда гондола причалила к берегу, Эмилия находилась по-прежнему в удрученном состоянии духа.

Монтони не захотел ехать водою по Бренте, и они продолжали путь в экипажах, по направлению Апеннин. Всю дорогу обращение его с Эмилией было еще суровее прежнего. Уже одно это подтверждало ее мрачные предположения. Живописная красота местностей, по которым они ехали, уже не восхищала ее. То она невольно улыбалась, слушая наивные замечания Аннеты, то глубоко вздыхала и при виде каких-нибудь особенно красивых мест вспоминала о Валанкуре. Вообще, он редко выходил у нее из памяти; с грустью думала она, как мало можно надеяться получать от него вести в той глуши, куда они едут.

Наконец начался подъем по горам. Дорога шла по дремучему сосновому лесу, в то время покрывавшему склоны Апеннин. Густая чаща заслоняла виды и только вдали угрюмо торчали вершины гор. Разве кое-где откроется прогалина среди темного леса и сквозь нее видны местности, лежащие у подножия скал. Мрак, царивший в лесу, безмолвие и пустыньность, грозные пропасти, порою зиявшие по сторонам дороги, наполняли душу Эмилии трепетом; вокруг ей представлялись зрелища, полные мрачного, сурового величия, а в душе у нее было так же черно и безотраднo. Ее везут неизвестно куда, она во власти деспота, жестокость которого она уже успела испытать; ее принуждают выйти за человека, которого она не может ни любить, ни уважать; она подвергнется всем ужасам мести; да еще мести итальянской!.. Чем больше она задумывалась над тем, что могло заставить Монтони так поспешно выехать из Венеции, тем более она убеждалась, что он это сделал с целью устроить ее брак с графом Морано насильно и тайком от всех, не компрометируя при этом своей чести и безопасности. Истрадавшееся сердце Эмилии сжималось от ужаса среди этих безлюдных пустынь, где они ехали; она с отчаянием размышляла о мрачном замке, о котором до нее уже раньше доходили недобрые слухи; хотя душа ее давно привыкла страдать, но теперь она испытала, что еще не лишена способности поддаваться новым, так сказать, местным впечатлениям: иначе разве стал бы пугать ее этот таинственный, уединенный замок?

По мере того как путники поднимались в гору среди соснового леса, по пути встречались все новые и новые кручи; горы словно умножались, и то, что представлялось вершиной одной горы, оказывалось в сущности — подошвой другой. Наконец достигли небольшого плоскогорья, где мулы остановились для отдыха; тут перед глазами путешественников развернулся такой обширный, такой волшебный вид, что даже г-жа Монтони ахнула от восторга. Эмилия на минуту забыла все свои горести перед очарованием природы.

За амфитеатром гор, уступы которых походили на волны океана, а подошвы были скрыты лесами, открывалась итальянская «Кампанья», где города и деревни, леса и реки — все слилось в какой-то пестрой мозаике. Горизонт замыкался Адриатикой, в которую реки По и Брента, пробежав по всему краю, вливали свои плодоносные воды. Эмилия долго любовалась роскошью того мира, который она покидала, — он являлся перед ее глазами в последний раз во всем своем великолепии, точно нарочно, чтобы еще усилить ее сожаление при разлуке с ним. Но для нее весь этот мир отождествлялся в одном Валанкуре. К нему одному рвалось ее сердце, о нем одном она проливала горькие слезы.

Отсюда путешественники продолжали подниматься еще выше, среди сосновых лесов; но вот они достигли узкого ущелья, тесно сдавленного меж грозных утесов, нависших над дорогой; там не замечалось ни следов человеческих, ни даже признаков растительности; только изредка виднелись стволы и ветви какого-нибудь дуба, свешивающегося чуть не вершиной вниз со скалы, к которой прикрепился своими цепкими корнями. Этот проход вел в самое сердце Апеннин, и в конце его открывалась нескончаемая перспектива гор, еще более диких и пустынных, чем те, какие до сих пор попадались им на пути. Густые сосновые леса покрывали их подошвы и увенчивали утесы, перпендикулярно вздымавшиеся над долиной, тогда как наверху в клубящемся тумане отражались солнечные лучи и оживляли вершины волшебной игрой света и теней. Виды беспрестанно менялись, и предметы принимали различные формы, по мере того как, благодаря извилистой дороге, являлись взорам путников с различных сторон; подвижные пары, то скрывая подробности картины, то опять освещая их роскошными отблесками, довершали иллюзию зрения.

При всей дикости и живописности этих видов, характер их все-таки был далеко не так величествен, как характер Альп, охраняющих вход в Италию. Эмилия, хотя и любовалась ими, но ни разу не испытала того чувства неизъяснимого восторга, который охватывал ее ежеминутно при переправе через Альпы.

К вечеру дорога стала спускаться в глубокую лощину. Ее обступали горы, щетинистые кручи которых казались почти недоступными. На востоке открывалась расщелина и оттуда виднелись Апеннины во всей их мрачной неприступности: длинная перспектива вершин, громоздящихся одна над другой, с хребтами, поросшими соснами, представляла величественную картину, поразившую Эмилию. Солнце садилось за вершины гор, по которым они спускались, и они бросали длинные тени в долину; косые лучи солнца, прорываясь сквозь щель в скале, озаряли желтым сиянием макушки леса на противолежащих крутизнах и со всей силой ударяли в башни и зубцы замка, простиравшего свои стены по самому краю утеса. Величественность этих ярко освещенных зданий еще усиливалась резкой тенью, сгустившейся внизу долины.

— Вот Удольфо! — промолвил Монтони.

Он заговорил в первый раз после нескольких часов молчания.

Эмилия с грустью и страхом глядела на замок, поняв из слов Монтони, что это и есть цель их путешествия. Хотя он в эту минуту освещался заходящим солнцем, но готический стиль его сооружений и серые стены, покрытые плесенью, придавали ему мрачный, угрюмый вид. Пока она рассматривала его, свет погас на его стенах, оставляя за собой печальный фиолетовый оттенок, который все сгущался, по мере того как испарения ползли вверх по горе, тогда как наверху зубцы все еще были залиты ярким сиянием. Но вот и там лучи скоро погасли, все здание погрузилось в торжественный вечерний полумрак. Безмолвное, одинокое, величавое, оно как бы царило над всем окружающим и сердито

хмурилось на всякого, кто осмелился бы подойти к нему. В сумерках очертания его стали еще суровее. Эмилия не отрывала от него глаз до тех пор, пока стали видны одни только башни, торчащие над макушками деревьев, под густой тенью которых экипажи начали взбираться по горе.

Пустынность и мрачность этих лесов вызывали страшные картины в ее воображении; ей казалось, что вот сейчас из-за дерева выскочат бандиты. Наконец экипажи въехали на каменистую площадку и вскоре достигли ворот замка; густой звук колокола, в который позвонили, чтобы известить об их приезде, еще усилил мрачное впечатление, охватившее Эмилию. Пока они ждали, чтобы слуга отпер ворота, она с беспокойством оглядывала все здание, но за темнотой могла различить только части его очертаний, с массивными стенами и брустверами, и вывести заключение, что замок старинный, огромный и мрачный. Из того, что она видела, можно было судить о массивности и громаде общего. Ворота, ведущие во дворы, были исполинских размеров и защищались двумя круглыми башнями с зубцами, откуда вместо флагов свешивались пучки длинной травы и дикие растения, пустившие корни среди заплесневелых камней; в них уныло шелестел ветер, точно вздыхая над окружающей пустыней. Башни соединялись стеной, также пробитой бойницами, а под нею виднелась остроконечная арка огромной спускной решетки; отсюда стены ограды тянулись до других башен, возвышающихся над пропастью, неровные очертания которых, еще видимые при отблеске зари, потухавшей на западе, говорили о разрушениях, причиненных во время войны. Все остальное тонуло в потемках.

Пока Эмилия с трепетом оглядывала здание, изнутри слышались шаги и стук снимаемых засовов; вслед затем показался старик слуга и с трудом стал раздвигать тяжелые створки ворот, чтобы пропустить своего господина. Когда колеса экипажа тяжело покатались под воротами, сердце Эмилии томительно заныло: ей показалось, что она попала в тюрьму. Мрачный двор, куда она въехала, подтверждал это впечатление, и ее чуткое воображение рисовало ей всякие ужасы.

Через другие ворота они въехали во второй двор, весь поросший травой, пустынный и унылый; она окинула взглядом окружающие ее высокие стены, увенчанные брионией и мхом, и торчащие над ними зубчатые башни. Ей представилось, что тут наверное во время оно происходили пытки и убийства; одно из тех мгновенных, безотчетных впечатлений, какие потрясают порою даже сильные души, наполнило ее ужасом. Чувство это не ослабело, когда она вошла в обширные готические сени, где царил вечерний сумрак; вдали мерцал тусклый свет сквозь длинную перспективу сводов, что еще усиливало впечатление мрачности. Слуга принес лампу; свет ее местами озарил колонны и остроконечные своды; освещенные части их образовали резкий контраст с тенями, протянувшимися по полу и по стенам.

Монтони нагрянул в замок так неожиданно, что не могли даже сделать никаких приготовлений к его принятию, хотя из Венеции и был послан слуга вперед. Это в известной степени объясняло заброшенное и неприглядное состояние, в котором они застали замок.

Слуга, вышедший с лампой навстречу приезжим, молча поклонился, и на лице его не проявилось никаких признаков радости, Монтони ответил на поклон легким движением руки и прошел дальше; жена его следовала за ним, озираясь с удивлением и неудовольствием, которое, очевидно, боялась выказывать, а Эмилия шла сзади и робко оглядывала огромные величественные сени; достигли монументальной мраморной лестницы. Тут арки раздавались в высокий свод; с него свешивалась лампа, которую слуга торопливо зажигал. Скоро обнаружилась богатая лепная работа потолка, коридор, ведущий в верхние покои, и расписное окно, простиравшееся от пола почти до потолка сеней.

Пройдя по нижней площадке лестницы и через прихожую, они вступили в просторную комнату, стены которой, обшитые темным деревом лиственницы — продуктом соседних гор, — почти сливались с потемками.

— Подайте еще света, — приказал Монтони.

Слуга, поставив лампу, удалился, чтобы исполнить приказание; г-жа Монтони

заметила, что вечером холодно в этих гористых местностях и что она желала бы погреться. Тогда Монтони распорядился, чтобы принесли дров.

Пока он задумчиво шагал по комнате, а жена его молча сидела на кушетке, ожидая возвращения слуги, Эмилия наблюдала странную торжественность и запустение этой комнаты при свете одинокой лампы, поставленной у большого венецианского зеркала, отражавшего высокую фигуру Монтони, медленно шагавшего взад и вперед со сложенными на груди руками и с лицом, отчасти закрытым тенью от длинного пера, украшавшего его шляпу.

Между тем, глядя на эту сцену, Эмилия невольно задумалась над тем, что ожидает ее в этом замке... На нее нахлынули воспоминания о Валанкуре, о далекой родине, и сердце ее наполнилось тихой грустью. Глубокий вздох вырвался из груди ее, но, стараясь скрыть слезы, она отошла к одному из высоких окон, выходящих на зубчатую стену. Внизу расстилались леса, по которым они проезжали вчера. Но тьма ночная окутывала далекие возвышенности; на горизонте, где еще виднелась алая полоса, можно было смутно различить только зубчатые очертания гор. Долина потонула во мраке.

Но и в комнате, когда Эмилия обернулась, услышав отворяющуюся дверь, ей представилась картина едва ли менее унылая. Вошел старый слуга, тот самый, что встречал приезжих, и принес вязанку сосновых сучьев, за ним двое слуг Монтони внесли свечи.

— С приездом честь имею поздравить, эчеленца, — промолвил старик, подымаясь от камина, куда наложил дров, — давно к нам никто не заглядывал; уж вы извините великодушно, синьор, не все у нас в порядке, не успели мы

справиться. Вот уже скоро два года минет — в день св.Марка, — что вы не изволили жаловать сюда.

— Верно, старый Карло, у тебя хорошая память, — заметил Монтони. — Но скажи, как это ты умудрился прожить до этих лет?

— Протянул с грехом пополам, синьор; тяжело приходится мне только зимой, когда холодный ветер рыщет по замку; не раз уже хотел я просить у вашей милости отпустить меня вниз, в равнину. Да вот все никак не могу расстаться с этими старыми стенами — ведь я в них весь свой век прожил.

— Ну, как вы тут поживали после того, как я уехал? — осведомился Монтони.

— Да ничего, по-прежнему, синьор; но только, смею доложить, замок-то сильно нуждается в починке. Вот хотя бы в северной башне некоторые зубцы обвалились; случилось раз, что обломок упал на голову моей бедной старухе (упокой, Господи, ее душеньку!). Было бы известно вашей милости...

— Ты начал что-то говорить про починки, — прервал его Монтони.

— Ах, да... починки... — подхватил Карло, — так вот, часть крыши в большой зале рухнула и зимою ветер с гор так и врывается внутрь и гуляет по всему дому, так что нигде места не найдешь. Мы с женой сидели и тряслись у камина в углу людской, просто чуть не замерзли до смерти, и...

— Так больше не нужно никаких исправлений? — нетерпеливо заметил Монтони.

— Ах ты. Господи, эчеленца, ну как же не нужно! Стена ограды обрушилась в трех местах; затем лестница, что ведет в западную галерею, давно уже так плоха, что по ней опасно ходить; тоже и коридор к дубовой комнате, что над северной стеной — раз ночью я сунулся туда один и, эчеленца...

— Ну, ладно, будет об этом, — поспешно остановил его Монтони, — завтра я потолкую с тобою.

Камин был растоплен; Карло аккуратно подмел пол, расставил стулья, вытер пыль с большого мраморного стола и вышел из комнаты.

Монтони и его семейство уселись вокруг камина. Несколько раз г-жа Монтони делала попытки завязать разговор, но суровые ответы мужа обрывали беседу. Эмилия долго набиралась храбрости, чтобы заговорить с ним и наконец произнесла твердым голосом:

— Смею я спросить, синьор, что была за причина нашего неожиданного отъезда?

После длинной паузы она даже нашла в себе достаточно смелости, чтобы повторить вопрос.

— Я не намерен отвечать на праздные вопросы, — оборвал Монтони, — да и вам не подобает допытывать меня. Погодите, время все раскроет; я не желаю, чтобы ко мне приставали. Советую вам удалиться в свою спальню и отогнать всякие бредни и лишнюю чувствительность, которую, говоря снисходительно, можно назвать только слабостью.

Эмилия встала, собираясь уходить.

— Покойной ночи, тетя, — с напускным спокойствием обратилась она к тетке, но в голосе ее тем не менее звучало волнение.

— Покойной ночи, душа моя, — отозвалась г-жа Монтони ласковым тоном, какого племянница никогда не слыхивала от нее раньше.

Эта неожиданная ласка вызвала слезы на глазах Эмилии. Она поклонилась Монтони и направилась к двери.

— Но вы, вероятно, не знаете, как пройти в свою комнату, — заметила тетка.

Монтони позвал слугу, ждавшего в передней, и приказал прислать горничную барыни; с нею Эмилия вышла.

— Знаешь ты, которая моя комната? — спросила она Аннету, когда они проходили через сени.

— Да, кажется, знаю, барышня. Такой чудной здешний дом: с непривычки долго ли заблудиться?.. Говорят, вам отведена так называемая парная комната над южной террасой; туда можно попасть, если идти по большой лестнице. Барынина комната в противоположном конце замка.

Эмилия поднялась по мраморной лестнице и пошла по коридору; Аннета болтала без умолку.

— Право, диковинный здесь дом, барышня! Жутко в нем жить! И угораздило же меня уехать из Франции!.. Ведь не думала я, не гадала, отправляясь с барыней путешествовать и повидать свет, что нас запрячут в такую трущобу! Лучше бы оставалась я преспокойно на родине... Сюда пожалуйста, барышня, вот поворот... Здесь так и лезут в голову сказки про великанов — замок как будто для них построен; по ночам, верно, тут пляшут феи — в этих огромных залах. Ишь ведь, ни дать ни взять церковь с этими высокими колоннами!

— Да, — промолвила Эмилия с улыбкой, радуясь возможности отвлечь свои мысли от более удручающих тем, — если прийти в этот коридор в полночь и заглянуть отсюда вниз в сени, то, наверное, можно увидеть волшебное зрелище: горят тысячи ламп и хороводы фей весело танцуют при звуке волшебной музыки — именно в таких местах они любят водить хороводы. Только боюсь, Аннета, тебе не удастся полюбоваться ими: ты не выдержишь, непременно заговоришь, а они этого не любят — при одном звуке человеческого голоса пропадают в один миг...

— О, если вы пойдете со мной за компанию, барышня, так я приду, пожалуй, в коридор нынче же ночью и обещаю держать язык за зубами: не моя будет вина, если феи убегут! А в самом деле, как вы думаете, придут они?

— Не могу обещать тебе; но верю, что ты не нарушишь волшебные чары!

— И на том спасибо, барышня; это вы хорошо сказали. Фей-то я не так боюсь, как привидений; говорят, их пропасть водится здесь в замке. Я до смерти перепугаюсь, коли встречу привидение. Тсс... тише, барышня, как будто что-то промелькнуло мимо...

— Что за нелепость! — сказала Эмилия, — не надо верить всякому вздору.

— Ах, барышня, вовсе это не вздор. Бенедетто мне сказывал, что в этих самых галереях и залах только и жить что привидениям; чего доброго, если долго пробудешь здесь, так сам превратишься в привидение!

— Однако, берегись, чтобы про все это не дошло до синьора Монтони, — сказала Эмилия, — эти глупые страхи ему очень не понравятся.

— Как? — вам и про это известно! — воскликнула Аннета. — Нет, нет, конечно я не стану ничего такого говорить при нем; хотя, если сам синьор может спать спокойно, то ни

одна душа е замке не имеет причин страдать бессонницей — в этом я уверена.

Эмилия пропустила мимо ушей это замечание.

— Вот сюда вниз пожалуйста, барышня, этот коридор ведет на черную лестницу. Ох, если я что увижу, так я с ума сойду от страха!

— Ну, это едва ли будет возможно, — пошутила Эмилия, следуя за Аннетой по извилистому коридору, выходящему в другую галерею. Аннета, заметив, что она заблудилась, покуда так красноречиво разглагольствовала о феях и привидениях, заметалась по ходам и коридорам и наконец, перепуганная их пустынностью и запутанностью, стала громко звать на помощь; но слуги не могли ее услышать, — они были на другом конце замка; Эмилия, наконец, отворила наугад какую-то дверь по левую руку.

— Ах, не ходите туда, барышня! — взмолилась Аннета, — вы только еще пуще заблудитесь.

— Давай сюда свечу, — приказала Эмилия, — может быть, мы найдем дорогу через эти комнаты.

Аннета стояла у двери в колебании, высоко подняв свечу, чтобы видна была вся комната, но слабый свет освещал только половину ее.

— Чего ты трусишь? — сказала ей Эмилия, — я хочу посмотреть, куда выходят эти покои.

Аннета, скрепя сердце, шагнула вперед. За этой комнатой следовал целый ряд просторных старинных покоев, — одни были увешаны коврами, другие обшиты панелями из темного кедрового дерева. Мебель казалась такой же старинной, как и самый дом, но сохранила вид величия и былой роскоши, хотя была покрыта слоем пыли и уже приходила в разрушение от сырости и ветхости.

— Какая стужа в этих комнатах, барышня! — восклицала Аннета, — никто здесь не живет вот уже много-много лет — так мне сказывали. Но пойдем дальше.

— Может быть, эти комнаты выведут нас на главную лестницу, — заметила Эмилия.

Девушки пошли дальше; достигнув комнаты, увешанной картинами, они стали разглядывать одну из них, изображавшую поле битвы и воина верхом на коне, готовившегося пронзить копьем человека, который лежал под ногами у коня и протягивал руки умоляющим жестом. Воин, у которого забрало было поднято, глядел на свою жертву злобным, мстительным взором, и это лицо живо напомнило Эмилии черты Монтони. Она вздрогнула и отвернулась, поспешно отведя свечу, она натолкнулась на другую картину, задержанную черным шелковым покрывалом. Эта странность поразила ее, и она остановилась перед картиной, намереваясь снять покрывало, но у нее не хватало мужества.

— Матерь Божья! что это значит? — воскликнула Аннета. — Наверное, это та самая картина, о которой мне что-то рассказывали в Венеции.

— Какая картина? Что ты говоришь? — спросила Эмилия.

— Ну, картина... картина, — твердила Аннета, — но только я так и не могла добиться, что в ней особенного.

— Сними-ка покрывало, Аннета.

— Полно! Что вы выдумали, барышня! Да ни за что на свете!

Эмилия, обернувшись, увидела, как щеки Аннеты побледнели.

— Ну, так скажи мне, милая моя, что ты слышала про эту картину такого страшного?

— Да ничего, ровно ничего, барышня, пойдемте искать выхода.

— Конечно, пойдем, но раньше я хочу взглянуть на картину; поддержи свечу, Аннета, а я сниму покрывало.

Аннета взяла в руки свечу и тотчас же отбежала с нею прочь, не обращая внимания на приказание Эмилии подойти; наконец Эмилия, не желая оставаться одна в потемках, последовала за горничной.

— Скажи на милость, что это значит, Аннета, — спросила Эмилия, догнав ее, — что ты слыхала про эту картину и почему ты не хочешь остановиться, когда я тебе приказываю?

— И не спрашивайте; я не знаю, ничего не знаю толком, барышня, — отвечала

Аннета, — а только слыхала, что с этой картиной связано какое-то ужасное преступление, и вот с той поры она задернута черным; никто не заглядывает на нее уже много, много лет; эта история имеет отношение к прежнему хозяину, к тому, что владел замком до синьора Монтони, и...

— Хорошо, Аннета, — улыбнулась Эмилия, — я убедилась, действительно, что ты ничего не знаешь толком про эту картину.

— Ничего, право ничего, барышня, потому что, видите ли, с меня взяли слово никому не говорить... но...

— Хорошо, хорошо, — остановила ее Эмилия, заметив, что она борется между желанием разболтать тайну и страхом последствий. — Я не стану больше расспрашивать.

— И не надо, барышня, пожалуйста!

— Иначе ты все разболтаешь?

Аннета опять покраснела, а Эмилия улыбнулась, и обе, дойдя до последней комнаты анфилады, очутились опять на площадке мраморной лестницы; там Аннета оставила Эмилию, а сама побежала за кем-нибудь из слуг замка, кто мог бы указать им комнату, назначенную барышне.

Пока она ходила, мысли Эмилии опять обратились к картине; ей не хотелось допытывать служанку и заставить ее объяснить странные намеки, вырвавшиеся у нее насчет Монтони, но любопытство ее было возбуждено до крайности. Она даже готова была сейчас же пойти назад в таинственную комнату и рассмотреть картину; но ее удерживали — поздний час, пустыньность дома, тишина, царившая вокруг, и какое-то жуткое чувство, навеянное таинственной картиной. Однако она решила про себя непременно пойти туда днем и отдернуть черное покрывало, закутывавшее портрет. Облокотясь о перила лестницы и внимательно озираясь вокруг, она опять обратила внимание на массивность стен, теперь уже пришедших в некоторое разрушение, я толстых мраморных колонн, подымавшихся от самого низа и подпиравших потолок.

Наконец появился слуга вместе с Аннетой я провел Эмилию в назначенную ей комнату, помещавшуюся в отдаленном углу замка, в самом конце коридора, откуда как раз выходит ряд комнат, по которым они так долго блуждали. Уединенность и мрачность ее комнаты так неприятно поразили Эмилию, что ей не хотелось отпускать от себя Аннету, впрочем, ее угнетал не столько страх, сколько сырость и холод, стоявшие в комнате. Она попросила Катерину, служанку при замке, принести дров и затопить камин.

— Да, барышня, давненько здесь не топили, — сказала Катерина.

— Ну, это не новость, мы и без тебя видим, добрая женщина, — вмешалась Аннета, — тут что ни комната, то погреб! Удивляюсь, как это вы можете жить в такой храмине; а что до меня касается, то я желала бы опять очутиться в Венеции.

Эмилия рукой подала знак Катерине, чтобы она скорее принесла дров.

— Удивляюсь, барышня, почему все здесь называют эту комнату «парной», — начала опять Аннета, в то время как Эмилия молча оглядывала свое новое жилище; она заметила, что комната просторна и высока, как и все остальные; как у многих из комнат замка, стены ее были обшиты панелями из

темного кедрового дерева. Кровать и прочая мебель были очень старинные; от них веяло каким-то мрачным величием, как, впрочем, и от всего, что попадалось ей на глаза в замке. Одно из высоких окон, которое Эмилия сейчас же открыла, выходило на часть террасы, но все, что было внизу под нею, тонуло во мраке ночи.

В присутствии Аннеты Эмилия старалась казаться бодрой и удерживала слезы, беспрестанно наворачивавшиеся ей на глаза. Она хотела осведомиться, скоро ли ждут приезда графа Морано в замок; но ее удержала неохота задавать лишние вопросы и посвящать служанку в семейные дела. Между тем мысли Аннеты обратились на другой предмет: она была большая охотница до всего чудесного и слыхала про одно таинственное обстоятельство, связанное с замком и сильно интересовавшее ее. Хотя ей приказано было молчать, но именно поэтому ее так и подмывало проболтаться: ну, в самом деле, разве не

обида — такое диковинное дело и вдруг ни слова о нем не велено говорить! это казалось ей сущим наказанием. Но она знала, что Монтони может подвергнуть ее еще большему наказанию, и поэтому боялась послушаться.

Между тем Катерина принесла дров, и яркое пламя камина рассеяло на время мрак унылой комнаты. Катерина передала Аннете, что ее зовет барыня, и Эмилия скоро осталась одна со своими размышлениями. Сердце ее еще не закалилось против сурового обращения Монтони; нежность и ласка, к которым она с детства привыкла в доме покойных родителей, делали ее особенно чувствительной ко всякой грубости, и она никак не ожидала такого резкого переворота в своей судьбе.

Чтобы отвлечь свое внимание от удручающих мыслей, она встала и опять стала рассматривать свою комнату и всю обстановку. Обходя ее кругом, она прошла мимо двери, оказавшейся неплотно затворенной и, заметив, что это не та дверь, через которую она вошла, взяла свечу, чтобы удостовериться, куда ведет этот ход. Она отворила дверь и чуть не упала вниз по узкой крутой лестнице, сдавленной между двух каменных стен. Ее сильно заинтересовал вопрос, куда ведет эта лестница, тем более, что она непосредственно сообщалась с ее спальней. Но в настоящем состоянии духа у нее не хватило мужества пуститься на исследования, одной, впотемках. Плотнo затворив дверь, она пыталась запереть ее, но заметила, что в ней нет задвижки изнутри, между тем как снаружи имеются целых два засова.

Приставив к двери тяжелый стул, она несколько исправила этот недостаток: однако жутко было подумать, что ей придется провести ночь одной-одинешеньке в дальней части замка, в комнате, где есть дверь, ведущая Бог знает куда и притом не запирающаяся изнутри. Минутами ей приходило в голову попросить тетку, чтобы она позволила Аннете переночевать у нее сегодня; но она боялась, что ее заподозрят в ребяческой трусости. Кроме того, ей не хотелось давать пищу страхам Аннеты.

Тревожные размышления ее были прерваны шумом шагов по коридору; она обрадовалась, увидав Аннету, принесшую ей ужин, присланный г-жой Монтони. Придвинув стол к камину, она заставила добрую девушку сесть и поужинать с ней вместе. Окончив легкую трапезу, Аннета, ободренная добротой своей госпожи, поправила огонь, так что пламя опять ярко вспыхнуло, придвинула свой стул к Эмалии и начала:

— Слыхали ли вы, барышня, какими путями наш синьор сделался владельцем этого замка?

— Опять у тебя в запасе какая-то диковинная история? Ну, рассказывай, — проговорила Эмилия, скрывая любопытство, возбужденное этими таинственными намеками.

— Да, кое-что я про это знаю, — отвечала Аннета, озираясь и еще ближе придвигаясь к Эмилии. — Бенедетто мне все сказывал намеренно, как мы ехали с ним вместе. «Аннета, — говорит, — вы, наверное, ничего не знаете про тот замок, куда мы едем?» — «Нет, — говорю, — месье Бенедетто, а разве есть что особенное?». Вы, барышня, конечно, сумеете соблюсти тайну, а то бы я не стала вам говорить, ни за что на свете! Я ведь обещалась молчать: синьор так не любит, чтобы про это болтали.

— Если ты дала слово хранить секрет, — возразила Эмилия, — то, конечно, не имеешь права открывать его.

Аннета немного запнулась, потом сказала:

— О, только вам, барышня, вам одной и больше никому... Вам-то можно довериться, уж я знаю!

Эмилия улыбалась.

— Конечно, я так же свято сохранию тайну, как и ты, Аннета.

Аннета с серьезным лицом продолжала свое повествование:

— Замок этот, надо вам знать, барышня, старинная и очень сильно укрепленная твердыня; говорят, он выдержал несколько осад. И не всегда принадлежал он синьору Монтони, или его роду — отцу и деду; но, по какому-то закону, он должен был перейти к

нашему синьору, если синьора умрет, не выйдя замуж! ..

— Какая синьора? — с удивлением перебила Эмилия.

— Погодите, до этого я еще не дошла, про нее-то я и хочу рассказать вам, барышня. Эта синьора жила себе в этом замке, в большой роскоши и почете. Синьор часто наезжал к ней в гости и был до страсти влюблен в нее, хотя и родственником ей приходился, да это ничего не значит. А она любила кого-то другого, а нашего-то и знать не хотела; вот он и злился. А вы сами знаете, какой он страшный делается, когда сердится. Может быть, она видела его в гневе, потому и не соглашалась полюбить его. Ну, так вот; синьора все печалилась и грустила... Пресвятая Богородица, что за шум? Разве вы не слышали какие-то звуки, барышня?

— Это ветер завывает, — отвечала Эмилия. — Но кончай свой рассказ. Что же дальше?

— Так вот я и говорю... На чем бишь я остановилась?... Долго наша синьора тужила и печалилась, и все прогуливалась по террасе, что под окнами. Ходит одна-одинешенька и заливается-плачет! Сердце надрыдается на нее глядячи...

— Ну, хорошо, говори короче: в чем же суть твоей истории?

— А я лучше по порядку, барышня; все это я слыхала еще раньше, в Венеции, но что будет дальше — того я не знала до сегодняшнего дня. Случилось это давно, много лет тому назад, когда еще синьор Монтони был совсем юношей. Та синьора — звали ее синьора Лаурентини — была писаная красавица, но и с ней тоже случались припадки вспыльчивости, точно так же, как и с синьором. Увидав, что никак нельзя добиться ее любви, что, вы думаете, сделал синьор? Взял да и уехал из замка и долго-долго глаз не показывал. А синьоре было все равно, она плакала по-прежнему с утра до ночи. Вот раз вечером... Святые угодники! Барышня! — воскликнула вдруг Аннета, глядите-ка на лампу, какой у нее синий огонь!

Девушка стала испуганно озираться.

— Смешная ты! — улыбнулась Эмилия, — ну, чего трусишь? Пожалуйста, кончай свою историю: я очень устала!

Аннета, не отрывая глаз от лампы, продолжала тихим голосом:

— Раз вечером, кажется, около половины сентября, то бишь октября, а не то и в ноябре месяце, словом, раз как-то в конце года, гуляет наша синьора по обыкновению в лесу, что под замком, в одиночестве — на этот раз с ней, впрочем, была служанка. Дул холодный ветер, вздымая сухие листья и уныло завывая между тех старых каштанов, что мы видели и проездом в замок, — мне Бенедетто указал на них; было холодно, и служанка убеждала барыню вернуться домой. Но та и слышать не хотела; она всегда была охотница бродить по лесу в вечернюю пору, а если ветер воет и листья падают — ей и любо! В замке-то видели, как она пошла в лес; но вот настала ночь, а синьора не возвращается; бьет десять, одиннадцать часов, наконец полночь — ее все нет! Слуги подумали, что, наверное, с нею беда приключилась и отправились искать ее. Проискали всю ночь, но ее и след простыл. Так и сгинула без вести!..

— Неужели это правда, Аннета? — спросила Эмилия с волнением.

— Правда, барышня, — отвечала Аннета с ужасом, — сушая правда!.. Но говорят, — прибавила она, понизив голос, — будто уже гораздо позже, несколько раз видели синьору бродящей по лесу и вокруг замка по ночам: старые слуги, остававшиеся здесь после нее, уверяют, будто видели ее, а потом ее встречал кто-то из вассалов, случившихся в замке вечером. Карло, старый дворецкий, мог бы порассказать много ужасов, кабы только захотел...

— Однако, как все это сбивчиво, Аннета, — проговорила Эмилия. — То ты говоришь, что она пропала без вести, а то опять уверяешь, будто ее видели!

— Все это мне рассказывали под большим секретом, — заявила Аннета, обратив внимание на замечание Эмилии, — и я уверена, барышня, вы не захотите повредить мне и Бенедетто, передав синьору то, что я доверила вам.

Эмилия молчала, и Аннета повторила свою последнюю фразу.

— Тебе нечего бояться моей нескромности, — отвечала Эмилия, — напротив со своей стороны советую тебе, милая Аннета, самой-то не болтать и никому не повторять того, что ты сейчас рассказывала мне. Синьор Монтони, ты сама говоришь, рассердится, если это дойдет до его ушей. Но разве не снарядили поисков за исчезнувшей синьорой?

— Ох, еще бы! ее долго разыскивали, потому что синьор немедленно предъявил свои права на замок, как ближайший наследник. Но ему объявили, — суд ли, сенаторы ли, или другой кто в этом роде, — что он не может быть введен во владение замком, пока не пройдет много лет, а если и тогда синьора не отыщется, то ее сочтут умершей и замок делается его собственностью. Вот так-то он и достался ему с течением времени. Но история эта получила огласку, и пошли слухи, такие странные слухи, что лучше уж я не стану повторять их...

— Ну, это еще страннее, — с улыбкой заметила Эмилия, как бы пробуждаясь от задумчивости. — Но когда синьору Лаурентини потом встречали в замке, никто не говорил с нею?

— Говорить с нею? — воскликнула Аннета в ужасе. — Что вы, барышня? Конечно, нет.

— А почему же и нет?

— Царица Небесная! разве можно говорить с призраком?

— Но какие были основания считать ее призраком, раз так никто к ней не подходил и не разговаривал с нею?

— Ах, барышня, уж, право, и не знаю. Можно ли задавать такие ужасные вопросы? Никто никогда не видел это привидение выходящим из замка, или входящим туда. Оно переносилось точно чудом с места на место, то здесь его видят, то на другом конце замка, и никогда оно не произносило ни слова, а будь это живой человек, скажите на милость, что бы ему делать в замке, если он ничего не говорит? С той поры в некоторые части замка никто больше не заглядывал и говорят — по этой самой причине.

— По той причине, что синьора все молчала? — сказала Эмилия, стараясь высмеять то, что в ней самой уже начинало возбуждать некоторый страх.

— Да нет же, барышня, совсем не из-за этого, — с досадой промолвила Аннета, — а потому, что там показывалось что-то страшное; говорят, есть в замке старая часовня, смежная с западным крылом замка, так вот там иногда в полночь слышатся такие стоны!., так мурашки по спине и забегают, как только подумаешь... и кто-то будто вздыхает, да так тяжело...

— Пожалуйста, Аннета, перестань повторять эти глупые сказки...

— Глупые сказки, барышня! А вот послушайте-ка еще одну историю — мне ее рассказывала Катерина. В одну холодную зимнюю ночь Катерина (она часто приходила тогда в замок навещать старого Карло и его жену; потом Карло рекомендовал ее синьору, и она осталась жить в замке), так вот Катерина сидела с ними в людской. Карло и говорит ей: знаешь, хорошо бы теперь испечь каштанов из того запаса, что сложен в кладовой, да только далеко туда идти; самому-то лень; сходи-ка ты, девка, принеси нам каштанов горсточку-другую. Лежат они в углу кладовой, что в конце северной галереи. Захвати с собой лампу. Да гляди, чтоб ветер на главной лестнице не задул огня. Катерина взяла лампу и отправилась... Чу, барышня, слышите, что это опять за шум?

Эмилия, заразившаяся страхами Аннеты, внимательно прислушивалась; все было тихо, и Аннета продолжала:

— Вот Катерина и пошла в северную галерею, ту самую, барышня, по которой мы с вами проходили, прежде чем дошли до здешнего коридора. Шла она со своей лампой, ни о чем не думая особенном... Вот опять! — вдруг крикнула Аннета, — я слыхала еще раз! Значит, это вовсе не было одно воображение.

— Тише! — остановила ее Эмилия, вся дрожа.

Обе стали опять прислушиваться, и продолжали сидеть не шевелясь. Эмилия услышала тихий стук о стену. Звук повторился. Аннета громко вскрикнула, вслед затем дверь медленно отворилась. Это была Катерина, пришедшая сказать Аннете, что ее зовет барыня. Хотя Эмилия и увидела теперь, кто это, но она не могла сразу преодолеть своего испуга. Аннета

же, не то плача, не то смеясь, выбрала Катерину за то, что она так перепугала их. Кроме того Аннета боялась, не подслушала ли девушка того, что она рассказывала. Эмилия, воображение которой было глубоко взволновано рассказами Аннеты, не хотела бы оставаться одна в настоящем состоянии ее духа. Но, боясь вызвать неудовольствие г-жи Монтони и выдать свою собственную слабость, она всеми силами старалась побороть свои страхи и отпустила-таки Аннету.

Оставшись одна, она задумалась над странной судьбой синьоры Лаурентини и перешла затем к своему собственному жалкому положению в замке среди диких, пустынных гор, во власти человека, который еще так недавно был ей совсем чужой. Она уже успела испытать на себе его деспотизм и глядела на него с ужасом; очевидно, такое же мнение имели о нем и другие. Она знала, что Монтони хитер, изобретателен и ни перед чем не остановится для осуществления своих планов, знала, что в его сердце не найдется ни искры жалости. Она давно уже замечала, как несчастна ее тетка, и часто была свидетельницей сурового, презрительного обращения с нею мужа. К этим обстоятельствам, дававшим ей справедливый повод к тревоге, прибавились теперь эти смутные страхи: они возникали под влиянием фантазии и не поддавались рассудку.

Эмилия помнила все, что рассказывал ей о Монтони Валанкур накануне отъезда из Лангедока, и как он старался отговорить ее от этого путешествия. Впоследствии ей не раз казалось, что эти страхи были пророческими, и теперь они явно подтверждались. Рисуя себе образ Валанкура, сердце ее томилось тщетным сожалением; но рассудок тотчас же подоспевал с утешением, слабым сначала, но постепенно крепнувшим, под влиянием размышления. Она сознавала, что как ни велики ее страдания, но она и теперь не захотела бы навлечь несчастья на любимого человека, и что бы ни довелось ей вынести впредь, ей по крайней мере не придется упрекать себя.

Ее грустному настроению вторило унылое завывание ветра в коридорах и вокруг замка. Веселое пламя дров давно погасло и Эмилия сидела, уставив глаза в потухающую золу; вдруг сильный порыв ветра, промчавшись по коридору, потрясая дверь и оконные рамы, заставил ее вздрогнуть. От порыва ветра сдвинулся даже стул, приставленный к двери, и эта дверь, ведущая на потайную лестницу, открылась наполовину. Страх и любопытство проснулись в душе Эмилии с новой силой. Она вынесла лампу на лестницу и постояла там в колебании, спуститься ли ей вниз. Но опять глубокое безмолвие и окружающий мрак наполнили ее ужасом. Решившись наконец навести справки завтра, когда при дневном свете будет легче произвести осмотр, она затворила дверь и приставила к ней тяжелую мебель.

После этого она улеглась в постель, оставив горящую лампу на столе; но ее тусклый свет, вместо того чтобы рассеять ее страхи, напротив, еще усиливал их. При слабом свете лампы ей чудилось, что она видит какие-то образы, скользящие мимо ее полога и забирающиеся в темные углы ее комнаты. На башне пробило час ночи, а она еще не смыкала глаз.

ГЛАВА XIX

*Усталость глаз, должно быть, создает
Ужасный призрак... он ко мне подходит.*
Юлий Цезарь

Дневной свет рассеял суеверные страхи Эмилии, но не успокоил ее душевной тревоги. Лишь только она проснулась, образ графа Морано первый представился ее мыслям, а вслед затем потянулась целая вереница ожидаемых несчастий, которых она не могла ни победить, ни избежать. Она встала и, чтобы отогнать мучительные мысли, заставила себя заняться посторонними предметами. Из окна открывался суровый, величественный вид, почти со всех сторон замкнутый горами, вершины которых, громоздясь одна над другой, терялись в туманной мгле, тогда как внизу чернели леса, сбегавшие до самой подошвы и наполнявшие

узкие долины. Роскошь и величие этих лесов особенно поражали Эмилию; с интересом оглядывала она также укрепления замка, тянущиеся на большое протяжение по утесам и отчасти пришедшие в разрушение, величественные парапеты, башни с бойницами и другие детали верхней части здания. Отсюда глаза ее переносились через скалы и леса в долину, по которой пенился широкий, быстрый поток, ниспадавший с противоположных высот, то сверкая в солнечных лучах, то почти скрываясь под густой зеленью. Но вот поток опять вырывался из чащи широкой полосой белой пены и с грохотом низвергался в долину. Ближе к западу открывалась прогалина между гор, та самая, которой Эмилия с таким восхищением любовалась, когда они подъезжали к замку; тонкая сизая мгла, подымавшаяся из долины, смягчала все очертания. Туман, уносясь кверху и встречая солнечные лучи, принимал алый оттенок и окрашивал на ходу леса и скалы. По мере того как подымалось покрывало, восхитительно было наблюдать различные предметы, постепенно выступавшие в долине: зеленую мураву, темные леса, углубления в скалах, несколько крестьянских избышек, пенящийся поток, стадо коров и другие черты сельской картины. Ярче вырисовывались леса сосен и могучие скалы; наконец туман засел вокруг вершин, увенчивая их пурпуровым сиянием. Теперь можно было ясно различить все предметы в долине и широкие, темные тени, падавшие от нижних скал, еще эффектнее выделяли сияющую красоту местности, расстилающейся под ними, между тем как горы, постепенно удаляющиеся в перспективе, уступами спускались к Адриатическому морю — по крайней мере Эмилия признавала за море сверкающую голубоватую черту, замыкавшую картину.

Так-то она старалась занять свое воображение и небезуспешно. В окно врвался свежий утренний ветерок и оживлял ее. Она вознеслась мыслями к Богу. Красота природы всегда располагала ее к молитве, и в ней она черпала бодрость духа. Отойдя от окна, Эмилия невольно взглянула на дверь, которую так тщательно забаррикадировала на ночь, и решила теперь же исследовать, куда она ведет. Подойдя близко, чтобы отставить стулья, она заметила, что они были немного отодвинуты в сторону. Легко себе представить ее удивление, когда вслед затем она убедилась, что дверь была кем-то заперта снаружи. Ей стало страшно, точно она увидела привидение. Та дверь, что вела в коридор, оставалась затворенной, как она сама затворила ее вчера вечером, но другая дверь, запиравшаяся только снаружи, очевидно, была замкнута кем-то в течение ночи. Эмилию серьезно тревожила перспектива оставаться на ночь в комнате, куда так легко проникнуть, к тому же в комнате, находящейся в отдаленной части дома; она решила поговорить с г-жой Монтони и потребовать, чтобы она приказала дать ей другое помещение.

Не без труда отыскала она дорогу в главные сени, а оттуда в ту гостиную, где они сидели накануне; там уже был накрыт завтрак, и ее тетка сидела одна. Монтони ушел пройтись вокруг замка, чтобы осмотреть укрепления, беседуя с Карло. Эмилия заметила, что тетка недавно плакала; сердце ее наполнилось жалостью к ней, но свою нежность она старалась проявить не столько на словах, сколько в обращении, тщательно избегая показывать, что она заметила несчастье тетки. Эмилия воспользовалась отсутствием Монтони, чтобы заговорить о странном случае с дверью, попросить для себя другой комнаты и хоть что-нибудь узнать о причине их неожиданного отъезда из Венеции. Что касается первой просьбы, то тетка советовала ей обратиться к самому Монтони, положительно отказавшись вмешиваться в это дело, относительно же причины их отъезда она сослалась на незнание.

Чтобы примирить тетку с ее положением, Эмилия стала расхваливать величественную красоту замка и окрестностей и старалась изгладить неприятные впечатления, связанные с их приездом. Хотя несчастье уже несколько смягчило крутой нрав г-жи Монтони и научило ее хоть более кротко относиться к ближним, но природное властолюбие, укоренившееся от долгой привычки, все еще царило в ее сердце. Она не могла отказать себе в удовольствии поглумиться над бедной, ни в чем неповинной Эмилией, подымая на смех ее слова и замечания насчет замка.

Ее насмешливые речи были прерваны появлением самого Монтони; лицо его жены

сразу изменилось и приняло выражение страха и злобы, а он сел за завтрак, как будто ничего не замечая.

Эмилия, молча наблюдавшая его, заметила, что лицо его мрачнее и суровее, чем когда-либо.

«Ах, как бы мне хотелось знать его мысли, — думала она, — тогда прекратились бы все эти мучительные сомнения!».

Завтрак прошел в мрачном безмолвии; наконец Эмилия решилась попросить, чтобы ей отвели другую комнату, и рассказала о случившемся.

— Все это вздор! мне некогда потакать вашим пустым прихотям, — возразил Монтони, — комната была приготовлена для вас и вы должны ею довольствоваться. Ну, с какой стати кто-нибудь будет подниматься по этой уединенной лестнице, с единственной целью запереть вашу дверь? Может быть просто ветер потряс дверь и от этого засов соскользнул сам собою. Право, я не понимаю, для чего вы меня беспокоите такими пустяками!

Это объяснение показалось Эмилии далеко не убедительным; она заметила, что болты заржавлены, следовательно, не могли скользить с такою легкостью; но она воздержалась от спора и только повторила свою просьбу.

— Если вы сами трусите, — сурово промолвил Монтони, — то по крайней мере не мучайте других. Бросьте свои фантазии и постарайтесь подбодриться. Жизнь презренна, когда она отравлена страхами. — При этих словах глаза его устремились на г-жу Монтони; та покраснела, но промолчала. Эмилия, оскорбленная и раздосадованная, подумала, что во всяком случае страхи ее

слишком основательны, чтобы заслуживать насмешки, но как бы они ни удручали ее, приходится терпеть, и она старалась перевести разговор на другую тему.

Вошел Карло с корзиной фруктов.

— Вы, наверное, утомились, эчеленца, так много сегодня ходить изволили... — начал он, ставя фрукты на стол, — после завтрака вам еще многое придется осматривать. В особенности есть там одно местечко в сводчатом коридоре, который ведет в...

Монтони нахмурился и махнул старику рукою, чтобы он уходил. Карло умолк, потупился, потом взял со стола принесенную корзину.

— Я осмелился, эчеленца, принести вишен для госпожи и для барышни. Не угодно ли отведать, сударыня? — Карло протянул ей корзину, — вишни славные, я сам собирал их со старого дерева, под южной террасой; смотрите, какие крупные, точно слива...

— Спасибо, старик, — промолвила г-жа Монтони, — благодарю тебя!

— А молодая синьора, не возьмет ли и она несколько ягодок? — угощал Карло, поднося корзинку Эмилии, — мне приятно будет поглядеть, как она кушает.

— Благодарствуй, добрый Карло, — сказала Эмилия, взяв несколько вишен с приветливой улыбкой.

— Ну, старик, довольно! — нетерпеливо перебил Монтони. — Ступай пока отсюда, но жди меня: сейчас ты будешь мне нужен.

Карло повиновался. Монтони вскоре тоже отправился продолжать осмотр замка. Эмилия осталась с теткой, терпеливо вынося ее дурное расположение духа и кротко стараясь облегчить ее печаль.

Когда г-жа Монтони удалилась в свою уборную, Эмилия, ради развлечения, занялась осматриванием ближайших окрестностей замка. Из обширных сеней она вышла на террасу, тянущуюся по краю пропасти с трех сторон здания; четвертая стена охранялась высокими стенами двора и воротами, в которые они въехали накануне. Величественность широкой террасы, разнообразный пейзаж, расстилавшийся внизу, возбудили ее восторг; с обширных парапетов можно было видеть местность со столь различных пунктов, что на каждом шагу перед глазами зрителя развертывалась как бы новая картина. Эмилия часто останавливалась, оглядывая старое готическое величие Удольфского замка, его гордую неправильность, его башни и зубцы, его сводчатые окна и стройные сторожевые башни по углам. Нагнувшись

над стеной террасы, она пугливо заглянула в пропасть внизу, и взор ее уперся в темные макушки деревьев. Куда ни глянь, всюду горы, утесы, хвойные леса и узкие ложбины меж Апеннин, уходящие в глубь каких-то далеких, недоступных областей.

В то время как она смотрела вниз, показался Монтони; в сопровождении каких-то двух людей он подымался по тропинке, прорубленной в скале. На площадке утеса он остановился и, указывая пальцем на террасу, стал о чем-то горячо говорить своим спутникам, горячо жестикулируя. Эмилия убедилась, что один из людей был Карло, а другой какой-то незнакомый человек, одетый в крестьянское платье: к нему-то, по-видимому, и были обращены приказания Монтони.

Эмилия отошла от ограды и продолжала свою прогулку; вдруг вдали раздался стук колес, вслед затем громкий звон у ворот и у нее мгновенно мелькнула мысль, что это приехал граф Морано. Когда она торопливо проходила по сеним, направляясь в свою комнату, несколько человек вошли в сени через другие двери. Она увидала их, стоя у колонн арки; полутьма в сенях не позволяла ей различить лица приезжих, но так как опасения ее были направлены в одну сторону, то ей показалось, что она узнала графа Морано.

Уверившись, что приезжие прошли, она решилась незаметно проскользнуть в свою комнату, где долго со страхом и волнением прислушивалась к малейшему шороху. Наконец, услышав голоса на крепостной стене, она бросилась к окну и увидала Монтони, прохаживающегося с синьором Кавиньи и горячо беседующего с приятелем; они часто останавливались и поворачивались друг к другу в те моменты, когда разговор становился особенно интересным.

Из нескольких человек, прибывших в замок, тут был один только Кавиньи; Эмилия еще больше встревожилась, когда услышала шаги по коридору; она опасалась, не прислал ли за нею Монтони. В ту же минуту в комнату вбежала Аннета.

— Ах, барышня, — начала она, — там сейчас приехал синьор Кавиньи! Уж как же я обрадовалась, увидав хоть одно приветливое лицо в здешнем доме! Он такой ласковый, каждый раз заговаривает со мной! С ним синьор Верецци, да еще... кто бы вы думали, барышня?

— Не берусь угадывать, Аннста, говори скорее.

— Угадайте сами.

— Ну, в таком случае, — промолвила Эмилия с напускным спокойствием, — я думаю, что это граф Морано.

— Пресвятая Богородица! — испуганно воскликнула Аннета. — Да вам дурно, барышня, вы нездоровы! я сейчас принесу воды!

Эмилия в изнеможении упала на кресло.

— Постой, Аннета, — проговорила она слабым голосом, — не оставляй меня одну, сейчас все пройдет... Открой окно. Ты говоришь, граф... приехал.

— Кто? граф! Полноте! Я и не думала этого говорить, барышня!

— Так, значит, он не приехал? — радостно отозвалась Эмилия.

— Конечно нет, барышня.

— Ты наверно знаешь?

— Господь с вами, вот вы и оправились! А я уж думала, вы умираете.

— Но как же граф... ты уверена, что он не приехал?

— Еще бы не уверена! Я глядела сквозь решетку в северной башенке, когда экипажи въезжали в ворота, и право, не ожидала, что увижу что-нибудь приятное в этом мрачном старом замке! Гляжу: понаехало пропасть господ и слуг; но теперь подымется у нас дым коромыслом! От радости я чуть не выскочила из-за ржавой, ветхой решетки! Я совсем было потеряла надежду увидеть человеческие лица в этом унылом, огромном доме! Так бы и расцеловала даже лошадей, которые привезли их.

— Ну, говори, Аннета. Теперь я совсем оправилась.

Видю, барышня, что вам получше. Вот и прислуга заживет весело — пойдут у нас танцы, да пение в людской, — чтобы только синьор не услышал, — и всякие забавы; ведь

Людовико приехал с господами. Вы небось помните Людовико?.. высокий такой, красивый юноша, слуга синьора Кавиньи, бедовый франт — грациозно драпируется в плащ, а шляпу носит немножко набекрень и...

— Нет, я его не помню, — прервала ее Эмилия, утомившись болтовней камеристки.

— Да неужели вы, барышня, забыли Людовико! помните он правил гондолой на последних гонках и взял первый приз? Бывало, он все пел в Венеции. Такие чудные песни про Орlando и про... как бишь его? да про Карла Великого, у меня под окошком в лунные ночи. О, с каким восторгом я бывало слушала его!

— И не поздоровилось тебе от этих песен, милая Аннета, — пошутила Эмилия, — злодей похитил твое сердце! Только смотри держи это в секрете — пусть он и не подозревает.

— Ах, барышня, разве же можно это утаить?

— Теперь мне лучше, Аннета, можешь оставить меня одну.

— А я и позабыла спросить вас, барышня, как вы почивали нынче ночью в этой мрачной комнате?

— Как всегда.

— Шума никакого не слышали?

— Нет.

— И не видали ничего?

— Ровно ничего.

— Скажите, как удивительно!

— Что ж тут странного, зачем ты все это спрашиваешь?

— Ах, барышня, у меня и язык не повернется сказать вам, что я слыхала про эту самую комнату — больно уж вы испугаетесь.

— Ты и так испугала меня. Лучше выкладывай, что знаешь, если только можешь, не кривя душой.

— Ах, Господи! толкуют, будто здесь духи водятся, и давно уже, много-много лет...

— Наверное, эти духи умеют снимать засовы, — заметила Эмилия, желая обратить свои тревоги в смешную сторону. — Вечером я оставила дверь незапертой, а сегодня утром смотрю — кто-то успел замкнуть ее.

Аннета побледнела и не промолвила ни слова.

— Не слыхала ли ты, никто из слуг не запирает моей двери сегодня, пока я еще спала?

— Нет, барышня, не слыхала; но, кажется, никто не запирает. Хотите, я пойду, спрошу, — предложила Аннета, поспешно направляясь к коридору.

— погоди, Аннета, мне надо еще кое о чем спросить тебя; скажи мне, что ты знаешь про эту комнату и куда ведет эта лестница?

— Вот сейчас я сбегая и обо всем справлюсь, меня уже, наверное, хватилась моя барыня. Право, больше не могу оставаться ни одной минутки!

Она опрометью бросилась вон, не дождавшись ответа Эмилии; та, успокоившись, что графа Морано нет в замке, улыбнулась над трусостью Аннеты. Случалось и ей самой иногда поддаваться суеверному страху, но в других трусость всегда смешила ее.

Так как Монтони наотрез отказался дать ей другую комнату, то Эмилия решила терпеливо вынести неприятность, которой не могла избежать, и чтобы сделать комнату как можно уютнее, стала распаковывать свои книги, всегда доставлявшие ей радость в счастливые дни и успокоение в часы печали; но бывали и такие тяжелые минуты, когда даже книги оказывались бессильными, когда даже гениальность и энтузиазм талантливых авторов не производили на нее впечатления.

Расставив свою маленькую библиотеку на высокой полке, Эмилия вынула свои рисовальные принадлежности и спокойно приготовилась набрасывать из окна виды окружающей красивой местности, но тотчас же отказалась от этой мысли, вспомнив, что и прежде она успокаивала себя намерением прибегнуть к такому развлечению, но всякий раз ей мешало какое-нибудь новое неожиданное несчастье.

— Могу ли я предаваться обманчивым надеждам, — думала она, — и потому только, что граф Морано еще не приехал, чувствовать себя хоть на время счастливой? Не все ли мне равно, когда он приедет — сегодня или завтра, раз приезд все-таки должен состояться?

Однако, чтобы забыться немного, она попробовала читать, но ей никак не удавалось сосредоточить свое внимание. Наконец она отбросила книгу в сторону и решила заняться осмотром смежных покоев замка. Ей нравилось величие старинного здания, ее охватывала печаль и какое-то жуткое чувство, когда она проходила по этим пустынным, унылым pokojам, где вероятно много-много лет не раздавалось шагов человеческих. Думая о странной истории прежних владельцев замка, она кстати вспомнила о картине, завешенной покрывалом, привлечшей ее внимание вчера вечером, и решила во что бы то ни стало взглянуть на нее.

Проходя по комнатам, которые вели туда, она почувствовала себя несколько взволнованной; отношение портрета к покойной владелице замка, разговор с Аннетой в совокупности с обстоятельством относительно покрывала — все вместе бросало на этот предмет какую-то таинственность, наводящую ужас. Но в таких случаях к страху всегда примешивается и любопытство, что-то как будто толкает человека увидеть тот предмет, который ему внушает трепет.

Эмилия шла вперед нерешительными шагами и приостановилась перед заветной дверью, прежде чем решилась отворить ее; наконец она вошла в комнату и направилась прямо к картине, по-видимому, заключенной в раму необыкновенной величины и помещавшейся в темной части комнаты. Опять Эмилия запнулась на мгновение и наконец робкой рукой подняла покрывало, но тотчас же выронила его; то, что она увидела перед собой, вовсе не была картина... В ужасе она бросилась вон из комнаты, но, не успев добежать до двери, без чувств грохнулась на пол.

Очнувшись, она вспомнила о только что виденном и чуть опять не лишилась сознания. Она едва имела силы вернуться в свою комнату, но оставаться там одной ей было жутко. Ужас леденил ее мозг и затмевал на время всякое сознание прошлого и опасение за будущее. Она села у окна, потому что с террасы неслись человеческие голоса, хотя и отдаленные, и можно было видеть проходивших людей. А это ничтожное обстоятельство все-таки придавало ей мужества. Когда чувства ее пришли в порядок, она задумалась, следует ли рассказать г-же Монтони о том, что она видела; различные, весьма важные причины побуждали ее довериться тетке, между прочим желание снять тяжесть со своей души, поговорив о предмете, поглощавшем ее в настоящую минуту. Но она сознавала, какие страшные последствия может иметь такая откровенность, и, опасаясь болтливости тетки, Эмилия наконец вооружилась решимостью хранить в тайне происшествие, случившееся с нею. Вскоре прошли под окном Монтони и Верецци, весело разговаривая между собой; голоса их несколько ободрили ее. Затем к обществу на террасе присоединились синьоры Бертолини и Кавиньи. Эмилия, догадываясь, что г-жа Монтони в это время сидит одна, пошла к ней, чтобы не оставаться одной в своей уединенной комнате, поблизости от того места, где она испытала такое страшное потрясение.

Тетку она застала в уборной, одевающейся к обеду. Бледное, встревоженное лицо Эмилии встревожило даже г-жу Монтони; но Эмилия нашла в себе достаточно силы духа, чтобы промолчать о тревоге, волновавшей ее и заставлявшей поминутно вздрагивать. Она оставалась в апартаментах тетки до тех пор, пока обе сошли вниз к обеду. В столовой они застали приезжих синьоров, у которых был непривычный, озабоченный вад; мысли их, казалось, были так поглощены каким-то важным интересом, что они почти не обращали внимания на вошедших дам. Они говорили мало, Монтони еще меньше. Взглянув на него, Эмилия невольно вздрогнула. Все ужасы, виденные ею в роковой комнате, нахлынули на нее с новой силой. Несколько раз кровь отливала от ее щек; она боялась, что ей сделается дурно, что она тем самым выдаст свое волнение и принуждена будет выйти из столовой. Но сила ее решимости поддержала ее слабое тело; она заставила себя разговаривать с гостями и даже старалась казаться веселой.

Монтони, видимо, находился под влиянием какой-то большой неприятности, которая, вероятно, сокрушила бы более слабый дух и более чувствительное сердце, но у него, если судить по суровому выражению его лица, забота только возбуждала энергию и стойкость.

Обед прошел скучно и в молчании. Мрачность всего замка как будто отразилась и на лице Кавиньи; черты его приняли суровое и какое-то жестокое выражение, какого Эмилия раньше никогда у него не замечала. О графе Морано никто не упоминал ни единым словом, и весь разговор вращался исключительно на теме о войнах, в то время волновавших Итальянские государства, о силе венецианских войск и о характерах их полководцев.

После обеда, как только удалились слуги, Эмилия узнала из разговора, что тот кавалер, который навлек на себя мстительный гнев Орсино, умер от ран и что снаряжено следствие для розыска его убийцы. Это известие, видимо, встревожило Монтони; он задумался; затем спросил, где скрывается Орсино. Гости, не знавшие, за исключением Кавиньи, что сам Монтони помог ему бежать из Венеции, отвечали, что Орсино бежал ночью, тайком и с такой поспешностью, что даже ближайшие друзья его не знают, куда он скрылся.

Монтони тотчас же раскаялся в своем вопросе; он понял, что человек с таким подозрительным нравом, как Орсино, не стал бы доверять кому-либо из присутствующих лиц тайну своего убежища. Впрочем, себя Монтони считал вправе на полное его доверие, поэтому и не сомневался, что в скором времени услышит о нем.

Эмилия ушла вместе с теткой, вскоре после того, как убрали со стола, оставив мужчин совещаться о своих делах; г-жу Монтони заставили удалиться многозначительные, нахмуренные взгляды ее супруга; она вышла на террасу и некоторое время молча прохаживалась взад и вперед. Эмилия не прерывала ее молчания, занятая своими собственными тяжелыми думами. Ей нужна была большая сила воли, чтобы не сообщить г-же Монтони свою страшную тайну; несколько раз она едва не проговорила, чувствуя потребность доставить себе минутное облегчение; но она помнила, что всецело находится во власти Монтони и что если тетка передаст ему рассказанное ею, то это может оказаться губительным для них обеих; поэтому она решила, что лучше вынести теперешнее, меньшее зло, чем подвергаться в будущем более тяжкому. В этот день на нее несколько раз находило какое-то странное предчувствие: ей казалось, что судьба ее непременно решится здесь и что она каким-то роковым образом связана с этим замком.

— Мне не следует ускорять развязки, — говорила она сама себе, — что бы меня ни ожидало, я по крайней мере не хочу иметь поводов упрекать себя.

Оглядывая массивное здание, она с печалью думала, что вот стены ее тюрьмы; с новой силой ее угнетала мысль, как она далеко от родного края, от своего единственного друга, как неосуществима ее надежда на счастье, как слаба возможность когда-нибудь свидеться с женихом! А между тем мысль о Валанкуре и вера в его постоянство были до сих пор ее единственным утешением, и она крепко держалась за эту дорогую память. Жгучие слезы подступили к ее глазам, и она отвернулась, чтобы скрыть их.

Немного спустя, облокотясь на ограду террасы, она увидела в отдалении нескольких крестьян, рассматривавших брешь, перед которой лежала груда камней и ржавая пушка, точно свалившаяся вниз со своей позиции. Г-жа Монтони остановилась поговорить с крестьянами и спросила их, что они намереваются делать.

— Чинить укрепления, ваша милость, — отвечал один из них.

Она удивилась, что Монтони решил предпринять такое дело, в особенности потому, что он никогда не выражал намерения прожить в своем замке долгое время. Но вот обе женщины прошли дальше к высокой арке, ведущей от южного к восточному валу и с одной стороны примыкавшей к замку, тогда как другим концом она упиралась в небольшую сторожевую башню, господствующую над глубоким обрывом. Подойдя к арке, они увидели за нею извивающуюся по лесистому спуску далекой горы, длинную колонну пеших и конных людей, очевидно, солдат, судя по сверкающим' копиям л другому оружию; но за расстоянием нельзя было различить цвета их мундиров. Пока они наблюдали, авангард выступил из леса в долину; но вся колонна продолжала двигаться по далеким высотам

бесконечной лентой; впереди можно было уже различать мундиры войск; командиры, ехавшие во главе их и жестаи направлявшие отряды, наконец близко подъехали к замку.

Такое редкостное зрелище в этих уединенных и пустынных местах удивило и встревожило г-жу Монтони; она поспешила подойти к крестьянам, которые занимались возведением бастионов перед южной террасой, где скала была не так обрывиста, как в других местах. Эти люди не могли дать толкового ответа и с тупым изумлением глядели на приближающуюся кавалькаду. Тогда г-жа Монтони решила, что надо сообщить об этом мужу; она послала Эмилию в замок сказать Монтони, что она желает говорить с ним; племянница, скрепя сердце, молча повиновалась.

Подходя к столовой, где Монтони сидел со своими гостями, она, услышала громкие, горячие споры; она остановилась на минуту, боясь рассердить его своим неожиданным появлением. Но вот голоса почти смолкли; тогда она решилась отворить дверь; Монтони резко обернулся и молча взглянул на нее; она передала ему поручение тетки.

— Скажите г-же Монтони, что я занят, — проговорил он.

Тогда Эмилия сочла нужным сообщить о причине ее тревоги. Монтони и его товарищи тотчас же вскочили и подошли к окнам; но так как оттуда ничего не было видно, то они наконец вышли на террасу. Кавиньи выразил предположение, что это идет легион кондотьеров, направлявшийся в Модену.

Теперь одна часть конницы уже спустилась в долину, а другая извивалась в горах к северу; некоторые отряды замешкались в лесистых высотах, где впервые показались войска, так что, судя по длине растянутой колонны, можно было думать, что это целая многочисленная армия. В то время как Монтони и его семья наблюдали движение войск, они услышали звуки труб и бряцание кимвалов в долине; им вторили такие же звуки в горах, Эмилия с волнением прислушивалась к пронзительным воинственным звукам, разносившимся эхом в горах, а Монтони объяснял сигналы, с которыми был, очевидно, хорошо знаком и которые не означали ничего враждебного. Мундиры войск, род их оружия подтверждали предположения Кавиньи; Монтони с удовольствием замечал, что войска проходят мимо, даже не остановившись взглянуть на его замок. Однако он не ушел с крепостных стен до тех пор, пока войска не скрылись из виду и последние, смутные звуки труб не замерли в воздухе. Кавиньи и Верецци воодушевились этим зрелищем: оно пробудило в них таинственную отвагу. Монтони вернулся в замок в задумчивом молчании.

Эмилия еще не настолько оправилась от потрясения, чтобы быть в состоянии вынести одиночество в своей комнате; она осталась на террасе; г-жа Монтони не пригласила ее с собою в уборную, куда удалилась одна, расстроенная; а Эмилия, после недавнего опыта, потеряла всякую охоту рассматривать мрачные, таинственные покои замка. Терраса была ее единственным убежищем; там она и оставалась до тех пор, пока серая вечерняя мгла не окутала окрестностей.

Мужчины ужинали одни; г-жа Монтони не вышла из своих апартаментов; Эмилия побывала у нее, прежде чем удалиться на покой. Она застала тетку взволнованную, в слезах. природная кротость Эмилии действовала так успокоительно, что почти всегда приносила отраду огорченному человеку; но сердце г-жи Монтони было ожесточено, и нежный голос Эмилии не мог ее успокоить. С обычной своей деликатностью Эмилия сделала вид, что не замечает печали своей тетки; но ее обращение приняло невольную мягкость, на лице отразилась заботливая нежность, а г-же Монтони это было неприятно: сострадание племянницы уязвляло ее гордость, поэтому она поспешила, насколько позволяло приличие, поскорее проститься с нею. Эмилия не решилась еще раз повторить, как ей жутко будет остаться одной в своей мрачной комнате; однако, все-таки попросила позволить горничной Аннете побыть с нею, покуда она не ляжет спать; позволение было дано, хотя и неохотно. Пока, впрочем, Аннета оставалась еще внизу, со слугами, и Эмилия удалилась одна.

Легкими, торопливыми шагами прошла она по длинным коридорам; от слабого света лампы, которую она держала в руках, окружающая тьма казалась еще гуще, и сквозной ветер ежеминутно грозил потушить пламя. Тишина и безмолвие, царившие в этой

части замка, пугали Эмилию; от времени до времени до нее слабо доносились шум и взрывы смеха из отдаленной части здания, где собрались слуги; но скоро и эти звуки замерли — воцарилась мертвая тишина. Проходя мимо анфилады тех покоев, где она была утром, Эмилия с невольным страхом взглянула на дверь роковой комнаты, и ей показалось, что она слышит внутри шепот и шорох, но она торопливо проскользнула мимо.

Дойдя до своей спальни, темной, холодной, где не было даже огня в камине, она села и раскрыла книгу, чтобы скоротать время до прихода Аннеты, Эмилия продолжала читать до тех пор, пока не сгорела вся ее свеча; но Аннета все не приходила. Темнота и тоскливое одиночество действовали на Эмилию угнетающим образом; этому способствовала близость того места, где она утром видела такие ужасы. Мрачные, фантастические картины рисовались ее воображению. Она боязливо озиралась на дверь, ведущую на лестницу; попробовала, заперта ли она, и убедилась, что заперта. Все же она не могла победить тревогу при мысли провести вторую ночь в этой отдаленной, опасной комнате, куда несомненно кто-то входил прошлой ночью; нетерпеливое желание поскорее увидеть Аннету, которой она приказала навески кое-какие справки, становилось мучительным. Эмилии хотелось также расспросить горничную о том предмете, который так испугал ее и о котором Аннета кое-что знала, судя по ее рассказам вчера вечером, хотя слова ее были очень далеки от истины; Эмилия даже была уверена, что кто-то нарочно морочил горничную, чтобы сбить ее с толку. Более всего ее удивляло, что дверь таинственной комнаты не охранялась. Подобная небрежность представлялась ей почти непостижимой. Но вот свеча ее стала тухнуть; слабые вспышки пламени, отражавшиеся на стенах, создавали фантастические видения; наконец Эмилия встала, с намерением пробраться в обитаемую часть замка, прежде чем свеча потухнет окончательно; отворив дверь своей комнаты, она устыхла отдаленные голоса: в дальнем конце коридора мелькнул свет и показалась Аннета с другой служанкой.

— Как я рада, что ты наконец пришла, — проговорила Эмилия, — отчего ты замешкалась так долго? Пожалуйста, сейчас же затопи камин.

— Я была нужна барыне, — оправдывалась Аннета с некоторым смущением, — сейчас пойду принесу дров.

— Нет, это уже мое дело, — подхватила Катерина и вышла. Аннета хотела было устремиться за ней, но Эмилия позвала ее назад, и девушка принялась громко болтать и смеяться, как будто боялась молчания.

Скоро вернулась Катерина с дровами; и вот, когда затрещало веселое пламя и оживило комнату, Эмилия спросила Аннету, навела ли она справки, как ей было приказано?

— Да, барышня, — отвечала та, — но ни одна душа ничего не знает; а старик Карло (говорят, он много чего таит в себе) скорчил странное лицо и несколько раз спросил меня, верно ли, что дверь была когда-нибудь не заперта? Господи, говорю я, это так верно, как Бог свят! Скажу вам по правде, барышня, я сама так испугана, что ни за какие блага в мире не осталась бы ночевать здесь; уж лучше я соглашусь спать на большой пушке, что стоит там на восточном валу.

— Что же ты имеешь особенного против этой пушки, чем она хуже других? — улыбнулась Эмилия, — самая лучшая пушка — прежесткая постель!

— Уж конечно, барышня, на всякой пушке жестко спать, но говорят, будто в глухую полночь является какая-то фигура и стоит возле большой восточной пушки, точно сторожит ее.

— Ну, голубушка Аннета, ты, я вижу, рада верить всякому вздору.

— Милая барышня! да я покажу вам эту самую пушку, вы можете видеть ее отсюда из окон.

— Но это вовсе не доказывает, что ее сторожит какое-то привидение!

— Как! но если я укажу вам самую пушку. Бог с вами, вы ровно ничему не верите!

— В подобных вещах я верю только тому, что сама увижу.

— Ладно, барышня, в таком случае вы сами увидите, стоит вам только высунуться из окошка.

Эмилия не могла не рассмеяться; Аннета казалась удивленной. Заметив в ней чрезвычайную склонность верить всему чудесному, Эмилия не стала даже касаться того, о чем намерена была заговорить, боясь, что Аннета окончательно потеряет голову от ужаса, и вместо того завела речь о веселом предмете: о гонках гондол в Венеции.

— Ах, барышня, уж и не говорите про эти состязания гондол! — воскликнула Аннета, — какие бывало чудные лунные ночи, и вообще как много прекрасного в Венеции! Право, и луна-то там светит ярче, чем где-нибудь. Притом какое наслаждение слушать музыку, песни, какие бывало распевал Людовико под окном, у западного портика! Кстати, барышня, ведь это он, Людовико, рассказал мне про ту завешенную картину, которую вам так хотелось видеть вчера вечером, и...

— Какую картину? — спросила Эмилия, желая вызвать Аннету на объяснение.

— Ну, ту страшную картину, закрытую черным покрывалом...

— А сама ты не видала ее? — спросила Эмилия.

— Кто, я? Полноте, барышня, никогда не видывала. Но вот нынче утром, — Аннета понизила голос, пугливо озираясь, — нынче при дневном свете, знаете, мне вдруг взбрело на ум взглянуть на диковинку, после того, что я наслушалась про нее странных намеков; вот я и дошла до двери и непременно отворила бы ее, но она оказалась запертой.

Эмилия, стараясь скрыть свое волнение, спросила, в котором часу Аннета подходила к дверям комнаты; оказалось, что это случилось вскоре после того, как она сама была там. Из других расспросов она убедилась, что Аннета и, по всей вероятности, тот, кто сообщал ей все эти сведения, не знали страшной истины, хотя с вымыслами было перемешано многое похожее на правду. Теперь Эмилия стала бояться, что ее посещения в таинственную комнату были замечены — двери оказались запертыми немедленно после того, как она побывала там — и что Монтони будет ей мстить за ее любопытство. Ей страстно хотелось узнать, откуда и как взялась выдумка, внушенная Аннете: ведь Монтони мог желать только одного — молчания и тайны. Но она чувствовала, что эти мысли слишком ужасны, чтобы заниматься ими в час ночной, и старалась отогнать их от себя, разговаривая с Аннетой, болтовня которой, при всей ее наивности, была все-таки лучше, чем тишина и безмолвие глухой ночи.

Так они просидели вместе почти до полуночи, причем Аннета несколько раз порывалась уходить. Огонь почти потух; Эмилия слышала в отдалении громкое хлопанье входной двери, которую запирали на ночь. Она приготовилась лечь спать, но ей все не хотелось отпустить от себя Аннету. В эту минуту раздался большой колокол у портала. Обе девушки насторожились в боязливом ожидании; через некоторое время звон раздался снова. Вскоре после этого они услышали стук колес по двору. Эмилия почти без чувств откинулась на спинку стула.

— Это граф, — промолвила она.

— Как! в такую пору ночи? Полноте, что вы, барышня? Странное время для посещений! ..

— Пожалуйста, прошу тебя, добрая Аннета, не теряй времени на пустую болтовню. Сбегай ради Бога, узнай, кто приехал!

Аннета вышла и захватила с собой свечу, оставив Эмилию в потемках; за несколько минут перед тем темнота показалась бы ей страшной, но теперь в своем волнении она ее почти не замечала. Она ждала и прислушивалась, затаив дыхание; до нее доносились какие-то далекие звуки, но Аннета не возвращалась. Наконец терпение Эмилии лопнуло, она решила выйти в коридор; не скоро удалось ей нащупать дверь своей комнаты, и когда она наконец отворила ее, то побоялась пуститься в непроглядную тьму коридора. Теперь ясно слышны были голоса; Эмилии показалось даже, что она отчетливо различает голос Монтони и графа Морано. Вскоре послышались приближающиеся шаги; вслед затем луч света пронизал тьму и появилась Аннета; Эмилия бросилась ей навстречу.

— Да, барышня, ведь вы не ошиблись, и вправду это граф приехал.

— Он приехал! — воскликнула Эмилия, устремив глаза к небу и схватившись за руку Аннеты.

— Боже мой милостивый, да не волнуйтесь же, барышня, ишь ведь как побледнели! Скоро мы все узнаем.

— Узнаем, конечно, — промолвила Эмилия, быстрыми шагами устремившись назад в свою комнату. — Мне что-то нехорошо, мне нужно воздуху!

Аннета распахнула окно и принесла воды. Дурнота скоро прошла, но Эмилия попросила Аннету не уходить, покуда за ней не придет Монтони.

— Что вы, барышня! Да станет ли он беспокоить вас в глухую пору ночи; наверное он думает, что вы спите.

— Ну, так останься со мной, пока я не засну, — сказала Эмилия, почувствовав временное облегчение при этой мысли, довольно вероятной, хотя она раньше не приходила ей в голову. Аннета скрепя сердце согласилась-таки остаться; Эмилия, поуспокоившись, решила задать ей несколько вопросов, между прочим: видела ли она графа?

— Как же, барышня! я видала, как он выходил из экипажа. Отсюда я пошла прямо к решетке в северной башне, знаете, оттуда видно все, что делается во внутреннем дворе. Вот и увидала я графский экипаж и самого графа; он ожидал у ворот, потому что привратник спал — при нем было несколько человек верхами и с факелами в руках. Как отперли ворота, граф сказал что-то такое, чего я не могла разобрать, потом вышел из экипажа, а с ним еще какой-то господин. Я была почти уверена, что синьор Монтони уже лег спать, и побежала в барынину уборную — попытаться, не услышу ли чего интересного. Но по пути повстречалась с Людовико, и он сказал мне, что синьор не спит и о чем-то совещается с его, Людовико, барином и другими господами в той комнате, что в конце северной галереи; при этом Людовико приложил палец к губам, дескать; «тут творится что-то необыкновенное, но об этом надо держать язык за зубами, Аннета!». Вот я и держу язык за зубами, барышня, и сейчас же пришла сюда рассказать вам.

Эмилия спросила, кто такой кавалер, сопровождавший графа Морано, и как Монтони принял их, но Аннета ничего не могла объяснить ей.

— Людовико, — прибавила она, — сейчас бегал звать лакея синьора, чтобы тот доложил о приезде гостей.

Эмилия сидела в задумчивости; тревога ее настолько усилилась, что она послала Аннету в людскую, где та могла по крайней мере услышать что-нибудь о намерениях графа относительно пребывания его в замке.

— Ладно, барышня, я, пожалуй, схожу, — промолвила камеристка с готовностью, — но как же я найду дорогу, если оставлю вам лампу?

Эмилия вызвалась посветить ей, и обе женщины вышли из комнаты. Дойдя до верхней площадки главной лестницы, Эмилия вспомнила, что тут может встретиться с графом Морано и, чтобы избежать главного входа, Аннета выбрала другую дорогу, по боковым коридорам к задней лестнице, ведущей прямо в людскую.

Возвращаясь к себе, Эмилия боялась заблудиться в запутанных ходах замка и снова наткнуться на какое-нибудь страшное зрелище. Боязливо подвигалась она вперед и вдруг ей почудилось, что она слышит в отдалении тихие стоны; остановившись, она услышала их вторично и уже совершенно явственно. Направо в коридоре было несколько дверей. Эмилия шла, прислушиваясь. Дойдя до второй из этих дверей, она услышала изнутри жалобный голос. Она остановилась, не смея отворить дверь и в то же время не решаясь отойти. Вслед затем раздались судорожные рыдания и наконец вопли, раздирающие душу. Эмилия стояла пораженная и в боязливом ожидании старалась пронизать взором окружающую тьму. Стенания продолжались. Жалость наконец преодолела страх. Не может ли она чем-нибудь помочь страдальцу — мелькнуло в голове Эмилии, и вот она взялась за ручку двери. Ей казалось, будто она узнает этот голос, хотя и изменившийся от горя. Поставив лампу на пол в коридоре, Эмилия тихонько приотворила дверь; за нею было темно, только из отдаленной части комнаты струился слабый свет. Эмилия тихо вошла. Прежде чем она успела дойти до освещенной полосы, ее поразила фигура г-жи Монтони, склоненная над туалетным столом, в слезах и с носовым платком у глаз. Эмилия замерла на месте.

В креслах у камина сидел какой-то человек, кто — она не могла рассмотреть, и что-то говорил тихим голосом от времени до времени, так что Эмилия не могла слышать слов; но ей показалось, что при этом г-жа Монтони каждый раз начинала плакать сильнее; она была так поглощена своим горем, что не замечала Эмилии. А та, несмотря на желание разъяснить причину теткой скорби и узнать, кто этот человек, допущенный к ней в уборную в такой поздний час, побоялась еще больше смутить ее, появившись врасплох, и воспользоваться случаем, чтобы подслушать интимный разговор. Поэтому она тихонько отступила назад и, проплутав некоторое время в коридорах, наконец попала в свою комнату; там заботы, еще сильнее близкие ее сердцу, оттенили на второй план чувства жалости и беспокойства за ее несчастную родственницу.

Между тем Аннета вернулась, но не принесла никаких разъяснений; слуги или сами ничего не знали, или притворялись ничего не знающими относительно пребывания графа в замке. Они толковали лишь о дурных, ухабистых дорогах, по которым только что ехали, и о том, как мог их господин решиться ехать в такую темную ночь, потому что, как они рассказывали, при факелах ночь казалась еще темнее в суровых горных ущельях. Аннета, увидав, что ей ничего больше не добиться, не стала больше расспрашивать, а слуги принялись с криками требовать поскорее топлива для очага и ужина.

— А теперь, барышня, не прогневайтесь: я до смерти спать хочу, — закончила Аннета, — да и вам отдохнуть не мешает, так что уж лучше отпустите меня...

Эмилия понимала, что было бы жестоко долее удерживать Аннету; тем более, что теперь уже нечего было ждать зова от Монтони в такой поздний час; поэтому она решила отпустить служанку. Но, оглядев свою мрачную, пустынную комнату, она почувствовала снова прилив непреодолимого страха.

— Знаю, что бесчеловечно просить тебя посидеть со мной, Аннета, пока я не засну, — сказала Эмилия, — боюсь, что пройдет много времени, прежде чем мне удастся забыться. Ступай с Богом, только, прежде чем уйти, скажи мне: был ли Монтони с графом Морано в главных сенях, когда ты там проходила?

— Да, барышня, они были там вдвоем...

— А заходила ты в тетушкину уборную после того, как ушла отсюда?

— Нет, не заходила, барышня; идя мимо, я подошла к дверям, но они были закрыты; я и подумала, что барыня верно почивает.

— Кто же был у твоей барыни сейчас? — спросила Эмилия, позабыв свою обычную осторожность.

— Никого не было, — отвечала Аннета, — наверное ни души не было...

Эмилия замолчала; после некоторой борьбы с воображаемыми страхами ее сердечная доброта наконец одержала верх над трусостью, и она отпустила Аннету на ночь. Потом она долго сидела, размышляя о своих делах и о г-же Монтони, пока глаза ее не остановились на миниатюрном портрете, найденном ею после смерти отца в его бумагах, которые он приказал уничтожить. Портрет лежал у нее на столе между кое-какими рисунками, незадолго перед тем вынутыми из чемодана. Вид портрета пробудил у нее немало интересных размышлений. Меланхолическая прелесть этого лица смягчала неприятное чувство, вызванное им в ее сердце. Оно было в том же роде, как и лицо ее отца; ей почудилось даже некоторое сходство в чертах. Но приятное впечатление ее вдруг исчезло, когда она вспомнила о словах рукописи, найденной вместе с портретом, — словах, когда-то вызвавших в ее душе так много сомнений и горя. Наконец она очнулась из глубокой задумчивости и стала раздеваться, чтобы лечь спать; одиночество и окружающая тишина среди глухой ночи, в связи с ее мыслями по поводу портрета, еще более прежнего угнетали ее. Намеки Аннеты, при всей их наивности, также не могли не волновать ее, тем более, что тут же, неподалеку от ее спальни находилась та комната, где она сама недавно видела леденящие кровь ужасы. Вдобавок дверь, выходящая на лестницу, в ком угодно могла возбудить опасения; под влиянием тишины и одиночества, Эмилии стало приходить в голову, что эта лестница имеет какое-то таинственное отношение к роковой комнате, о которой ей даже вспомнить было

страшно. Решившись не раздеваться, Эмилия легла как есть в платье, а у подножия ее постели свернулся Маншон, собака ее покойного отца, на которую она полагалась, как на верного стража.

Улегшись в постель, Эмилия пыталась отогнать от себя всякие мысли; но неугомонное воображение все работало, и на башенных часах пробило два, прежде чем она сомкнула глаза и погрузилась в тревожную дремоту.

Вскоре она проснулась от какого-то шороха, как будто в самой комнате; но сейчас же все стихло, и Эмилия подумала, что это один из тех необъяснимых звуков, которые чудятся во сне; она положила голову на подушку и старалась заснуть.

Опять повторился тот же шум; казалось, он шел из той части комнаты, которая соприкасалась с потайной лестницей. Эмилии вспомнилось вдруг, что в предыдущую ночь дверь на лестницу была кем-то заперта. Сразу ее охватило прежнее подозрение, что существует какая-то связь между этой лестницей и комнатой ужасов. Сердце ее сжалось от страха. Приподнявшись на постели и слегка отдернув полог, она вперила взор в дверь, ведущую на потайную лестницу, но лампа, горевшая на камине, разливала такой слабый свет по комнате, что отдаленные ее части тонули в густой тени. Между тем шум, как ей казалось, идущий от дверей, все не прекращался. Он походил на скрип ржавых засовов, иногда приостанавливался, потом опять возобновлялся с большой осторожностью, как будто чью-то руку сдерживал страх привлечь внимание. Эмилия, не спуская глаз с двери, увидала, как она тихонько приотворилась и что-то вдвинулось в комнату, — но что именно она не могла разглядеть в полутьме. Почти теряя сознание от ужаса и, однако, настолько впадая собою, чтобы удержаться от крика, готового сорваться с ее губ, она выпустила из руки край полога и продолжала наблюдать за движениями таинственной фигуры. Фигура как будто скользила по дальней темной части комнаты; затем, когда она приблизилась к камину, где было посветлее, Эмилия убедилась, что это человек. Некоторые воспоминания точно ударили ее в сердце и почти лишили остатков бодрости; однако она продолжала наблюдать таинственную фигуру, на некоторое время застывшую в неподвижности; потом, тихо двинувшись к постели, фигура безмолвно остановилась в ногах постели, где полог был немного раздвинут, так что Эмилия могла сквозь щель видеть ее движения; но она онемела и застыла от ужаса и не могла даже шевельнуться.

Но вот таинственное видение опять отошло к камину, взяло в руки лампу, несколько мгновений осматривало комнату, потом опять двинулось к постели. В эту минуту свет разбудил собаку, спавшую в ногах Эмилии; она громко залаяла, соскочила на пол и бросилась на незнакомца; тот с размаху ударил ее шпагой в ножнах и бросился к постели — Эмилия с изумлением узнала в незнакомце графа Морано!

С минуту она смотрела на него в безмолвном ужасе; а он, упав на колени у постели, умолял Эмилию не пугаться. Отбросив в сторону шпагу, он пытался овладеть ее рукой, но тут к девушке вернулись силы, парализованные испугом; она соскочила с постели, одетая — к счастью какое-то предчувствие помешало ей с вечера скинуть платье.

Морано поднялся, бросился вслед за Эмилией, побежавшей к дверям, настиг ее на площадке лестницы и схватил за руку, но перед тем она успела различить при слабом мерцании лампы другого человека, спрятавшегося на половине лестницы. Она вскрикнула от отчаяния; ей представилось, что Монтони продал ее графу и что теперь ей уже нечего ждать спасения.

Морано, все держа ее за руку, повел ее назад в комнату.

— К чему все эти страхи? — проговорил он дрожащим голосом. — Выслушайте меня, Эмилия, я вовсе не затем пришел, чтобы пугать вас. Нет, клянусь Богом! я слишком сильно люблю вас, слишком сильно для своего собственного спокойствия!

Эмилия взглянула на него с боязнью и недоверием.

— Если так, то уходите, оставьте меня сию же минуту.

— Сперва выслушайте меня, Эмилия, — продолжал Морано, — выслушайте, ради самого Бога! я люблю и повержен в отчаяние — да, в отчаяние!.. Я смотрю на вас и думаю:

неужели я буду разлучен с вами навеки? Но нет, этого быть не может! Вы будете моею вопреки Монтони и всем его злодейским козням!

— Вопреки Монтони! — с изумлением отозвалась Эмилия.

— Слышите, Монтони — негодяй! — с жаром воскликнул Морано, — негодяй, он готов был продать вас мне, он...

— Чем же лучше тот, кто хотел купить меня? — отвечала Эмилия, устремив на графа взор, полный спокойного презрения. — Уходите отсюда сию же минуту, — продолжала она голосом, трепещущим не то от страха, не то от радости, — или я подыму весь дом и вы навлечете на себя мщение синьора Монтони.

Но Эмилия твердо знала, что на таком расстоянии никто не услышит ее и никто не поспешит ей на помощь.

— Вам нечего рассчитывать на его сострадание, — сказал Морано, — он обошелся со мною гнусно, и моя месть будет преследовать его. Что касается вас, Эмилия, то, наверное, он имеет на вас какие-нибудь виды, еще более выгодные, чем прежде.

Искра надежды, вспыхнувшая в сердце Эмилии под влиянием речей графа вдруг погасла; на лице ее отразились движения ее души, и граф попытался воспользоваться своим открытием.

— Однако я теряю время понапрасну, — молвил он, — я здесь не для того, чтобы жаловаться на Монтони; я пришел умолять Эмилию, рассказать ей, как я страдаю, просить ее бежать со мною, чтобы спасти меня от отчаяния, а самое себя спасти от гибели! Подумайте, Эмилия, планы Монтони непроницаемы,

но предупреждаю вас — они ужасны; он не знает никаких препятствий, раз дело коснется его интереса или честолюбия. Могу ли я покинуть вас в его власти? Бегите, бегите из этой мрачной тюрьмы с человеком, который боготворит вас! Я подкупил одного из слуг замка, он отопрет нам ворота, и еще до наступления утренней зари вы будете уже далеко, на пути в Венецию.

Эмилия, ошеломленная полученным ударом, и в такой момент, когда она уже начинала надеяться на лучшие времена, видела, что ее со всех сторон окружает гибель. Не имея сил отвечать, не способная даже размышлять, она бросилась в кресла, бледная, задыхающаяся от волнения. Что Монтони продал ее графу Морано являлось вполне вероятным и что теперь он взял назад свое согласие на брак — было также очевидно из поступков самого Морано; несомненно, что только другой какой-нибудь расчет, более выгодный, мог заставить корыстолюбивого Монтони отказаться от своего прежнего плана. Эти соображения заставляли ее трепетать и верить намекам Морано; страшась новых бед и притеснений, ожидающих ее в Удольфском замке, она невольно убеждалась, что единственное средство избежать их — было отдаться под покровительство этого человека, а между тем и это связано было также с несчастьем, столь ужасным, что одна мысль о нем была ей нестерпима.

Молчание Эмилии, хотя и вызванное отчаянием, оживило надежды Морано; он с нетерпением наблюдал ее лицо, схватил руку, которую она отдергивала, и, прижимая ее к сердцу, опять молил Эмилию решиться немедленно.

— Каждая минута усиливает опасность нашего бегства, — говорил он, — и эти минуты, потерянные даром, дадут возможность Монтони настигнуть нас.

— Замолчите, умоляю вас, — промолвила Эмилия слабым голосом, — я действительно несчастна, несчастной я и останусь. Оставьте меня, приказываю вам — предоставьте меня моей горькой судьбе.

— Ни за что! — с жаром воскликнул Морано, — сперва пусть я погибну! Но простите мою стремительность! Мысль потерять вас сводит меня с ума. Вам должен быть известен характер Монтони; вы можете не знать его планов, — да, это так, или вы не стали бы колебаться между моей любовью и его властью.

— Я и не колеблюсь, — ответила Эмилия.

— Так идем скорее, — ответил Морано, с жаром целуя ее руку, — экипаж мой ждет внизу, под стенами замка.

— Вы не поняли меня, — молвила Эмилия, — позвольте поблагодарить вас за выраженное вами участие, но дайте мне действовать по моему собственному желанию. Я останусь здесь, под покровительством синьора Монтони.

— Под его покровительством! — с негодованием произнес Морано, — под его покровительством! Эмилия, как вы можете так обманываться? я уже говорил вам, чего вы должны ожидать от его покровительства!

— Простите меня, если я в этом случае не поверю одним словам и потребую хоть какого-нибудь доказательства.

— У меня нет ни времени, ни возможности приводить доказательства, — возразил граф.

— Так я не желаю выслушивать вас!

— Но вы испытываете мое терпение, вы издеваетесь надо мной, — продолжал Морано. — Неужели брак с человеком, обожающим вас, так ужасен, что вы предпочитаете ему все беды, каким может подвергнуть вас Монтони в этой темнице, удаленной от людей? Какой-нибудь негодяй похитил сердце, которое должно быть моим, иначе вы не стали бы так упорно отказываться от предложения, которое поставит вас вне всякого преследования.

Морано взволнованно, быстрыми шагами заходил по комнате.

— Вот эти-то речи еще более убеждают меня, граф Морано, что моя привязанность никогда не может принадлежать вам, — кротко заметила Эмилия, — а ваше поведение доказывает, что я не избавлюсь от притеснения, если отдамся в вашу власть. Если вы желаете, чтобы я переменила мнение о вас, то перестаньте мучить меня своим присутствием. Если вы не исполните этого условия, то заставите меня позвать синьора Монтони.

— Хорошо, пусть он приходит! — с яростью воскликнул Морано, — и попробует подвергнуться моему гневу! Пусть померяется с человеком, которого он так дерзко оскорбил; моя месть научит его справедливости, — пусть приходит и встретит мой меч!

Пылкость, с какой произнесены были эти слова, еще сильнее встревожила Эмилию; она поднялась со стула, но так сильно дрожала, что не могла устоять на ногах, и опять села; слова замирали на ее губах, она боязливо оглядывалась на запертую дверь в коридор; она видела, что невозможно выйти из комнаты так, чтобы Морано не предупредил ее намерения.

Не замечая ее волнения, он продолжал шагать по комнате в крайнем возбуждении. Его потемневшее лицо выражало всю ярость ревности и мщения, и всякий, кто видел его черты, озаренные улыбкой невыразимой нежности — как это было так недавно — теперь просто не узнал бы его.

— Граф Морано, — начала Эмилия, наконец получившая способность говорить, — умоляю вас, успокойтесь, подавите свои порывы, послушайтесь голоса рассудка, если не хотите слушать голоса жалости. Вы дурно направили и любовь свою и ненависть. Я никогда не могла бы отвечать на чувство, которым вы почтили меня, и, конечно, никогда не поощряла вас; точно так же напрасно вы сердитесь на синьора Монтони: вы должны были знать, что он не имел права располагать моей рукой, даже если б у него была на это власть. Уезжайте из замка, пока вам не угрожает опасность. Не предавайтесь несправедливой мести, не навлекайте на меня лишних страданий.

— И за кого это вы так тревожитесь: за меня или за Монтони? — холодно спросил Морано и устремил на нее язвительный взор.

— За обоих! — отвечала Эмилия трепещущим голосом.

— Несправедливая месть! — воскликнул граф с прежней порывистой страстностью. — Трудно выдумать кару, достаточную для отплаты за оскорбление, какое он хотел нанести мне! Да, я покину замок, но не один. Слишком долго меня морочили. Раз мои мольбы и мои страдания тщетны, — я употреблю силу. У меня есть люди, которые доставят вас в мой экипаж. Ваши крики никого не призовут на помощь, вашего голоса никто не услышит из этой отдаленной части замка; покоритесь же молча, пойдем со мною.

Теперь это было уже лишним напоминанием. Эмилия убедилась, что ее крики ни к чему не послужат; ужас привел в такое расстройство ее мысли, что она не находила слов

мольбы и сидела безмолвая и дрожащая до тех пор, пока он не подошел к ней, чтобы заставить ее встать. Тогда она вдруг поднялась, оттолкнула его и, стараясь казаться спокойной, проговорила:

— Граф Морано, я в вашей власти, но заметьте, таким поведением вам не удастся заслужить уважения, которого вы так желали добиться; вы готовите себе тяжкое бремя угрызений совести, если обидите беспомощную сироту. Неужели ваше сердце до того ожесточено, что вы можете без волнения смотреть на мои страдания?

Тут послышалось ворчание собаки, опять соскочившей с постели; Морано взглянул на дверь, ведущую на лестницу, и, видя, что никто не появляется, крикнул:

— Эй, Чезарио!.. Зачем вы заставляете меня прибегать к этому средству? — обратился он к Эмилии. — Насколько мне было бы приятнее уговорить вас, нежели силою заставить сделаться моею женою? Но, клянусь небом, я не допущу, чтобы Монтони продал вас кому-нибудь! Однако у меня в голове зародилась мысль, которая сводит меня с ума. Я не знаю, как выразить ее, это мысль безумная... этого быть не может! Но вы дрожите, вы бледнеете! так и есть! вы... вы любите Монтони! — крикнул Морано, схватив Эмилию за руку и бешено топнув ногой.

Искреннее изумление разлилось по ее лицу.

— Если вы действительно так думаете, — проговорила она, — то и думайте...

— Ваш взор, ваши слова подтверждают мои подозрения, — с бешенством воскликнул Морано. — Конечно, Монтони имел в виду приз более драгоценный, чем золото. Но он не доживет до того, чтобы восторжествовать надо мною! Сию минуту...

Его прервал громкий лай собаки.

— Стойте, граф Морано, — сказала Эмилия, испуганная словами и бешенством, сверкавшим в его взоре, — я спасу вас от этого заблуждения. Из всех людей в мире Монтони менее всех вам соперник, хотя если я не найду других средств спасти себя, то попытаюсь разбудить его слуг и призвать их на помощь своими криками!..

— В такую минуту, — отвечал Морано, — нельзя полагаться на ваши уверения. Как мог я думать, что он видел вас и не полюбил? Но первой моей заботой будет увезти вас из замка. Чезарио! эй, Чезарио!

У двери, ведущей на лестницу, появился человек, кроме того слышны были шаги других, поднимающихся по лестнице. Эмилия отчаянно вскрикнула, в то время как Морано поспешно протаскил ее по комнате; в ту же минуту она услышала шум у других дверей, ведущих в коридор. Граф остановился, точно колеблясь между любовью и желанием мести; в тот же момент дверь распахнулась, и в комнату ворвался Монтони, в сопровождении старого дворецкого и еще нескольких людей.

— К оружию! — крикнул Монтони графу.

Тот, не дожидаясь вторичного приглашения, передал Эмилию на руки своих людей, вошедших с лестницы, и с бешенством кинулся к Монтони.

— Вот тебе удар прямо в сердце, негодяй! — крикнул он, бросаясь с мечом на Монтони; тот парировал удар и отвечал со своей стороны; некоторые из лиц, сопровождавших Монтони, пытались разнять сражающихся, другие освобождали Эмилию от Морано.

— Так вот как вы поступаете, граф Морано! — произнес Монтони холодным, саркастическим тоном. — Я принимал вас под своим кровом, позволил вам, хотя и отъявленному врагу моему, остаться ночевать в моем доме, а вы отплатили мне за гостеприимство дьявольской изменой и похитили у меня мою племянницу?

— Как вы смеете заикаться об измене? — запальчиво воскликнул Морано, — когда вы сами кругом виноваты? Монтони, вы негодяй! Если тут есть измена, то она на вашей стороне. Вы нанесли мне гнусную обиду, вы оскорбили меня смертельно... Но к чему слова? Выходи на бой, подлец, и прими правосудие из рук моих!

— Сам подлец! — воскликнул Монтони и, вырвавшись из рук людей, державших его, кинулся на графа; оба отступили в коридор, и там начался бой, до того ожесточенный, что

никто из зрителей не решался подойти. Монтони клялся, что он пронзит мечом всякого, кто только осмелится вмешаться.

Ревность и мщение придавали особенную свирепость Морано, между тем как превосходство силы и хладнокровие Монтони дали ему возможность ранить противника, которого его слуги теперь пытались схватить; но он не поддавался и, несмотря на рану, продолжал сражаться. Он как будто не чувствовал ни боли, ни потери крови и всецело отдавался пылу мщения; Монтони, наоборот, дрался со стойкой, но сдержанной отвагой; острие меча Морано проткнуло ему руку, но почти в то же мгновение он серьезно ранил и обезоружил противника. Граф упал навзничь на руки своего слуги, а Монтони простер над ним меч, приказывая ему просить пощады. Морано, изнемогая от боли, едва успел ответить слабым жестом и несколькими едва слышными словами, что он на это не согласен, как с ним сделался обморок. Монтони уже собирался погрузить ему меч прямо в сердце в то время, как он лежал без чувств, но был остановлен рукою Кавиньи. С большим трудом удалось его удержать, но лицо его потемнело, пока он глядел на распростертого противника, и он приказал унести его немедленно вон из замка.

Между тем Эмилия, которую не пускали из ее комнаты во время суматохи боя, теперь вышла в коридор, и из чувства простого человеколюбия горячо стала умолять Монтони позволить графу Морано остаться в замке, где ему могут оказать помощь, необходимую в его состоянии. Но Монтони, который редко слушался голоса сострадания, теперь жаждал мщения и с невероятной жестокостью опять приказал удалить сраженного врага из замка, несмотря на его опасное положение, хотя кругом замка был лес и никакого другого убежища, где бы раненый мог приютиться.

Слуги графа объявили, что они не тронут его с места, пока он не очнется, и Монтони поневоле должен был бездействовать. Кавиньи тоже вступился за раненого, а Эмилия, пренебрегая угрозами Монтони, подала воды графу и распорядилась, чтобы ему перевязали рану. Наконец сам Монтони почувствовал боль в раненой руке и удалился сделать перевязку.

Между тем граф мало-помалу очнулся и первое, что он увидел, открыв глаза, была Эмилия, склонившая над ним встревоженное лицо. Он бросил на нее взгляд, полный нежности и тоски.

— Я заслужил все это, — проговорил он, — но не от руки Монтони. От вас, Эмилия, я заслужил наказание, а между тем получаю одну только жалость. — Он остановился, потому что говорил с трудом. После короткой паузы он продолжал: — Я принужден покинуть вас, но, надеюсь, не во власти Монтони. Простите мне страдания, которые я уже причинил вам! Что касается этого негодяя, то его злодейство не останется безнаказанным. Унесите меня отсюда! — обратился он к своим слугам. — Я не в состоянии ехать дальше; перенесите меня в ближайшую хижину. Я ни за что не хочу проводить ночь под этим кровом, хотя бы мне пришлось умереть дорогой.

Чезарио предложил предварительно осведомиться, нет ли поблизости какой-нибудь лачуги, где бы мог укрыться его господин. Но Морано рвался вон из замка. Душевное его состояние беспокоило его еще больше, чем рана. Он с презрением отверг предложение Кавиньи, который хотел упросить Монтони, чтобы тот позволил больному переночевать в замке. Чезарио намеревался пойти сказать, чтобы подали карету к главным воротам, но граф запретил ему: «Я не в состоянии вынести тряску экипажа, — сказал он, — позови еще несколько человек из моих слуг, пусть перенесут меня на руках».

Наконец Морано подчинился доводам рассудка и согласился, чтобы Чезарио сперва приготовил для него убежище в какой-нибудь хижине. Теперь, когда он пришел в сознание, Эмилия собиралась уйти из коридора; в эту минуту Монтони прислал слугу с приказанием, чтобы Эмилия не подходила к раненому и чтобы граф покинул замок немедленно. Глаза Морано загорелись негодованием и щеки его вспыхнули алым румянцем.

— Скажите синьору Монтони, — проговорил он, — что я удалюсь, когда мне будет удобно, что я покидаю замок, который он осмеливается называть своим, как змеиное гнездо, и что он еще услышит обо мне! Скажите ему, что я не хочу обременять его совесть вторым

убийством.

— Граф Морано, понимаете ли вы что говорите? — вмешался Кавиньи.

— Да, синьор, я прекрасно понимаю, что говорю, и он также поймет, что я хочу сказать. Совесть его поможет ему разгадать мои намеки.

— Граф Морано, — произнес Верецци, до сих пор молча наблюдавший раненого, — если вы посмеете еще раз оскорбить моего друга, я насквозь проколю вас мечом.

— Это было бы поступком, достойным друга такого негодяя: — возразил Морано под импульсом негодования, он приподнялся, освободившись от державших его слуг; но этот прилив энергии был непродолжителен, скоро он опять откинулся назад в изнеможении. Между тем люди Монтони удерживали Верецци, который порывался привести в исполнение свою угрозу. Кавиньи, не настолько еще развращенный, чтобы поощрять подлое коварство Верецци, старался увести его из коридора. Эмилия, из сострадания не уходившая до сих пор, собралась бежать в ужасе, как вдруг умоляющий голос Морано остановил ее; слабым жестом он попросил ее подойти поближе.

Она робко подошла к нему, но томное, измученное выражение его лица опять возбудило в ней жалость, и она преодолела ужас.

— Я удаляюсь отсюда навсегда, — молвил он, — может быть, я никогда не увижусь с вами. Мне хотелось бы унести с собою ваше прощение; Эмилия, мало того, мне хотелось бы услышать от вас, что вы относитесь ко мне доброжелательно!

— Хорошо, я прощаю вас; искренне желаю вам выздоровления.

— Только выздоровления? — отозвался Морано с глубоким вздохом.

— ... И всяких благ, — прибавила Эмилия.

— Может быть, мне следовало бы удовольствоваться этим, — заметил он, — большего я не заслужил; но я попрошу вас, Эмилия, иногда думать обо мне и, забыв о моих проступках, вспоминать только о моей пылкой любви, вызвавшей эти проступки. Увы, я готов просить невозможного: просить вашей любви! В эти минуты, когда я расстаюсь с вами, и может быть, навеки, я почти не помню себя. Эмилия, желаю вам никогда не испытывать мучения такой страсти, как моя!..

Эмили хотелось поскорее уйти.

— Умоляю вас, граф, подумайте о своей безопасности и не мешкайте здесь долее. Я трепещу последствий злобы синьора Верецци и гнева Монтони, если он узнает, что вы все еще здесь.

Лицо Морано вспыхнуло румянцем, глаза сверкнули, но он старался скрыть свое волнение и отвечал спокойным тоном:

— Раз вы интересуетесь моей безопасностью, я сам позабочусь о ней и удалюсь. Но раньше я еще раз хочу услышать от вас, что вы желаете мне добра, — прибавил он, устремив на нее страстный, печальный взор.

Эмилия повторила свои уверения. Он взял ее руку, которую она даже не пробовала отдернуть, и поднес ее к губам своим.

— Прощайте, граф Морано, — проговорила Эмилия и повернулась, чтобы уйти; в эту минуту появился слуга со вторичным приказанием от Монтони. Опять Эмилия стала умолять Морано, если он дорожит своей жизнью, покинуть замок немедленно. Он молча устремил на нее пристальный взор, полный отчаяния, но она не имела времени повторить свою просьбу и, не смея ослушаться приказа Монтони, вышла из коридора и пошла к нему.

Монтони находился в так называемой «кедровой» гостиной, смежной с большой залой, и лежал на кушетке, довольно сильно страдая от своей раны. На суровом, но спокойном лице его отражалась мрачная, страстная мстительность, но не видно было признаков физической боли: физическое страдание он всегда презирал и признавал одни лишь грозные, душевные бури. Вокруг него суетились старый Карло и синьор Бертолини, но г-жи Монтони при нем не было.

Эмилия вся дрожа приблизилась к нему и выслушала его строгий выговор за то, что она не послушалась его с первого слова. Она заметила, что он приписывает ее продолжительное

пребывание в коридоре такому мотиву, который и не приходил ей в голову по ее наивности.

— Все это женские капризы, — сказал он, — я должен был бы их предвидеть. Вы упорно отвергали ухаживания графа Морано, пока я поддерживал его предложение, а теперь вдруг начали поощрять его, увидав, что я отказал ему в вашей руке.

Эмилия была изумлена.

— Я не понимаю вас, синьор, — отвечала она, — уж не намекаете ли вы на то, будто граф явился ко мне в комнату с моего согласия?

— На это я вам ничего не отвечу, — возразил Монтони, — но несомненно нечто более, чем простое участие, заставляло вас так горячо заступаться за него и так долго оставаться в коридоре при человеке, которого вы до сих пор тщательно избегали.

— Боюсь, синьор, что мною руководило нечто более, чем простое участие, — спокойно отвечала Эмилия, — за последнее время я стала убеждаться, что чувство сострадания редко встречается в людях. Но как могли вы, синьор, смотреть на ужасное положение Морано и не желать облегчить его?

— К капризам вы еще присоединяете и лицемерие! — проговорил нахмурившись Монтони, — вы смеете критиковать чужие поступки, а между тем вам прежде всего следовало бы оглянуться на себя и приобрести качества, необходимые для женщины: искренность, постоянство в чувствах и покорность.

Эмилия, всегда старавшаяся согласовать свои поступки с законами справедливости и душа которой была необыкновенно чутка ко всему, что и составляет украшение женщины, была поражена этими упреками, но в глубине души она твердо сознавала, что заслуживает скорее похвалы, чем осуждения, поэтому гордо молчала. Монтони, обратившись к слуге, вошедшему в комнату, осведомился — уехал ли Морано из замка? Человек отвечал, что слуги как раз переносят раненого на кресле в ближайшую хижину. Услыхав это, Монтони немного успокоился; и когда через несколько минут появился Людовико и доложил, что Морано уже нет в замке, Монтони велел Эмилии вернуться в свою комнату.

Эмилия была рада уйти, чтобы не видеть Монтони, но мысль провести остаток ночи в комнате, куда всякий мог вторгнуться через дверь, ведущую на лестницу, теперь тревожила ее еще более, чем когда-нибудь; она решилась ийти к тетке и попросить ее, чтобы она позволила Аннете ночевать с нею.

Дойдя до большой галереи, она услышала голоса, громко спорящие; в эту минуту, склонная пугаться решительно всего, она остановилась, но вскоре до нее долетели слова, произнесенные синьорами Кавиньи и Верецци, и она направилась к ним, с намерением успокоить и примирить их. Они были одни. Лицо Верецци все еще пылало злобой; но так как первоначальная причина его гнева была уже удалена, то он, казалось, перенес все свое раздражение на Кавиньи, а тот, по-видимому, не столько спорил с ним, сколько укорял его в чем-то.

Верецци твердил, что сейчас же уведомит Монтони об оскорблении, нанесенном ему Морано, а главное о том, что граф обвинил его в убийстве.

— В состоянии исступления человек не может отвечать за себя, — говорил Кавиньи, — на слова, произнесенные в раздражении, нельзя обращать внимания. Если вы будете настаивать на своем намерении, то последствия окажутся роковыми для вас обоих. Теперь же нам предстоит бороться за более серьезные интересы, а не преследовать мелочную мстительность.

Эмилия присоединила свои просьбы к доводам Кавиньи и они наконец подействовали настолько, что Верецци согласился уйти к себе, не повидавшись с Монтони.

Дойдя до комнаты тетки, Эмилия нашла двери запертыми. Через некоторое время, однако, ей отворила сама г-жа Монтони.

Не надо забывать того, что за несколько часов перед тем Эмилия подходила к спальне тетки другим, задним ходом. Теперь, судя по спокойному лицу г-жи Монтони, Эмилия пришла к выводу, что она ничего не подозревает о приключении; случившемся с ее мужем, и уже собиралась сообщить ей обо всем как только возможно осторожнее, но тетка прервала

ее, заметив, что ей уже все известно.

Эмилия прекрасно знала, что тетка ее вообще не имеет причин любить мужа, но такой полной апатии к нему она все-таки не ожидала. Получив позволение взять Аннету, Эмилия тотчас же удалилась к себе.

По всему коридору виднелись на полу следы кровц, а на том месте, где граф и Монтони дрались, были большие багровые пятна. Проходя мимо, Эмилия невольно задрожала и оперлась на руку Аннеты. Достигнув своей комнаты, она сейчас же решила — раз дверь на лестницу была оставлена отворенной, а с ней кстати была Аннета — тут же исследовать, куда ведет эта дверь. Это обстоятельство было фактически связано с ее безопасностью. Аннету разбирал и страх, и любопытство; она предложила спуститься вниз тайком по лестнице; но, приблизившись к двери, она убедилась, что ее уже успели запереть снаружи. Теперь вся их забота была направлена к тому, чтобы заградить дверь также изнутри, приставив к ней столько тяжелой мебели, сколько они были в силах стащить с места. После этого Эмилия улеглась наконец в постель; Аннета заснула на кресле у камина, где еще слабо тлели головни.

ГЛАВА XX

*Голоса воздушные, что произносят имена людей
В пустынях, на песках, в покинутых жилищах.*

Мильтон

Теперь вернемся к предыдущим событиям, которые автор не успел изложить, занявшись поспешным отъездом Эмилии и происшествиями, быстро следовавшими одно за другим по прибытии ее в замок.

В день ее отъезда утром граф Морано явился в назначенный час в палаццо Монтони за своей невестой. Придя туда, он был несколько озадачен тишиной и безлюдием в портике, где обыкновенно толклись лакеи Монтони; но удивление скоро сменилось негодованием и бешенством, когда дверь отворила какая-то старуха и объявила графским слугам, что господа рано поутру выехали из Венеции на terra firma. Почти не веря тому, что доложили ему слуги, Морано сам вышел из гондолы и бросился в портик, желая узнать, в чем дело. Старуха, одна оставшаяся сторожить палаццо, опять повторила сказанное раньше, а безмолвие и пустота покинутых апартаментов красноречиво подтвердили ее слова. Тогда граф в гневе схватил ее за плечи, как будто хотел сорвать на ней всю злобу, и забросал ее вопросами с такой бешеной жестикуляцией, что та от испуга не могла выговорить ни слова. Наконец он выпустил ее из рук и обежал весь дом, как безумный, проклиная и Монтони и свою собственную глупость. Тогда старуха, несколько оправившись от испуга, рассказала ему все, что знала об отъезде, — в сущности очень немного, но из этого рассказа Морано мог понять, что Монтони уехал в свой замок в Апеннинах.

Туда он и последовал за ним, как только его слуги окончили сборы в дорогу, — в сопровождении одного приятеля и нескольких человек свиты; он решил или овладеть Эмилией, или отомстить Монтони. Когда он опомнился от первой вспышки бешенства и мысли его немного прояснились, совесть подсказала ему некоторые обстоятельства, до известной степени объяснявшие поворот в поведении Монтони. Каким образом последний мог пронюхать о намерении, известном только ему, Морано, этого он не мог постигнуть. Но в таких случаях между людьми недобрыми существует тайное сочувствие и часто, как говорится, сердце сердцу весть подает. Так было и с Монтони; ему удалось узнать наверное то, что он подозревал уже давно, а именно, что обстоятельства Морано вовсе не блестящи, как ему хотели внушить, а, напротив, сильно пошатнулись. Монтони поддерживал его сватовство из эгоистических мотивов, честолюбия и корысти: первое было бы удовлетворено, если б он породнился с венецианским вельможей, а второе — тем, что он рассчитывал получить поместье Эмилии в Гаскони, обещанное ему графом в день ее

свадьбы. В то же самое время, он возлагал надежды на безумную расточительность графа, и только вечером накануне свадьбы он получил верные сведения о расстроенных делах жениха. Тогда он, не колеблясь, вывел заключение, что Морано намерен надуть его и не дать ему имения Эмилии. Эту догадку, по-видимому, подтверждал дальнейший образ действий графа, который, обещав явиться вечером для подписания документа, обеспечивающего Монтони обещанную награду, не сдержал своего слова. Такой поступок со стороны человека такого беспечного характера, как у Морано, мог быть приписан и другой причине, менее серьезной, но Монтони ни на минуту не колебался объяснить этот поступок по-своему.

Тщетно прождав графа несколько часов, он отдал распоряжение своим людям немедленно готовиться к отъезду. Спеша в Удольфский замок, он желал удалить Эмилию от Морано, а также порвать сватовство, не подвергаясь бесполезным пререканиям со стороны жениха, а если граф имеет честные намерения, как Монтони понимал их, то он несомненно последует за Эмилией и подпишет требуемые документы. В таком случае Монтони не задумался бы принести племянницу в жертву человеку даже разорившемуся, лишь бы самому сорвать хороший куш он избегал упоминать ей о причине своего внезапного отъезда, боясь возбудить в ней надежды и сделать ее еще более несговорчивой и непокорной.

С такими соображениями он покинул Венецию, а Морано, имея в виду соображения совсем иного свойства, последовал за ним в область суровых Апеннин. Когда доложили о его приезде в замок, Монтони подумал про себя, что Морано не решился бы показаться, если бы не имел намерения выполнить свое обязательство, поэтому с готовностью принял графа у себя. Но раздраженный вид и резкий тон Морано, как только он вошел, тотчас же разуверили его. Когда Монтони отчасти объяснил ему мотивы неожиданного отъезда из Венеции, граф настойчиво продолжал требовать Эмилию и укорять Монтони, даже не упоминая о своем прежнем условии.

Наконец Монтони, утомившись спором, отложил решение его до следующего утра, и Морано удалился с некоторой надеждой, вызванной явной нерешительностью Монтони. Но в уединении своей спальни он стал обдумывать предыдущий разговор с Монтони, припомнив из прошлого несколько примеров его двоедушия, — и все надежды его сразу испарились: он решил не пренебрегать случаем овладеть Эмилией с помощью иных средств. Своему преданному камердинеру он доверил свой план увести Эмилию и послал его к слугам Монтони поискать, не найдется ли между ними хотя один, который мог бы помочь ему осуществить его намерение. Выбор он поручил догадливости своего слуги и не ошибся: тот нашел человека, с которым Монтони когда-то обошелся сурово и который поэтому готов был изменить своему господину. Этот слуга провел Чезарио вокруг замка, через потайной ход по лестнице, ведущей прямо в спальню Эмилии; потом показал ему кратчайший выход из замка и доставил ему ключи, которые должны были обеспечить его отступление. Человека этого щедро наградили за его услугу. Как вознагражден был граф за свое коварство — мы уже знаем.

Между тем старик Карло случайно услышал разговор двух слуг Морано, которым приказано было ждать у кареты за стенами замка: они диву давались, что означает внезапный тайный отъезд их господина, потому что камердинер не объяснил им планов Морано и только поручил исполнить некоторые распоряжения. Теперь слуги, однако, пускались на догадки и передавали их друг другу; из их беседы Карло вывел верное заключение. Но прежде чем он осмелился доложить Монтони о своих опасениях, он старался получить дальнейшее подтверждение своих догадок и с этой целью встал вместе с другим слугой у дверей комнаты Эмилии, выходящей в коридор. Не долго пришлось ему ждать, хотя ворчание собаки раз чуть было не выдало его. Убедившись, что Морано забрался в комнату Эмилии, и прислушавшись к разговору настолько, что понял его планы, старик немедленно поднял тревогу, вызвал Монтони и таким образом спас Эмилию от посягательств графа.

На другое утро Монтони встал в обычный час; раненая рука его была на перевязи; он выходил на крепостной вал, осматривал работы, отдавал распоряжения о возведении добавочных верков, затем вернулся в замок, где принимал нескольких лиц, с которыми

целый час толковал о делах. После этого позвали Карло и приказали ему отвести незнакомцев в ту часть замка, где в прежнее время помещались главные слуги, и хорошенько угостить их. После этого ему приказано было вернуться к своему господину.

Тем временем граф лежал в хижине на опушке леса под горою и среди жестоких физических и нравственных страданий замыслил отомстить синьору Монтони. Слуга его, которого он послал за хирургом в ближайший город, вернулся только на другой день. Осмотрев и перевязав раны, врач отказался высказать положительное мнение о степени их опасности; но, дав больному успокаивающее питье и предписав ему покой, сам остался в хижине наблюдать за ходом болезни.

Остаток этой тревожной ночи Эмилия провела относительно спокойно; утром, проснувшись и вспомнив, что теперь она избавлена от ухаживаний Морано, она почувствовала, что с души у нее скатилось тяжелое бремя. Теперь оставалась только одна забота — убедиться, насколько верны намеки Морано относительно замыслов Монтони. Она помнила, что он сказал ей:

— Планы его мне неизвестны, но я знаю, что они ужасны.

В эту минуту ей казалось, что граф говорит это с целью напугать ее и заставить принять его покровительство, и до сих пор она думала, что это действительно так. Но все-таки, по зрелом размышлении, уверения эти являлись довольно правдоподобными, если принять во внимание характер и прежние поступки Монтони. Однако Эмилия подавила в себе склонность к дурным предчувствиям и, решив насладиться этим временным отдыхом от действительных бед, старалась не думать ни о чем дурном. Она собрала свои рисовальные принадлежности и расположилась у окна срисовывать часть пейзажа, расстилающегося перед нею.

Занятая рисованием, она увидела вдруг на террасе тех самых людей, что недавно прибыли в замок. Вид их невольно приковывал внимание: их одежда была какая-то странная, а лица отличались свирепым выражением. Эмилия отошла от окна, в то время как они проходили мимо, но скоро опять вернулась к своему наблюдательному посту. Их фигуры так подходили к окружающей дикой обстановке, что пока они стояли, рассматривая замок, Эмилия набросала их в свою картину, где они должны были изображать бандитов в горах. Окончив набросок, она поразилась характерностью группы, срисованной с натуры.

Поставив угощение для новоприбывших в отведенной им комнате, Карло, как ему было приказано, вернулся к своему господину, который желал поскорее расследовать, кто из слуг сыграл роль предателя и отдал ключи от ворот в руки чужих людей. Но Карло, хотя и преданный своему господину настолько, что не мог относиться равнодушно к его интересам, все-таки ни за что не согласился бы выдать товарища даже в руки законного правосудия; поэтому он притворился, что не знает, кто участвовал в заговоре графа Морано, а только повторил свое первое заявление, что случайно услышал о заговоре от слуг.

Подозрения Монтони естественно пали на привратника, и он велел позвать его. Карло сперва колебался, наконец, скрепя сердце, отправился исполнять приказание.

Привратник Бернардини отрицал обвинения с таким стойким, решительным видом, что Монтони едва ли мог считать его виновным, хотя и не верил в его полную непричастность к делу. Наконец привратника отпустили: он и был истинным виновником, хотя избежал темницы.

После этого Монтони отправился в апартаменты своей жены, куда за ним вскоре последовала и Эмилия; но, застав супругов в оживленном споре между собой, она тотчас же хотела уйти; тетка удержала ее.

— Вы будете свидетельницей моего сопротивления, — сказала она. — Ну, синьор, повторите приказание, которому я так много раз отказывалась повиноваться.

Монтони обернулся к Эмилии с гневным, суровым лицом и велел ей выйти из комнаты, тогда как жена его продолжала настойчиво требовать, чтобы она осталась. Эмилии хотелось избежать этой сцены раздора; вместе с тем она желала быть полезной своей тетке. Но она боялась идти наперекор Монтони, в глазах которого сверкал мрачный гнев.

— Уйдите отсюда, — произнес он громовым голосом.

Эмилия повиновалась и, сойдя вниз на террасу, откуда незнакомцы уже удалились, продолжала размышлять о несчастном браке сестры своего покойного отца и о своем собственном отчаянном положении, в которое была поставлена тою, кого она всегда искренне старалась любить и уважать. Поведение г-жи Монтони было, однако, таково, что исключало всякое уважение и любовь; но кроткое сердце Эмилии было тронuto ее несчастием, и в пробудившейся жалости она позабыла недостойное обращение с нею тетки.

В то время, как она прогуливалась по валу, у входных дверей появилась вдруг Аннета, боязливо озираясь.

— Барышня милая, я искала вас по всему дому, — проговорила она. — Подите-ка сюда, я покажу вам картину.

— Картину! — отозвалась Эмилия, вздрогнув.

— Да, барышня, портрет покойной госпожи этого замка. Старый Карло сказал мне, что это она, и я подумала, что вам интересно будет поглядеть. А уж с моей барыней, вы сами знаете, нельзя говорить о таких вещах.

— А так как, — улыбнулась Эмилия, — тебе непременно нужно с кем-нибудь поговорить...

— Ну да, конечно, барышня! можно ли жить в таком доме, если еще и поговорить не с кем? Кажется, если б меня заперли в тюрьму, да позволили говорить — я охотно согласилась бы; я стала бы разговаривать, ну, хоть со стенами!.. Однако пойдемте, барышня, мы теряем время — я хочу показать вам ту картину.

— Она закрыта покрывалом? — спросила Эмилия, остановившись.

— Да чего вы так побледнели, барышня! — воскликнула Аннета, пристально взглянув на Эмилию, — вы нездоровы?

— Нет, Аннета, со мной ничего, но мне что-то не хочется смотреть картину. Ступай одна в замок.

— Как, барышня? неужто вы не желаете взглянуть на госпожу здешнего замка, на ту даму, помните, что исчезла так таинственно? Ну, а я, признаться, готова была бы взбежать одним духом вон на ту дальнюю гору — лишь бы посмотреть на ее портрет, и, по правде сказать, только одна эта страшная история и привлекает меня в этом старом замке, хотя жутко становится, лишь только подумаешь обо всем этом!..

— Да, Аннета, ты любишь все чудесное; но знаешь ли, если ты не остережешься, то эта склонность заведет тебя в дебри суеверия!..

Аннета, в свою очередь, могла бы посмеяться над таким благозвучным замечанием Эмилии, которая сама точно так же трусила воображаемых ужасов и с таким же интересом слушала разные таинственные сказки. Аннета повторила свое предложение.

— И ты уверена, что это действительно картина? — спросила Эмилия. — Ты сама видела ее? Она закутана покрывалом?

— Пресвятая Дева Мария! Да... нет... да, я уверена, что это картина — я сама видела, она ничем не завешена.

Удивленный тон и взгляд, с каким это было сказано, заставили Эмилию насторожиться; она скрыла свое волнение под небрежной улыбкой и просила Аннету повести ее к картине. Картина висела в полутемной комнате, смежной с помещением для слуг. Несколько других предметов, развешенных по стенам, были, как и эта картина, покрыты пылью и паутиной.

— Вот она, — проговорила Аннета тихим голосом, указывая на картину.

Картина изображала даму в цвете молодости и красоты; черты ее были изящны, благородны, полны выразительности; но в них не было той кроткой привлекательности, которая нравилась Эмилии, а еще менее той томной задумчивости, которую она так высоко ценила. Это было лицо, дышавшее скорее страстью, чем нежностью, надменной нетерпеливостью, а не мягкой покорностью перед несчастием.

— Сколько лет прошло с того времени, как исчезла эта дама, Аннета? — спросила Эмилия.

— Двадцать лет, барышня, или около того, — так люди говорят. Знаю только, что случилось это давным-давно.

Эмилия, не отрываясь, смотрела на портрет.

— Сдается мне, — продолжала Аннета, — что синьору следовало бы повесить портрет в лучшее место, а не оставлять в этой грязной каморке. По-моему, он должен бы поместить изображение особы, доставившей ему все эти богатства, в самую лучшую комнату замка. Но если он этого не делает, то у него верно есть на это основательные причины. Говорят, будто за неблагодарность он потерял все свои богатства. Но тсс... барышня, об этом ни слова!

Аннета приложила палец к губам. Эмилия была слишком поглощена своими мыслями, чтобы слышать болтовню горничной.

— Госпожа эта — красавица, что и говорить, — продолжала Аннета, — синьору нечего стыдиться повесить ее портрет в той же зале, где находится пресловутая картина под покрыва лом.

Эмилия резко обернулась.

— Да только и там ее так же мало было бы видно, как и здесь: ведь дверь туда всегда заперта, я сама убедилась.

— Уйдем отсюда, — сказала Эмилия, — и послушайся моего совета, Аннета, — будь осторожна на язык и никогда никому не говори того, что знаешь про эту картину.

— Пресвятая Дева! — воскликнула Аннета, — разве же это секрет? все слуги видели ее!

Эмилия вздрогнула.

— Вот как? — воскликнула она. — Видали? Когда? Где?

— Ах, барышня, да что ж тут странного? Все мы оказались любопытнее вас!

— Ты, кажется, говорила, что дверь держат на запоре, — заметила Эмилия.

— Видно, не всегда, барышня, иначе, как могли бы мы с вами попасть сюда?

— Ах да, ты говоришь про эту картину, — отвечала Эмилия, немного успокоившись. — Ну, Аннета, здесь больше нечего смотреть, пойдем.

Идя в свою комнату, Эмилия увидела, что Монтони сходит вниз в сени, и зашла в уборную тетki, которую застала в слезах; на лице ее было написано горе и озлобление. До сих пор гордость не позволяла ей жаловаться. Судя о племяннице по самой себе и сознавая в душе, что ее обращение с нею того заслуживало, она вообразила, что ее горе вызовет у Эмилии злорадство, а не сочувствие, что та будет презирать, а не жалеть ее. Но она не знала, сколько нежности и сострадания таится в сердце Эмилии, не знала, что она всегда готова позабыть нанесенные ей обиды, когда врагов ее постигло несчастье. Страдания других, кто бы они ни были, всегда возбуждали в ней жалость, и это чувство неизменно рассеивало малейшее темное облачко злобы в ее душе, навеянное гневом или предубеждением.

Страдания заставили наконец г-жу Монтони преодолеть свою гордость; не стесняемая присутствием мужа, она начала изливать свои жалобы перед племянницей.

— Ах, Эмилия, — восклицала она, — я несчастнейшая из женщин! Как жестоко со мной обошлись! Могла ли я предвидеть подобную участь? Кто мог бы подумать, когда я выходила замуж за такого человека, как синьор, что мне суждено будет оплакивать свою долю? Но как знать, что для нас лучше? Как знать, что нас ожидает в будущем? Самые заманчивые надежды часто рушатся. Могла ли я подозревать, выходя за синьора, что когда-нибудь раскаюсь в своем великодушии...

Эмилия подумала про себя, что и тогда все это можно было предвидеть, но она этого не сказала — в ней не было ни капли злобного торжества. Она села в кресло возле тетki, взяла ее за руку и с кротостью ангела-хранителя заговорила с нею. Но слова ее не успокаивали г-жу Монтони. Она слушала неохотно: ей хотелось говорить самой. Ей нужно было, чтобы ее пожалели, а не утешали; и только когда Эмилия выразила ей свою жалость, она узнала в подробностях несчастья тетki.

— Неблагодарный! — кричала госпожа Монтони, — он обманул меня во всех отношениях; он оторвал меня от родины и друзей; он запер меня в этом ветхом замке

нарочно, чтобы в этой пустыне заставить меня помогать его замыслам! Но он убедится, что ошибся; он увидит, что никакие угрозы не изменят моего решения... Кто бы мог вообразить, что человек такой знатный, по-видимому богатый, не имеет положительно никакого состояния — ни гроша собственного! Я думала, что он человек с весом, человек состоятельный, — иначе я, наверное, не вышла бы за него замуж! Неблагодарный, лукавый человек!

Она остановилась перевести дух.

— Милая тетя, успокойтесь, — вмешалась Эмилия, — синьор, быть может, не так богат, как вы имели причины ожидать; но, наверное, он не беден, раз ему принадлежит и этот замок, и дворец в Венеции... Я не понимаю, что же именно так сильно огорчает вас?

— Что именно? — с сердцем воскликнула г-жа Монтони. — Разве недостаточно того, что он давно уже расстроил свое состояние игрой, что он растратил все, что я принесла ему в приданое, а теперь хочет заставить меня подписать отречение от всего моего состояния (хорошо еще, что я главную часть собственности укрепила за собой) для того, чтоб и это погубить, бросить на выполнение каких-то нелепых планов, которых никто не понимает, кроме него самого. Что по-вашему, всего этого не достаточно?

— Положим, достаточно, — согласилась Эмилия, — но не забудьте, тетя, что всего этого я раньше не знала...

— Разве не достаточно и того, — продолжала тетка, ничего не слушая, — что он сам разорился в пух и прах, что он по уши в долгах и что ни этот замок, ни дворец в Венеции уже не принадлежат ему, за уплатой долгов.

— Я поражена тем, что вы мне рассказываете, тетушка, — проговорила Эмилия.

— А по-вашему мало того, — прервала г-жа Монтони, — что он обращается со мной презрительно, жестоко, потому что я отказалась передать ему свое состояние, и вместо того, чтобы испугаться его угроз, энергично воспротивилась ему и укоряла его за его постыдное поведение? До сих пор я все выносила кротко, племянница, никогда я не вымолвила ни слова жалобы, нет! Мой единственный недостаток заключается в слишком большой доброте, слишком большом великодушии; и за все это я прикована навеки к негодю, низкому, лживому чудовищу!

У нее перехватило дыхание и она принуждена была умолкнуть. Если что-нибудь могло заставить Эмилию улыбнуться в такой момент, то ее рассмешили бы эти гневные речи тетушки, которые она выкрикивала визгливым голосом, сопровождая их резкой жестикуляцией. Эмилия убедилась, что искреннее слово сочувствия не действует на тетку, и, презирая банальные фразы утешения, решила лучше молчать. Между тем г-жа Монтони приняла это молчание за равнодушие, за пренебрежение и принялась упрекать племянницу в недостатке почтительности и чувства.

— Так вот ваша хваленая чувствительность!.. — говорила она. — Уж я знала, что нельзя ожидать от вас уважения и привязанности к родственникам, которые относятся к вам, как к родной дочери.

— Простите, тетушка, — кротко возразила Эмилия, — не в моей натуре хвастаться, а если бы и было, то я не стала бы хвалиться чувствительностью — качеством более опасным, чем желательным...

— Ну, хорошо, хорошо, не стану с вами спорить. Но, как я уже говорила, Монтони угрожает мне насилием, если я дольше буду отказываться подписать отречение от моего имущества: об этом у нас и шел спор, когда вы вошли ко мне сегодня. Но я твердо решила, что не уступлю ни за что на свете. Отныне я не намерена молча терпеть преследования. Он услышит от меня всю правду; я выскажу ему все, чего он заслуживает; я не посмотрю на его угрозы и жестокое обращение.

Эмилия воспользовалась паузой, когда умолк голос госпожи Монтони, чтобы вставить свое слово.

— Милая тетя, ведь это только раздражит синьора без всякой нужды и может побудить его к насилию, которого вы так боитесь.

— А пусть! Мне все равно, — отечала госпожа Монтони, — я не желаю выносить такого обращения. Уж не посоветуете ли вы мне отказаться от моего состояния?

— Нет, тетя, я не то хочу сказать.

— Что же вы хотите сказать в таком случае?

— Вы говорили, что намерены в чем-то укорять синьора?.. — робко промолвила Эмилия.

— Ну, так что же? разве он не заслуживает упреков?

— Конечно, но не будет ли это неосторожно, тетя, упрекать его?

— Неосторожно! Что там толковать об осторожности, когда вам угрожают всякими насилиями.

— Вот именно, чтобы избежать этих насилий и необходима осторожность, тетушка, — заметила Эмилия.

— Осторожность! — кричала г-жа Монтони, не слушая Эмилии, — осторожность по отношению к человеку, который не совестится нарушать все обычные правила гуманности в своем поведении со мною? Разве подобает мне соблюдать благоразумие и осторожность по отношению к нему? Я не так подла.

— Да ведь так нужно действовать для вашей же собственной выгоды, — скромно возразила Эмилия. — Ваши упреки, как бы они ни были справедливы, не могут служить ему наказанием; зато они могут подстрекнуть его к новым насилиям против вас же.

— Как! вы хотите, чтобы я исполняла все, что он прикажет? чтобы я становилась перед ним на колени за его жестокость? чтобы я отдала ему все мое имущество?..

— Как вы ошибаетесь на мой счет, тетя! — сказала Эмилия. — Я не способна давать вам советы по делу такому важному для вас, но вы простите, если я скажу вам, что если вы желаете спокойствия, то должны стараться примирить, успокоить синьора Монтони, а не раздражать его укорами.

— Успокоить! еще что выдумали! Говорят вам, это совершенно невозможно, не хочу даже и пробовать.

Эмилию поразило такое тупое непонимание и слепое упорство г-жи Монтони; но видя, как она мучается, и жалея ее, старалась найти какое-нибудь средство помочь ей.

— Ваше положение, милая тетя, быть может, вовсе не так отчаянно, как вы воображаете. Синьор, вероятно, представляет свои дела в худшем виде, чем они есть на самом деле, нарочно, чтобы склонить вас уступить ему ваше состояние. Кроме того, пока оно находится в ваших руках, это будет служить вам за ручкой, ресурсом в будущем, даже в том случае, если бы поведение синьора заставило вас искать развода.

Госпожа Монтони нетерпеливо прервала ее.

— Бесчувственная, жестокая девушка! она хочет уверить меня, что я не имею поводов жаловаться, что положение синьора цветущее, что моя будущность не сулит мне никаких беспокойств, что мои горести так же вздорны и фантастичны, как и ее собственные! А я-то думала, что раскрываю душу свою человеку, который может сочувствовать мне в моем горе. Видно, эти пресловутые добрые души не умеют сочувствовать никому, кроме самих себя! Можете уходить, оставьте меня!

Эмилия вышла, не говоря ни слова, с чувством не то жалости, не то презрения, и удалилась в свою комнату, где отдалась грустным размышлениям о положении несчастной родственницы. Опять пришел ей на память разговор итальянца с Валанкур, происходивший перед ее отъездом из Франции. Теперь вполне подтверждались его намеки на разорение Монтони; оправдывался и общий отзыв о характере Монтони. Только некоторые отдельные факты, свидетельствующие о его безнравственности, еще нуждались в разъяснении. Собственные наблюдения Эмилии и слова графа Морано убеждали ее, что положение Монтони совсем не таково, как сперва казалось; однако то, что сообщила ей тетка, просто ошеломило ее: она видела, что Монтони живет на широкую ногу, держит толпу слуг и за последнее время входит в огромные расходы, затеяв ремонт и укрепление замка. Чем больше она обо всем этом думала, тем больше ее разбирал страх за тетку и за себя.

Кое-какие слова Морано, которые она слышала от него накануне и приписывала его гневу и желанию мести, теперь опять пришли ей на ум, и она уже готова была верить им. Она не могла сомневаться, что раньше Монтони заключил сделку с графом Морано на ее счет, то есть попросту обещал продать ее графу за известное денежное вознаграждение; теперь же становилось очевидным, что Монтони рассчитывает распорядиться ее судьбой еще более выгодно для себя, отдав ее другому, более богатому жениху.

Бросая обвинения по адресу Монтони, граф Морано между прочим сказал, что он не останется в замке, который Монтони осмеливается называть своим, и не хочет обременять его совести другим убийством. Эти намеки в ту минуту могли быть объяснены разве гневом и запальчивостью; но теперь Эмилия стала придавать этим словам более серьезное значение; она трепетала при мысли, что находится в руках подобного человека. Наконец, сообразив, что размышления не облегчат ее печального положения и не придадут ей сил выносить его с твердостью, она старалась как-нибудь рассеять тоску и вынула из своей маленькой библиотеки томик своего любимого Ариосто. Но его пылкая фантазия и богатый вымысел не надолго могли приковать ее внимание; на этот раз очарование поэзии не тронуло ее сердца.

Она отложила книгу в сторону и взялась за лютню. Редко случалось, что ее страдания не смягчались под влиянием гармонических звуков. Она не могла выносить музыки только тогда, когда ее сердце бывало переполнено нежной тоской и скорбью по утраченным дорогим людям: в таких случаях музыка доводила ее до отчаяния. Так было с ней, когда она оплакивала своего отца и слышала нежные звуки музыки, доносившиеся до ее окна у монастыря в Лангедоке ночью, после смерти отца.

В данном случае музыка принесла ей некоторую отраду. Она продолжала играть до тех пор, пока Аннета не принесла ей обед. Эмилия удивилась и спросила, кто ее послал.

— Мне сама барыня приказывала, — объяснила Аннета, — синьор распорядился, чтобы ей подали обед в ее комнату. Вот она и приказала, чтобы я подала вам кушать сюда. Кажется, между господами что-то произошло неладное, еще хуже прежнего...

Эмилия, сделав вид, что не замечает этих рассуждений, села за накрытый столик. Но Аннета не умела молчать. Прислуживая барышне за столом, она рассказала о прибытии тех людей, что Эмилия видела на террасе и дивилась их странной наружности. Кроме того ее удивляло, что Монтони так радушно принял их у себя.

— Так они обедают вместе с синьором? — осведомилась Эмилия.

— Нет, барышня, они давно отобедали в той зале, что помещается на северном конце замка; не знаю, когда они собираются уезжать, во всяком случае синьор велел старику Карло доставить им все нужное. Они обошли весь замок и все расспрашивали рабочих на укреплениях. Никогда в жизни я не видывала людей такой подозрительной наружности: на них просто смотреть страшно.

Эмилия осведомилась у Аннеты, не слыхала ли она чего про графа Морано и есть ли вероятие на его выздоровление. Но горничная знала только, что графа перенесли в лесную хижину и все говорят, будто он непременно умрет.

На лице Эмилии отразилось огорчение.

— Ах, — сказала Аннета, — погляжу я, как молодые барышни умеют притворяться, когда влюблены! Ведь я думала, что вы терпеть не можете графа, иначе я ничего не сказала бы вам, да и в самом деле вам есть за что ненавидеть его.

— Прежде всего, я никого не ненавижу, — отвечала Эмилия, стараясь улыбнуться, — конечно, я не люблю графа Морано, но всякое насилие возмущает меня.

— Положим, барышня, он сам виноват.

Эмилия сделала недовольное лицо, и Аннета, истолковывая по-своему причины ее неудовольствия, принялась по-своему оправдывать графа.

— Что и говорить, это был очень неделикатный поступок — вторгнуться в комнату к даме и, увидав, что его присутствие ей неприятно, отказываться уйти; а потом, когда явился хозяин замка и чеством просил его удалиться, он выхватил шпагу с клятвами и угрозами! Разумеется, такое поведение было крайне дерзко. Но ведь граф обезумел от страсти и не

сознавал, что делает.

— Ну, довольно об этом. — остановила ее Эмилия, улыбаясь на этот раз без принуждения, и Аннета вернулась к прежней теме — раздору между Монтони и его женой.

— Тут нет ничего нового, — говорила она, — то же самое мы не раз уже видели и слышали в Венеции, хотя я ни слова не говорила вам об этом, барышня.

— И отлично делала, Аннета; будь и теперь такой же сдержанной: это предмет для меня неприятный.

— Ах, барышня милая! Какая же вы скромница! Как деликатничаете с людьми, которые так мало ценят вас! Не могу я выносить, чтобы вас обманывали; я должна сказать вам... для вашей же пользы, а вовсе не для того, чтобы досадить барыне, хотя, по правде сказать, не очень-то она и стоит того, чтобы ее любили...

— Не смей говорить дурно про тетю, Аннета!.. — строго остановила ее Эмилия.

— Уж извините, барышня, я именно про нее и хочу сказать... Если б вы знали то, что я знаю, вы бы и не имели духу рассердиться на меня. Я много, много раз слышала, как синьор говорил про вашу свадьбу с графом, а барыня всегда советовала ему не потакать вашим глупым капризам, как ей угодно было выражаться, а действовать решительно и заставить вас повиноваться. Слушая все это, у меня сердце болело за вас; ну, думаю себе, если она сама несчастная, ей бы следовало хоть немножко пожалеть других людей и...

— Спасибо тебе за твою жалость, Аннета, — прервала ее Эмилия, — но тетя была расстроена в эту минуту, и я думаю... я уверена... Можешь убрать со стола, Аннета, я кончила обедать.

— Барышня, да вы как есть ни к чему не притронулись! Постарайтесь хоть что-нибудь скушать... Расстроена!.., сдается мне, у нее всегда голова не в порядке. А в Тулузе я слышала, что барыня говорила про вас и про месье Валанкура с мадам Марвель и мадам Везон, очень дурно говорила, — будто ей было так много хлопот с вами, и она думала, что вы сбежите с месье Валанкуром, если за вами не смотреть в оба, и что будто вы сговорились с ним, чтобы он приходил в дом ночью и...

— Боже милостивый! — воскликнула Эмилия, вся вспыхнув, — возможное ли дело, чтобы тетушка изображала меня в таком свете.

— Право же так, барышня, я говорю сущую правду, да и то не всю. Я сама думала, что ей как-то неловко сплетничать про родную племянницу, даже если б вы и в самом деле были виноваты! но я никогда не верила ни единому слову! Барыня всегда так зря говорит!

— Как бы там ни было, Аннета, — перебила ее Эмилия, оправившись от смущения, — но тебе не подобает говорить мне дурное про тетю. Я знаю, намерение у тебя было хорошее, но лучше замолчи. Я кончила обед.

Аннета покраснела, потупилась и стала медленно убирать со стола.

«Так вот награда за мое простодушие! — подумала про себя Эмилия, оставшись одна, — вот как относится ко мне родственница, родная тетка, тогда как ей бы следовало охранять мою репутацию, а не клеветать на меня, и, как женщине, следовало бы щадить женскую честь, вместо того чтобы порочить ее! Но чтобы выдумывать клеветы о таком деликатном предмете, чтобы оплачивать клеветой за мое чистосердечие и, смею сказать с гордостью, за честность моего поведения, — на это нужна испорченность сердца, какую я даже не считала возможной ни в ком, а тем менее в моей родственнице! Ах, какая разница между нею и моим дорогим покойным отцом! У нее на первом плане — низкая хитрость и зависть, а у него была — сердечная доброта и философская мудрость! Но при всем том мне не следует забывать, что она несчастна».

Эмилия накинула на голову легкую вуаль и сошла вниз на террасу — единственное место прогулки, доступное ей, хотя у нее часто являлось желание побродить в лесу, раскинувшемся внизу и вокруг замка. Но так как Монтони не разрешал ей выходить за ворота, то она старалась удовольствоваться прелестными видами, открывавшимися перед нею со стен. Крестьяне, трудившиеся над починкой укреплений, к вечеру оставили работу; кругом было тихо и пустынно. Безлюдье и сумрак нависших туч гармонировали с ее

мыслями и придавали им оттенок тихой меланхолии. Эмилия с наслаждением наблюдала прекрасный эффект освещения: солнце, вынырнув из-за тяжелой тучи, озаряло западные башни замка, оставляя остальные части здания в глубокой тени; только сквозь высокую готическую арку, примыкающую к башне, лучи солнца прорывались ярким снопом и освещали фигуры тех самых трех незнакомцев, которых она заметила еще поутру. Увидав их снова, она вздрогнула; ее охватил внезапный страх. Окинув взором длинную террасу, она убедилась, что там больше никого нет. Пока она стояла в раздумье, люди приблизились. Калитка в конце террасы, куда они направлялись, насколько было ей известно, была заперта и она не могла уйти с другого конца, не встретившись с ними; но, прежде чем пройти мимо них, она торопливо накинула на лицо тонкую вуаль, которая, однако, плохо скрывала ее красоту. Люди пристально оглядели ее, заговорили между собою на испорченном итальянском диалекте, причем она могла уловить несколько слов; теперь вблизи свирепое выражение их лиц и странность костюма произвели на нее еще большее впечатление, чем утром. В особенности поразил ее тот, что шел посередине между двумя товарищами; на лице его была написана такая наглость и такое черное злодейство, что у Эмилии сердце содрогнулось от ужаса. Преступность ясно читалась в его чертах, и потому что она быстро прошла мимо группы, ее робкий взор успел только скользнуть по этим людям. Дойдя до террасы, она остановилась и увидела, что незнакомцы стояли в тени одной из башенок, глядели ей вслед и, по-видимому, о чем-то горячо совещались между собою. Эмилия тотчас же ушла с парапета и удалилась в свою комнату.

В этот вечер Монтони засиделся поздно, бражничая с гостями в кедровой зале. Его недавнее торжество над Морано или, может быть, какие-нибудь другие обстоятельства способствовали необыкновенно веселому настроению духа. Он часто наполнял кубок, болтал и смеялся. У Кавиньи, напротив, веселость была несколько омрачена беспокойством. Он зорко наблюдал своего приятеля Верецци, которого с великим трудом до сих пор сдерживал от того, чтобы тот еще более не раздражил Монтони против Морано, передав ему его оскорбительные отзывы о нем.

Кто-то из общества завел речь о происшествии прошлой ночи. У Верецци засверкали глаза. Раз упомянули имя Морано, заговорили об Эмилии; все в один голос расхваливали ее, кроме Монтони; тот сначала сидел молча, затем перевел разговор на другую тему.

Когда слуги удалились, между Монтони и его друзьями завязалась интимная беседа, иногда прерываемая сердитыми возгласами Верецци; Монтони проявлял сознательное превосходство, подчеркивая свои речи властными взглядами и жестами, которым большинство его товарищей невольно подчинялись, как признанной власти, хотя между собой они завидовали своему принципалу и ненавидели его. Среди беседы опять кто-то из них неосторожно произнес имя Морано, и Верецци, несколько разгоряченный вином, не обращая внимания на выразительные взгляды Кавиньи, пустил несколько смутных намеков, относящихся к событиям прошлой ночи. Монтони сделал вид, что не понимает их; он сидел насупившись, не обнаруживая никакого волнения; между тем раздражение Верецци росло пропорционально равнодушию Монтони; наконец он не выдержал и повторил все, что говорил ему Морано: «что по закону замок не принадлежит Монтони и что он, Морано, не хочет вовлекать своего врага в новое убийство».

— Какая дерзость — оскорблять меня за моим же столом, — произнес Монтони, бледнея от гнева. — К чему повторять мне слова этого безумца?

Верецци, ожидавший, что Монтони разразится негодованием против Морано, а его поблагодарит за донос, с удивлением взглянул на Кавиньи, который наслаждался его смущением.

— Можно ли быть настолько слабым, чтобы верить словам этого сумасшедшего? — продолжал Монтони, — или, что то же самое — человека, одержимого духом мести? А ему-таки удалось достигнуть цели — вы поверили его инсинуациям!

— Синьор, — возразил Верецци, — мы верим только тому, что сами знаем.

— Как! — прервал его Монтони сурово, — где же ваши доказательства?

— Мы верим только тому, что знаем, — повторил Верецци, — а мы не знаем того, что утверждает Морано.

Монтони, по-видимому, несколько оправился.

— Я горяч, друзья мои, во всем, что коснется моей чести; ни один человек не посмеет задеть ее безнаказанно; а эти глупые слова не стоят того, чтобы их помнить или мстить за них. Верецци, пью за ваш первый подвиг!

— Пьем за ваш первый подвиг! — эхом отозвалась вся компания.

— Благородный синьор, — отвечал Верецци, радуясь тому, что избежал гнева Монтони, — желаю вам выстроить укрепления из чистого золота!

— Передайте кубок вкруговую! — крикнул Монтони.

— Выпьем за синьору Сент Обер, — предложил Кавиньи.

— Если позволите, сперва выпьем за хозяйку этого замка, — вмешался Бертолини.

Монтони молчал.

— доровье хозяйки этого замка! — подхватили все гости. Монтони нагнул голову.

— Меня удивляет, синьор, — заметил Бертолини, — что вы так долго пренебрегали этим замком. Какое это величественное здание!

— Оно прекрасно соответствует нашим целям, — подтвердил Монтони. — Это действительно величественное здание. Вы, кажется, не знаете, благодаря какому несчастному случаю оно досталось мне?

— Случай был счастливый, что бы вы ни говорили, синьор, — улыбнулся Бертолини, — хотелось бы мне испытать такое же счастье!

Монтони устремил на него глубокий взор.

— Если хотите выслушать, я расскажу вам эту историю.

На лицах Бертолини и Верецци было написано нечто более чем простое любопытство; Кавиньи оставался бесстрастен; вероятно, он слышал рассказ и раньше.

— Прошло уже лет двадцать, — начал Монтони, — с тех пор, как этот замок перешел в мое владение. Я наследовал его по женской линии. Моей предшественницей была дальняя родственница; я последний потомок рода. Она была прекрасна собой и богата. Я сватался к ней; но ее сердце принадлежало другому, и она отвергла меня. Весьма вероятно, однако, что ее самое бросил избранник ее сердца: она впала в глубокую, безнадежную меланхолию, и я имею основание думать, что она сама покончила свою скорбную жизнь. Меня не было в замке в ту пору; но так как это событие сопровождалось странными, таинственными обстоятельствами, то я вам расскажу их.

— Расскажите! — послышался вдруг чей-то глухой голос. Монтони молчал; гости переглядывались, недоумевая, кто из них заговорил. Но оказалось, что никто не открывал рта.

— Нас подслушивают, — сказал Монтони, наконец оправившись от смущения, — мы кончим этот разговор когда-нибудь в другой раз. Передавайте кубок.

Синьоры оглядели обширную залу.

— Здесь никого нет, кроме нашей компании, — заметил Верецци, — прошу вас, синьор, продолжайте.

— Слыхали вы что-нибудь? — спросил Монтони.

— Слыхали... — отвечал Бертолини.

— Вероятно, это нам померещилось, — сказал Верецци, опять озираясь. — Мы никого не видим постороннего, и голос, как мне казалось, исходил откуда-то снаружи. Пожалуйста, синьор, рассказывайте дальше.

Монтони помешкал немного, затем продолжал пониженным тоном, между тем как кавалеры пододвинулись ближе, приготовившись слушать.

— Было бы вам известно, господа, что у синьоры Лаурентини замечались несколько месяцев перед тем симптомы душевной болезни, или, вернее, расстроенного воображения. Настроение ее было очень неровное: то она была погружена в тихую меланхолию, а иной раз, как мне говорили, она проявляла все признаки буйного помешательства. Однажды

вечером — это было в октябре месяце — очнувшись после одного из таких припадков и впад в обычную меланхолию, она удалилась к себе в комнату и запретила, чтобы ее беспокоили. То была комната в конце коридора, синьоры, где вчера происходила стычка. С этих пор синьору больше не видали...

— Как! не видали? — воскликнул с изумлением Бертолини. — Разве же ее тела не оказалось в спальне?

— Неужели ее останки никогда и не были найдены? — воскликнули все зараз.

— Никогда! — ответил Монтони.

— Какие же были основания предполагать, что она лишила себя жизни? — полюбопытствовал Бертолини.

— Ну да, какие основания? Как могло случиться, что ее останки так и не отыскились? Положим, она убила себя, но похоронить самое себя она не могла...

Монтони с негодованием взглянул на Верецци, и тот начал извиняться.

— Прошу прощения, синьор, я не сообразил, что эта синьора ваша родственница, а то бы не отзывался о ней так легкомысленно.

Монтони успокоился.

— Но надеюсь, синьор, вы откроете нам, почему вы предполагаете, что синьора сама покончила с собой?

— Я все объясню вам потом, — проговорил Монтони, — а теперь позвольте мне упомянуть одно весьма странное обстоятельство. Надеюсь, наш разговор останется между нами, синьоры. Слушайте же, что я вам расскажу...

— Слушайте! — опять раздался откуда-то таинственный голос.

Все присутствующие молчали; Монтони переменился в лице.

— Это уже не обман чувств, — заметил Кавиньи, наконец нарушив глубокое безмолвие.

— Нет, — согласился с ним Бертолини, — теперь я сам отчетливо слышал. В комнате никого нет, кроме нас?

— Странная вещь! — произнес Монтони, вскакивая. — Этого нельзя допустить, это какое-то издевательство, какой-то фокус... я узнаю, что это значит!..

Вся компания вскочила с мест в смятении.

— Удивительно! — воскликнул Бертолини. — Никого постороннего нет в комнате. Если это чья-нибудь шутка, синьор, то вы должны строго наказать шутника.

— Конечно шутка, а то что же иное! — решил Кавиньи, притворно улыбаясь.

Призвали всех слуг, обшарили всю комнату, но никого не нашли. Удивление и смятение усилилось. Монтони казался взволнованным.

— Уйдем отсюда, — предложил он, — и оставим наш разговор; он чересчур мрачен.

Гости рады были разойтись отсюда; но предмет разговора возбудил их любопытство; они просили Монтони удалиться с ними в другую комнату и там довести рассказ до конца, но он не уступал никаким просьбам. Несмотря на его старания казаться спокойным, он был, видимо, расстроен.

— Полноте, синьор, ведь вы, кажется, не суеверны, — подсмеивался Верецци, — помните, как часто вы сами бывало трунили над трусостью других?

— Я не суеверен, — отвечал Монтони, бросив на него суровый, недовольный взгляд, — хотя с другой стороны презираю те общие места, которыми обыкновенно клеймят суеверие. Я разьясню это дело непременно.

С этими словами он вышел, а его гости, распроставшись, разошлись по своим спальням.

ГЛАВА XXI

Румянец юности играет на его щеках.
Шекспир

Вернемся теперь к Валанкуру, который, если вам помнится, оставался в Тулузе некоторое время после отъезда Эмили, в тоске и печали. Каждое утро он принимал решение уехать; но дни шли за днями, а он все не мог расстаться с местами, где еще недавно был так счастлив, не мог оторваться от знакомых предметов, напоминавших Эмилию и в его глазах служивших как бы залогом ее верности. После горя разлуки с нею самым большим огорчением для него было покинуть места, которые так живо воскрешали ее образ. Иногда он подкупал слугу, оставленного сторожить замок г-жи Монтони, и тот разрешал ему входить в сад. Там он бродил по часам, погруженный в меланхолию, не лишенную прелести. Более всего он любил посещать террасу и павильон, где он прощался с Эмилией накануне ее отъезда из Тулузы. Там, прохаживаясь тихими шагами или облокотясь на окно павильона, он старался припомнить все, что она говорила в тот вечер, уловить звук ее голоса, смутно звучавший в его памяти; представить себе в точности выражение ее лица, по временам мелькавшего перед ним, как видение, — этого прекрасного лица, которое пробуждало как по волшебству всю страсть его сердца и говорило с непреодолимым красноречием, что он лишился ее навеки! В такие минуты по его взволнованным шагам можно было судить о глубине его отчаяния.

Перед ним рисовался злобный, лукавый Монтони, и он ясно сознавал все опасности, угрожавшие Эмили и их любви. Он винил себя за то, что не удерживал ее энергичнее, когда еще это было в его власти, и что с нелепой, преступной щепетильностью, как он выражался, не отстоял своих разумных доводов против ее отъезда. Все зло, какое могло произойти от их брака, было настолько ничтожно в сравнении с тем, что угрожало теперь их любви, или со страданиями разлуки, — что он удивлялся, как он мог тогда не настоять на своем и не убедить ее в необходимости обвенчаться; он непременно поехал бы теперь за нею в Италию, если б только мог получить отпуск из своего полка на такое продолжительное путешествие. Действительно, служба его в полку скоро напомнила ему, что у него есть другие обязанности и заботы, кроме любовных.

В скором времени по приезде его в дом брата он получил приказ примкнуть к товарищам офицерам и сопровождать батальон в Париж; там перед ним открылся мир, полный новизны и развлечений, о каком он имел прежде лишь смутное понятие. Но веселье было ему противно, а общество утомляло его больную душу; он стал мишенью постоянных насмешек со стороны своих товарищей; при всяком удобном случае он удалялся от них, чтобы предаваться мечтам об Эмили. Но окружающая обстановка и общество, в которое он попал, возбуждали его любопытство, хотя не веселили его воображения и таким образом постепенно отучали его от привычки грустить. В числе его товарищей офицеров было много таких, которые кроме природной французской веселости обладали и другими чарующими качествами, которые слишком часто маскируют распутство и порою даже смягчают порок. Для подобных людей молчаливый, сдержанный нрав Валанкура являлся как бы безмолвным осуждением, за что они трунили над ним в глаза, а в его отсутствие строили против него козни. Они втайне питали мечту низвести его до своего уровня и, считая эту затею остроумной, решили осуществить ее.

Валанкуру не был известен ход этой интриги, иначе он мог бы держаться настороже. Он не привык, чтобы над ним потешались, и не мог выносить жала насмешки; невольно он показал, что она уязвляет его, а это только еще более подстрекнуло насмешников. Чтобы избежать таких сцен, Валанкур искал уединения, и там его встречал образ Эмили, растравляя муки любви и тоски. Пробовал он и возобновить занятия, которые когда-то составляли отраду его юности; но ум его утратил спокойствие, необходимое для того, чтобы наслаждаться любимыми трудами. Желая забыться, уйти от горя и тоски, навеянной мыслью об Эмили, он опять покидал уединение и замешивался в толпу, радуясь хотя бы временному облегчению и возможности повеселиться хоть одну минуту.

Так проходили неделя за неделей; время мало-помалу притупляло его горе, желание развлечься и новая обстановка постепенно втягивали его; наружность и изящные манеры

молодого человека делали его желанным гостем всюду, где бы он ни появлялся, и скоро он стал посещать самые веселые и изящные салоны Парижа. В числе их был кружок графини Лаклер, женщины выдающейся красоты и обаятельных манер. Она была уже не первой молодости, но благодаря своему остроумию надолго сохранила господство в обществе; ее красота и ум одинаково способствовали ее славе. Поклонники ее наружности отзывались с восторгом о ее дарованиях; а те, которые восхищались ее остроумием, утверждали, что ее красота несравненна. Но игривый ум ее был не глубок, а разговор ее — более блестящ, чем содержателен; он ослеплял, и сразу нельзя было заметить в нем фальши; тон ее разговора, ее обаятельная улыбка очаровывали собеседника и парализовали его суждение. Ее интимные ужины были самыми модными во всем Париже; на них бывали многие из второстепенных представителей литературы. Графиня увлекалась музыкой, сама была талантливой музыканткой и часто устраивала у себя концерты. Валанкур, страстно любивший музыку и присутствовавший иногда на ее концертах, восхищался ее исполнением, но притом со вздохом вспоминал задушевную простоту пения Эмилии, трогавшего сердце.

В салоне у графини часто велась крупная игра, которую она с виду как будто осуждала, но в сущности втайне поощряла; ее друзья прекрасно знали, что роскошь ее обстановки главным образом поддерживалась доходами с игорных столов. Но ее маленькие ужины были очаровательны! Ее вечера были средоточием всех утонченностей: там царили остроумие, изящный тон, блестящий разговор, улыбки красоты, очарование музыки, и Валанкур проводил там самые приятные, но и самые опасные часы.

Брат его, остававшийся со своим семейством в Гаскони, ограничился тем, что дал ему рекомендательные письма к тем из его парижских родственникам, с которыми он еще не был знаком. Все это были люди высшего света, а так как младший Валанкур ни по своей внешности, ни по манерам не мог дать им повода стыдиться такого родственника, то они приняли его ласково и радушно, насколько могли быть ласковы люди, очерстевшие в богатстве и непрерывном благополучии; но в их отношениях не было настоящей сердечности. Они были слишком поглощены своими собственными выгодами, чтобы входить в интересы молодого человека. Таким образом он очутился среди Парижа в цвете молодости, одаренный доверчивым характером и пылкими чувствами, не имея ни одного друга, который мог бы предостеречь его против окружающих опасностей. Будь Эмилия тут, она спасла бы его от этих зол, действуя на его сердце и направляя его к достойным целям, — но теперь она только усиливала его опасность: сначала он искал развлечений именно для того, чтобы уйти от горя разлуки с нею; с этой целью он вел рассеянную жизнь до тех пор, пока привычка не сроднила его с этими развлечениями.

Была еще в Париже одна молодая вдова, маркиза Шамфор, в обществе которой Валанкур часто проводил время. Она слыла красавицей, большой кокеткой и охотницей завлекать. Общество, собиравшееся вокруг нее, было менее элегантно и еще более порочно, чем кружок графини Лаклер; но так как она была настолько ловка, что искусно маскировала все предосудительное в своей жизни, то ее продолжали посещать много людей из так называемой знати.

Валанкура ввели и в то и в другое общество двое товарищей офицеров, недавние подтрунивания которых он уже простил им и даже сам иногда вторил их смеху, при одном воспоминании о своем прежнем скромном образе жизни.

Веселая жизнь при самом пышном дворе Европы, великолепие дворцов, пиршеств и экипажей — все это дурманило его воображение и действовало возбуждающе на его чувства, а пример и правила его товарищей увлекали его за собой. В душе его, правда, все еще жил образ Эмилии; но он уже не был друг, утешитель, спасавший его от него самого, и к которому он прибегал, чтобы плакать грустными, но сладкими слезами любви. Теперь этот образ являлся к нему с кротким упреком, раздирал его сердце и вызывал слезы отчаяния. Единственным средством избавиться от этих укоров было забыть о нем, и Валанкур старался как можно реже думать об Эмилии.

Вот в какой опасной обстановке очутился Валанкур в то время, как Эмилия страдала в

Венеции от назойливых ухаживаний графа Морано и от деспотизма Монтони; в этом периоде мы и расстанемся с ним.

ГЛАВА XXII

*В глазах его сказался тяжкий грех.
Весь вид его, отчаянный и мрачный,
Душевную тревогу выдает...*
Король Джон

Расставшись с веселой парижской жизнью, мы вернемся в мрачную обстановку угрюмых Апеннин, где мысли Эмилии по-прежнему оставались верны Валанкуру. В нем она видела свою единственную надежду и с ревнивой пытливостью припоминала его клятвы и другие доказательства страстной любви; она читала и перечитывала полученные от него письма, с тоскою взвешивала каждое слово, говорившее о его привязанности, и, веря в его чувство, осушала свои слезы.

Между тем, Монтони старался расследовать странный случай, так сильно взволновавший его, но ему ничего не удавалось узнать. В конце концов он принужден был довольствоваться правдоподобным предположением, что это была злая шутка, сыгранная с господами кем-нибудь из слуг. Размолвки его с г-жой Монтони по поводу ее капитала повторялись еще чаще прежнего; он даже подверг жену аресту в ее комнате и угрожал принять еще более строгие меры, если она будет настаивать на своем дерзком сопротивлении.

Если б она послушалась голоса рассудка, он подсказал бы ей, что опасно раздражать дальнейшим упорством такого человека, как Монтони, раз она находится всецело в его власти. Но дело в том, что ею руководил не рассудок, а прежде всего сумасбродство и дух мести, заставлявший ее отвечать насилием на насилие, упорством на упорство.

Находясь в одиночном заключении в своей комнате, она теперь мечтала об обществе тех, кого раньше отталкивала от себя. Кроме Аннеты, Эмилия была единственным лицом, с кем ей позволено было разговаривать.

Великодушно заботясь о спокойствии тетки, Эмилия пробовала убеждать ее и всякими средствами старалась внушить ей, чтобы она избегала резких речей, раздражавших Монтони. Высокомерие тетки иногда смягчалось под влиянием кротких увещаний Эмилии, и были даже минуты, когда она благосклонно относилась к ее заботливой внимательности.

Сцены страшных ссор, при которых Эмилия часто принуждена была присутствовать, угнетали ее более, чем все другое, случившееся с нею со времени ее отъезда из Тулузы. Кротость и доброта ее родителей, родной дом, где протекло ее счастливое детство, часто приходили ей на память, как видения из какого-то лучшего мира, а теперь все эти люди, эти события, разыгрывающиеся у нее на глазах, возбуждали в ней один ужас, одно удивление... Она с трудом могла себе представить, чтобы такие сильные, необузданные страсти, как те, что бушевали в душе Монтони, могли уместиться в одном человеке; еще более удивляло ее то, что в важных случаях он умел подавлять эти страсти при всей их необузданности и приспособлять их к своим собственным интересам, вообще умел искусно маскировать свою натуру. Но Эмилию ему не удавалось ввести в заблуждение; она слишком часто видела его при таких обстоятельствах, когда он не считал нужным скрываться перед нею.

Ее теперешняя жизнь представлялась ей каким-то болезненным сном расстроенного воображения, или одной из тех диких фантазий, какие иногда рождаются в уме поэтов. Чем больше она размышляла, тем больше пробуждалось в душе ее сожалений о прошлом, а впереди рисовались ужасные картины. Иногда она мечтала превратиться в ласточку и на крылах быстрого ветра унести в далекий Лангедок!

О здоровье графа Морано она осведомлялась часто; но Аннета ничего не знала, кроме смутных слухов о его опасном состоянии и о том, будто его врач сказал, что его пациент не

выйдет из хижины живым; Эмилия с сокрушением думала при этом, что хотя невольно, но все же она и никто другой будет виновницей его смерти. От Аннеты не ускользнуло ее волнение, и она объяснила его по-своему.

Но скоро случилось одно происшествие, которое совершенно отвлекло внимание Аннеты от этого предмета и возбудило в ней свойственное ей любопытство. Однажды она явилась в комнату Эмилии с каким-то особенно торжественным лицом.

— Как вы думаете, что все это значит, барышня? — начала она. — Ох, кабы поскорее вырваться отсюда и вернуться живой и невредимой в Лангедок; больше я ни за что на свете не соблажусь путешествовать!.. И дернуло меня ехать за границу, чтобы насмотреться всяких ужасов!.. Думала ли я, что меня запрут, как в клетку, в этом ветхом замке, среди мрачных гор, а в конце концов еще горло перережут!

— В самом деле, объясни, о чем ты мне толкуешь, Аннета? — отозвалась Эмилия.

— Вы удивляетесь, барышня? Еще бы! Да ведь вы не захотите верить, пока вас самих не зарежут! Вы же не верили, когда я говорила о привидении? А ведь я показала вам то самое место, где оно являлось. Ничему-то вы не хотите верить, барышня!

— И не могу верить, пока ты не выскажешься по-человечески, Аннета! Бога ради, объясни мне, о чем ты говоришь? О каком убийстве?

— Нас, может быть, всех перережут, барышня. Да что толку объяснять — все равно вы не поверите.

Эмилия опять повторила просьбу, чтобы она рассказала все, что она видела и слышала.

— Ох, и насмотрелась же я, барышня, да и наслушалась!.. Спросите Людовико. Бедный малый! его тоже зарежут. Ну, кто бы это подумал, когда он бывало распевал песенки под моим окном в Венеции!

На лице Эмилии отразилось нетерпение и неудовольствие.

— Ну, так вот, барышня, я и говорю Людовико: все эти приготовления вокруг замка и те страшные люди, что шляются сюда каждый Божий день, и жестокое обхождение синьора с моей барыней, и все его странные выходки — все это ничего хорошего не предвещает. А Людовико велел мне помалкивать. Я и говорю: синьор страшно изменился против прежнего в этом мрачном замке; бывало, во Франции он такой веселый был! ухаживал за барыней, а иной раз не побрезгует бывало улыбнуться и мне, бедной служанке, и пошутить со мной. Раз, помню, выхожу я из барыниной уборной, а он и говорит: «Аннета», — говорит...

— Все равно, что говорил синьор, — прервала ее Эмилия, — ты лучше Расскажи-ка мне, что так встревожило тебя сегодня?

— Ах, барышня, вот как раз то же самое сказал мне и Людовико: «Ты, — говорит, — брось о том, что говорит тебе синьор...». Вот я и сказала ему, что я думаю про синьора. Он так страшно изменился, говорю я, — такой стал надменный, строгий и такой сердитый с барыней. И когда попадешься ему на глаза, он и глядеть не хочет, а все хмурится. «Тем лучше», — говорит Людовико, — «тем лучше». Сказать вам по правде, барышня, по-моему, со стороны Людовико дурно так говорить; но я все-таки продолжала разговор. И потом, говорю я, он все хмурит брови так сердито, а коли обратишься к нему, он и не слышит; а по ночам сидит и совещается с приятелями, — далеко за полночь все сидят и рассуждают! — Но ты не знаешь, говорит Людовико, о чем они рассуждают промеж себя? «Знать не знаю, — отвечаю я, — только догадываюсь, — верно, все про мою барышню». А он как фыркнет со смеху — я и обиделась: не нравится мне, чтобы нас с вами подымали на смех! Я отвернулась и хотела уйти, но он остановил меня. «Не обижайся, — говорит, — Аннета, но я, право, не мог удержаться от смеха», — и он опять захохотал. — «Как! неужто ты воображаешь, что синьоры просиживают целые ночи и судят-рядят про дела твоей барышни? Нет, нет, тут другим пахнет. Этот ремонт замка, возведение укреплений — все это небось для молодых барышень делается?». Ну, так, значит, возразила я, наверное, синьор готовится вести войну? «Войну! — воскликнул Людовико, — в горах да в лесу? Здесь нет ни души, с кем воевать-то?» «С какой же стати все эти приготовления, — спросила я, — ведь никто же не собирается отнять замок у моего господина?» — «Каждый Божий день сюда шляется столько всякого

подозрительного люда, — проговорил Людовико, не отвечая на мои слова, и всех-то синьор принимает, со всеми разговаривает и все остаются жить по соседству. Клянусь св.Марком! между ними есть форменные головорезы!» Я опять спросила Людовико, не думает ли он, что кто-то намеревается отнять замок у синьора? А он отвечал, что не думает, однако поручиться не может. «Вчера, — говорит (только вы, барышня, никому не рассказывайте), — вчера явилась сюда целая шайка этих молодцов; лошадей они поставили в конюшни замка, где они, вероятно, и останутся, потому что синьор приказал задать им лучшего корма, а люди почти все разместились по соседству в хижинах». Ну и вот я пришла передать вам все это, барышня. В жизнь свою не видывала я ничего подобного! И зачем сюда забираться этим подозрительным людям, как не для того, чтобы всех нас укокошить? А синьору это известно, иначе зачем бы он был с ними так радушен? Зачем ему укреплять замок? и с какой стати целые ночи совещаться с другими синьорами и ходить постоянно задумавшись?

— Это все, что ты имеешь сказать, Аннета? — перебила ее Эмилия. — Больше тебя ничего не тревожит?

— Да ничего, барышня, — отвечала Аннета, — а разве вам и этого мало?

— Совершенно достаточно, чтобы вывести меня из терпения, Аннета. Из твоих слов я никак не могу понять, почему мы все будем зарезаны, хотя признаюсь, тут происходит много странного.

Она не стала высказывать своих опасений, не желая еще больше запугивать Аннету. Но порядки, установившиеся за последние дни в замке, удивляли и тревожили ее. Аннета, рассказав свою историю, убежала за новыми вестями.

Вечером Эмилия провела несколько часов с г-жой Монтони и уже собралась ложиться спать, как вдруг услышала странный, громкий стук в дверь своей комнаты и затем падение какой-то тяжелой массы, которая чуть не вышибла двери. Она спросила: кто там? но ответа не получила; крикнула вторично — последовало мертвое молчание. Ей представилось — в эту минуту она была не в состоянии сообразить, — что кто-то из новоприбывших подозрительных людей ломится к ней, чтобы ограбить, а может быть, и лишить жизни. При такой мысли ужас помутил ее рассудок; инстинктивно ей вспомнилось ее одиночество вдали от остальных членов семьи, и со страху она чуть не лишилась чувств. Она глядела на дверь, ведущую на лестницу, ожидая, что вот-вот она распахнется и, прислушиваясь в боязливом молчании, не повторится ли шум, одну минуту она подумала, что стук произошел именно за этой дверью, и ее неудержимо повлекло бежать в противоположную дверь. Она подошла к дверям, ведущим в коридор, и остановилась, боясь отворить их: ну что, если кто-нибудь притаился позади и поджидает ее? Но при этом глаза ее были пристально устремлены на другую дверь, ведущую на лестницу. В эту минуту она услышала близехонько слабое дыхание: несомненно, кто-то стоял по ту сторону запертой двери...

Пока она колебалась и прислушивалась, дыхание стало явственным и тревога ее усилилась; когда она оглядела свою обширную, безлюдную комнату, ее опять охватило чувство жуткого одиночества. Долго стояла она в нерешимости — не позвать ли на помощь... Между тем, стало совершенно тихо и только по-прежнему слышалось слабое дыхание, убеждавшее ее, что какое-то живое существо не покинуло своего поста за дверью.

Наконец, в страшном беспокойстве, Эмилия решила громко позвать на помощь из окна и уже направилась туда, как вдруг — было ли это одно воображение или в самом деле реальные звуки — ей почудились чьи-то шаги, подымающиеся по потайной лестнице; ожидая, что сейчас откроется эта дверь, она позабыла о другой причине тревоги и бросилась к коридору. Оттуда она пыталась бежать, но, отворив дверь, споткнулась о какое-то тело, распростертое на полу. Она вскрикнула и отскочила, но ее дрожащие ноги отказывались служить ей; она прислонилась к стенке коридора и только тогда могла рассмотреть распростертую фигуру и узнать черты Аннеты. Страх мгновенно сменился изумлением. Тщетно заговаривала она с бедной девушкой, та продолжала лежать на полу без чувств; тогда Эмилия, забыв о своей собственной слабости, стала оказывать ей помощь.

Когда Аннета пришла в сознание, Эмилия ввела ее в спальню, но та все еще не могла

говорить и озиралась, точно ища кого-то глазами. Эмилия пробовала успокоить ее волнение и пока воздерживалась от всяких расспросов. Но долго молчать не было в натуре Аннеты: она в отрывистых фразах, со своей обычной бестолковой манерой, рассказала о причине своего испуга. Она утверждала положительно и убежденно, так что почти поколебала недоверчивость Эмилии, будто встретила привидение, идя по коридору.

— Слыхала я и раньше много рассказней про ту таинственную комнату, но так как она возле вашей, то я и не передавала вам всего, чтобы вы не испугались, барышня. Слуги не раз говорили мне, что там водятся духи и что по этой причине комната заперта, мало того, заперта вся анфилада этих покоев. Проходя мимо, я всегда дрожала, как лист, и признаться сказать, иногда я слышала какой-то странный шум внутри. Но вот сейчас, иду я по коридору, ни о чем таком не думаю, позабыв про тот странный голос, что синьоры слышали вчера вечером, вдруг вижу — блеснул яркий свет: какая-то высокая фигура (я видела ее совершенно ясно, вот как вас теперь, барышня) — скользит мимо и прямо шаст! в ту таинственную комнату, что всегда бывает заперта и ключ от которой у синьора; вот проскользнуло туда привидение и дверь тотчас же захлопнулась.

— Так это, наверное, и был сам синьор, — сказала Эмилия.

— О нет, барышня, ни в каком случае! Я оставила его в уборной: он там спорил и ссорился с барыней.

— Странные вещи ты рассказываешь, Аннета; не далее как сегодня утром ты пугала меня убийствами, а теперь стараешься убедить, что видела призрак! у тебя все это чередуется слишком уж быстро.

Ну, хорошо, я больше ничего не стану говорить вам, барышня; но ведь если б я сама не перепугалась насмерть, я не упала бы в обморок. Я бежала сломя голову, чтобы добраться до ваших дверей, и у меня перехватило голос — я не могла кричать; почувствовала, что со мной что-то делается неладное и как сноп свалилась на пол...

— Не та ли это комната, где висит портрет, завешенный черным покрывалом? — спросила Эмилия.

О нет, барышня, поближе отсюда. Но как я доберусь до своей каморки? Ни за что на свете я не соглашусь опять выйти в коридор!

Эмилии, напуганной и расстроенной всем этим, очень не улыбалась мысль провести ночь в одиночестве, и она велела девушке ночевать у нее в комнате.

— Ах нет, барышня, — отвечала та, — мне не заснуть здесь и за тысячу червонцев!

Измученная и раздосадованная, Эмилия сначала стала высмеивать Аннету, хотя сама отчасти разделяла ее страхи, потом пробовала урезонить ее; но все напрасно: девушка упорно утверждала и верила тому, что видела призрак, видение с того света. Лишь долго спустя после того, как Эмилия оправилась и пришла в себя, она вспомнила, что слышала шаги на лестнице и еще настойчивее стала убеждать Аннету ночевать непременно у нее; с большим трудом ей удалось уговорить девушку; та наконец согласилась, потому что трусила выйти в коридор.

На другой день рано поутру Эмилия, проходя по сеням на террасу, услышала шум, суету на дворе и топот лошадиных копыт. Такое непривычное оживление возбудило ее любопытство; вместо того, чтобы выйти на крепостные стены, она подошла к одному из окон наверху, откуда увидала во дворе группу всадников в каких-то странных костюмах и вооруженных с головы до пят, хотя и не совсем одинаково. На всех был род короткого мундира, черного и алого цвета, а на некоторых черные плащи, ниспадавшие до стремян. Из-под распахнувшихся плащей виднелись кинжалы, заткнутые за пояс всадников. Такие же кинжалы Эмилия заметила и у тех всадников, которые были без плащей; большинство их были вооружены копьями или ятаганами. На головах у них сидели итальянские шапочки, украшенные у некоторых черными перьями. Или шапки придавали лицам задорный вид, или лица имели от природы свирепое выражение, но Эмилия подумала, что она в жизни не видывала сборища таких зловещих физиономий. Ей казалось, что она окружена бандитами и что сам Монтони атаман их, а замок служит им сборным пунктом. Эта страшная, тревожная

мысль мелькнула мгновенно, но рассудок не мог подсказать ей другого, более вероятного предположения.

Пока она наблюдала, из замка вышли Кавиньи, Верецци и Бертолини, одетые как и остальные, с той только разницей, что у них на шапках развевались перья черные с пунцовым и оружие их несколько отличалось от вооружения остальных. Когда они садились на своих коней, Эмилия заметила восторженную радость на лице Верецци, между тем как Кавиньи был хотя весел, однако с тенью задумчивости на лице; он ловко осадил коня, и его видная, величественная фигура выставлялась в самом выгодном свете. Глядя на него, Эмилия думала, что он несколько похож на Валанкура удальством и статностью; но тщетно было бы искать на его лице того благородства, той душевности, какими отличались черты ее друга.

Она надеялась, не зная почему, что Монтони сам будет сопровождать отряд; действительно, он появился у входной двери, однако не в мундире. Тщательно осмотрев всадников, он простился с ними, и отряд под предводительством Верецци двинулся под спускные решетки; Монтони вышел за портал и некоторое время следил за ним взором. Эмилия отошла от окна и, теперь уверенная в том, что никто ее не потревожит, отправилась гулять на вал, откуда она могла вскоре увидеть отряд, который лентой извивался в горах, к западу, то появляясь, то исчезая за лесом; она наблюдала его до тех пор, пока расстояние не ступивало отдельные фигуры, так что стала видна лишь смутная масса, движущаяся в горах.

Эмилия заметила, что на укреплениях уже нет рабочих и что ремонт, по-видимому, окончен. Задумчиво прохаживаясь взад и вперед, она вдруг услышала отдаленные шаги и, подняв глаза, увидела каких-то людей, засевших под стенами замка; очевидно, они не были рабочими, а как будто походили видом на только что уехавших всадников. Эмилия пожалела, что нет Аннеты, которая могла бы объяснить ей последние происшествия, но затем, вспомнив, что теперь г-жа Монтони, вероятно, уже встала, она зашла к ней в уборную и рассказала обо всем виденном. Но г-жа Монтони или не хотела, или действительно не могла ничего объяснить ей. Вероятно, это зависело от обычной необщительности синьора со своей супругой, но Эмилии почудилась какая-то особенная таинственность, облекавшая это дело, и она предвидела, что в замыслах ее родственника заключается опасность, если даже не злодейство.

Пришла Аннета, по обыкновению в тревожном настроении; на нетерпеливые расспросы барыни, что она слыхала от слуг, девушка отвечала:

— Ах, барыня, никто ничего не знает, кроме старого Карло; ему-то все известно, но он такой же скрытный, как и его барин. Одни говорят, будто синьор замышляет пугнуть неприятеля; но где он, неприятель-то? Другие толкуют, будто он готовится осаждать чей-то замок; но я уверена, что ему и в своем достаточно просторно, незачем еще приобретать... А мне-то, признаться, очень хотелось бы, чтобы сюда побольше набралось народу! все бы веселее было!..

— Ах, боюсь я, что твое желание скоро исполнится, — заметила г-жа Монтони.

— Но таких подозрительных людей нам вовсе не нужно. Хотелось бы видеть вот таких бравых, веселых, разбитных парней, как, например, Людовико; он всегда рассказывает такие потешные вещи и смешит до слез. Вот хотя бы вчера рассказал мне такую забавную историю, что я и теперь не могу удержаться от хохота, — говорит...

— Ну, это можешь оставить и при себе, — остановила ее госпожа.

— И знаете ли, — продолжала Аннета, нимало не смущаясь, — какой он мастер разгадывать людей! Он сразу угадал все намерения синьора, в точности не зная ничего.

— Как так? — спросила г-жа Монтони.

— Он говорит... впрочем, он взял с меня слово никому не передавать, и я ни за что на свете не хочу сделать ему неприятное.

— Что он не велел говорить? — сердито окликнула ее г-жа Монтони. — Я желаю знать немедленно, что такое он не велел говорить?

— Ах, барыня, — отозвалась Аннета, — право, не могу сказать, ни за какие блага в

мире!

— Я требую, чтобы ты сказала сию же минуту.

— Барыня, милая, не могу, хоть озолотите меня! Я была бы клятвопреступницей.

— Ну, скорей, говори! я не стану ждать ни секунды, — настаивала г-жа Монтони. Эмилия молчала.

— Синьору тотчас же будет обо всем доложено, — продолжала г-жа Монтони, — вот погоди, он тебе развяжет язык!

— Да ведь это Людовико сам догадался, — проговорила Аннета, — ради Создателя, барыня, только не говорите синьору, а вы-то сейчас все узнаете.

Г-жа Монтони обещала молчать.

— Так вот видите ли, Людовико говорит, что синьор, мой господин... по крайней мере Людовико так думает, а вы знаете, всякий волен думать, что ему угодно... что синьор...

— Что такое? не тяни! — нетерпеливо перебила ее г-жа Монтони.

— ... Что синьор собирается сделаться... ну, разбойником, то есть будет грабить и резать людей, словом, что он будет (уже, право, не знаю, что он хочет сказать)... будет атаманом разбойников.

— Да ты с ума сошла, Аннета! — воскликнула г-жа Монтони, — это сущий вздор! ты морочишь меня! Говори сейчас же все, что натолковал тебе Людовико. Я не допускаю никаких уверток. Сию же минуту...

— Так вот какая мне награда за то, что я разоблачила тайну!.. — воскликнула Аннета.

Госпожа ее продолжала настаивать, а Аннета отпираться, пока не появился сам Монтони и не выслал горничную вон из комнаты. Она ушла, трепеща за последствия своей болтовни. Эмилия тоже хотела уйти, но тетка удержала ее; Монтони за последнее время так часто вздорил при ней со своей супругой, что уже более не стеснялся ее присутствия.

— Я требую, чтобы вы мне объяснили сию же минуту, синьор, что все это означает, — обратилась к нему жена, — какие это вооруженные люди рыщут вокруг замка?

Монтони отвечал ей немым, презрительным взглядом; Эмилия что-то потихоньку шепнула тетке.

— Вздор, вздор! — возразила та, — я хочу знать все; я хочу знать, зачем вы укрепляли замок?

— Полноте, — произнес наконец Монтони, — меня привело сюда другое, более важное, дело. Знайте, что я более не позволю шутить над собою! Вы должны передать мне свое состояние тотчас же, без дальнейших споров, или я найду другие средства...

— Никогда я не уступлю вам своего имущества, — прервала его г-жа Монтони, — никогда я не стану способствовать осуществлению ваших безумных планов. В чем они заключаются? Я знать хочу. Предстоит осада замка? Ожидаете вы неприятеля? Меня заперли здесь, может быть, мне суждено погибнуть при осаде?

— Подпишите документ, — сказал Монтони, — и тогда узнаете...

— Какого неприятеля вы ожидаете сюда? — продолжала жена. — Разве вы поступили на государственную службу? А я должна умирать здесь!

— Что ж, это может случиться, если вы не исполните моего требования, — подтвердил Монтони, — потому что до тех пор вы ни под каким видом не покинете замка!..

Госпожа Монтони разразилась громкими рыданиями, но тотчас же подавила их, сообразив, что угрозы мужа не более, как уловка, чтобы исторгнуть ее согласие. Она намекнула ему о своем подозрении и кстати высказала, что его планы не настолько честны, чтобы принести пользу государству, и что, по ее убеждению, он просто намерен сделаться атаманом бандитов, с целью примкнуть к врагам Венеции и опустошать окрестный край.

Монтони устремил на нее пристальный, суровый взор. Эмилия вся задрожала. Жена поняла, что на этот раз онахватила через край.

— Сегодня же ночью вы будете переведены в восточную башню, — отрезал Монтони, — там вы, может быть, одумаетесь, поймете, как опасно оскорблять человека, который имеет над вами неограниченную власть.

Эмилия упала к его ногам и со слезами молила за тетку, которая вся трепетала от страха и негодования, то готовая разразиться бранью, то порываясь присоединиться к мольбам Эмилии. Монтони, однако, скоро положил конец этому заступничеству; со страшным проклятием он оттолкнул Эмилию, оставив плащ свой в ее руках, так что она упала и сильно ушибла себе голову. Он вышел, не сделав даже попытки поднять ее; вдруг внимание Эмилии было привлечено громким стоном г-жи Монтони, до тех пор сидевшей неподвижно в своем кресле. Эмилия вскочила, бросилась к ней на помощь и увидела, что глаза ее закатились, а черты судорожно искажены.

Она заговорила с несчастной, но, не получив ответа, принесла воды и приблизила стакан к губам тетки, поддерживая ей голову; однако судороги усиливались и заставили Эмилию позвать кого-нибудь на помощь. Идя по зале за Аннетой, она встретила Монтони, рассказала ему, что случилось, и умоляла вернуться и успокоить жену; но он молча равнодушно отвернулся и вышел на террасу. Наконец Эмилии удалось отыскать Карло и Аннету; они поспешили в уборную, где г-жа Монтони лежала на полу в сильном нервном припадке. Ее подняли, отнесли в смежную спальню и положили на кровать, но и тогда ее приходилось держать, так сильно она билась. Аннета дрожала, рыдая, а старик Карло глядел на нее молча, с жалостью, ухватив слабыми руками руку своей госпожи; вдруг, повернувшись к Эмилии, он воскликнул:

— Боже милостивый, синьора, что с вами?

Эмилия спокойно взглянула на него и увидела, что глаза его пристально устремлены на ее лицо; Аннета, глядя на нее, громко вскрикнула. Дело в том, что все лицо Эмилии было залито кровью, тихо капавшей из рассеченной раны на лбу. Но за последние минуты все внимание ее было так поглощено другим, что она даже не почувствовала боль от ушиба. Она приложила носовой платок к раненому лбу и, несмотря на то, что ей делалось дурно, она продолжала наблюдать тетку, у которой судороги постепенно ослабевали и наконец прекратились, оставив ее в состоянии какого-то столбняка.

— Тетушке нужен покой, — сказала Эмилия, — ступай, добрый Карло; в случае, если нам понадобится твоя помощь, я пошлю за тобой. А тем временем, по мере возможности, замолви доброе слово синьору о своей госпоже.

— Увы! — промолвил Карло, — я имею мало влияния на синьора Монтони. Но вы-то, добрая барышня, позаботьтесь о себе. У вас не пустячная рана на лбу и вид измученный.

— Спасибо, друг мой, за твое внимание, — улыбнулась Эмилия, — это пустяки: я упала и ушиблась...

Карло покачал головой и вышел. Эмилия с Аннетой продолжали ухаживать за госпожой Монтони.

— Как вы думаете, барыня передала синьору, что говорил Людовико? — спросила Аннета шепотом; но Эмилия успокоила ее на этот счет.

— Чуяло мое сердце, что у них выйдет неладное, — продолжала Аннета, — уж не побил ли синьор мою барыню?

— Нет, нет, Аннета, ты ошибаешься, не произошло ничего особенного.

— Что ж, здесь часто случаются предиковинные вещи, барышня, сплошь и рядом. Нынче утром опять прибыла в замок целая ватага подозрительных людей...

— Тсс, Аннета, ты встревожишь тетку; поговорим об этом после.

Они продолжали сидеть у постели молча; больная тихо вздохнула; Эмилия взяла ее за руку и успокоительно заговорила с нею. Но г-жа Монтони уставилась на нее бессмысленным взором и некоторое время не узнавала свою племянницу. Первыми ее словами был вопрос о Монтони. Эмилия вместо ответа умоляла ее успокоиться, не волноваться и в заключение предлагала передать ее мужу какое угодно поручение от ее имени.

— Нет, — проговорила она слабым голосом, — нет, мне нечего сказать ему. Но хотелось бы мне знать, намерен ли он в самом деле выселить меня из моей спальни?

Эмилия объяснила, что он ничего не говорил об этом после того, как г-же Монтони сделалось дурно, и затем старалась отвлечь ее внимание на какой-нибудь другой предмет; но

тетка слушала ее невнимательно и, казалось, ушла в какие-то свои тайные мысли. Эмилия принесла ей немного пищи для поддержания сил, оставила ее на попечении Аннеты, а сама пошла разыскивать Монтони, которого застала в отдаленной части замка разговаривающего среди группы людей, тех самых, о которых упоминала Аннета. Они стояли вокруг него со свирепыми, хотя несколько присмирившими лицами, а он горячо о чем-то толковал им и указывал на стены замка, не замечая Эмилии, которая стояла поодаль, дожидаясь, когда он освободится. Эмилии невольно бросилась в глаза наружность одного из людей, еще более страшная и дикая, чем у его товарищей: он стоял опираясь на копьё, глядел из-за плеча товарища на Монтони и слушал его с напряженным вниманием. По-видимому, это был человек простого звания, однако, судя по выражению его лица, он не признавал авторитета Монтони, как признавали его товарищи. На прощание, когда люди стали расходиться, Эмилия слышала, как Монтони сказал им:

— Итак, нынче вечером становитесь на караул с солнечного заката.

— С солнечного заката... — отозвались двое-трое из людей, и на этом все разошлись.

Эмилия приблизилась к Монтони, хотя он явно хотел избежать разговора с нею; но она имела мужество настоять на своем. Еще раз она сделала попытку вступить за тетку, красноречиво изобразила ему ее страдания и указала на опасность подвергать ее пребыванию в сырой, холодной башне, при теперешнем состоянии ее здоровья.

— Ну что ж, она страдает из-за собственной глупости, — возразил Монтони, — жалеть ее нечего; она знает, как она может избежать этих страданий; если ее посадят в башню, она сама будет виновата. Пусть лучше повинуется и подпишет документы, и дело этим кончится.

Эмилия осмелилась повторить свои мольбы; тогда он сердито заставил ее замолчать и упрекнул за вмешательство в его семейные дела; в конце концов он все-таки сделал некоторую уступку, обещав, что сегодня г-жа Монтони не будет переведена в башню, но что ей дадут возможность одуматься до завтрашнего дня и выбрать одно из двух: или подписать отречение от своего имущества, или быть посаженной в восточную башню замка, «где она найдет, — прибавил он, — такое наказание, какого и не ожидает».

Эмилия поспешила к тетке уведомить ее об этой короткой отсрочке и об ожидавшей ее судьбе, в случае непокорности. На это она ничего не ответила, но глубоко задумалась, а Эмилия, ввиду ее болезненной слабости, желала успокоить ее, отвлекая ее внимание на другие, менее волнующие предметы; хотя эти старания не удались, и г-жа Монтони стала раздражаться, но ее решимость по спорному пункту как будто несколько поколебалась; тогда Эмилия посоветовала ей, как единственное средство безопасности — подчиниться требованию Монтони.

— Вы сами не знаете, что советуете, — возразила тетка. — Понимаете ли вы, что эти самые имения перейдут к вам после моей смерти, если я настою на своем отказе?

— Этого я и не подозревала, тетушка, но, узнав теперь вашу волю, я все-таки советую вам поступить как того требует не только ваше спокойствие, но и ваша безопасность; умоляю вас, пусть такое сравнительно ничтожное соображение не останавливает вас!

— Неужели вы говорите искренне, племянница?

— Да можно ли в этом сомневаться, тетя? — Тетка казалась тронутой.

— Ты достойна этого наследства, Эмилия, и я желаю сохранить мое имущество для тебя, — в тебе открываются добродетели, каких я и не ожидала.

— Чем я заслужила этот упрек, тетя? — печально промолвила Эмилия.

— Упрек! Нисколько! Я хотела только похвалить тебя за твою добродетель.

— Увы! какая же это добродетель, — возразила Эмилия, — когда даже нет соблазна!

— Однако, месье Валанкур... — начала было тетка.

— О, тетя, — прервала Эмилия, зная наперед, что она скажет, — не касайтесь этого предмета, я не хочу пятнать свои мысли таким возмутительно себялюбивым расчетом.

Она тотчас же переменяла разговор и продолжала беседовать с г-жою Монтони до тех пор, пока не настала пора ложиться спать.

В замке стояла мертвая тишина; все обитатели, кроме Эмилии, давно удалились на

покой. Проходя по широким, пустынным галереям, темным и безмолвным, она чувствовала тоску одиночества и трепетала, сама не зная чего; но когда она вошла в свой коридор и вспомнила о происшествии вчерашней ночи, ее охватил леденящий ужас: ей представилось, что с нею может случиться то же, что случилось с Аннетой, что ослабевшая голова ее не выдержит и она упадет в обморок. Комнаты с привидениями, о которой толковала Аннета, Эмилия не знала в точности, но ей было известно, что это одна из тех, мимо которых ей придется проходить по пути к себе. Боязливо озираясь в потемках, она тихо и осторожно продвигалась вперед, наконец, дойдя до какой-то двери, из-за которой слышался слабый звук, она остановилась в колебании; в этот короткий миг остановки страх ее дошел до того, что она не в силах была двинуться с места. Подумав, что это был человеческий голос, она несколько ожила; но вслед затем отворилась дверь и появилась какая-то фигура, которую она приняла за Монтони; но в то же мгновение фигура отступила назад и дверь закрылась, хотя Эмилия успела все-таки разглядеть при свете камина, топившегося в комнате, другую фигуру, сидевшую у очага в задумчивой позе. Тут страх ее исчез, осталось одно глубокое изумление. Ее удивляло таинственное поведение Монтони и существование какого-то незнакомца, которого синьор тайком посещает в полночь в комнате, прежде всегда запертой и про которую ходили такие странные слухи. Пока она стояла в колебании, сильно желая проследить Монтони, а между тем боясь раздражить его, дверь снова осторожно отворилась и опять так же быстро захлопнулась. Тогда Эмилия тихонько прошла в свою комнату, помещавшуюся через одну от этой, но, оставив там свою лампу, забилась в темный угол коридора, чтобы простеждать за таинственной фигурой и убедиться, действительно ли это был Монтони.

Несколько минут она простояла в безмолвном ожидании, устремив глаза на дверь; вдруг дверь опять отворилась, и показалась та же фигура, несомненно фигура Монтони. Он осторожно оглянулся по сторонам, не замечая ее, затем шагнул через порог, затворил за собой дверь и удалился из коридора. Вскоре Эмилия услышала, что дверь запирается изнутри; после этого она ушла к себе, озадаченная и пораженная всем виденным.

Была уже полночь. Закрывая окно, Эмилия услышала шаги внизу и смутно разглядела в потемках несколько человек, которые прошли под ее окном. Раздался лязг оружия и произнесен был пароль. Вспомнив прослушанный ею приказ Монтони и сообразив, что теперь как раз полночь, она догадалась, что происходит первая смена караула в замке. Долго она прислушивалась, пока все не затихло, и только тогда улеглась спать.

ГЛАВА XXIII

*Напев унылый, погребальный
Не усладит ее отлетающей души
И нежная слеза не оросит ее могилы...*
Сайер

На другое утро чуть свет Эмилия отправилась к тетке и узнала, что та провела ночь спокойно и совершенно оправилась от болезненного припадка. Вместе со здоровьем вернулась к ней бодрость духа и решимость сопротивляться требованиям Монтони; но эта решимость все еще боролась с опасениями, которые Эмилия, страшась последствий дальнейшего сопротивления, всеми силами старалась в ней поддержать.

У тетки ее, как читатель мог уже убедиться, был сильно развит дух противоречия, и когда ей встречалось в жизни что-нибудь не по ней, то она не входила в рассуждение, насколько дело справедливо, а всячески искала аргументов, чтобы представить его в дурном свете. Она к этому так привыкла, что не сознавала в себе этой склонности. Увещания и советы Эмили раззадорили ее гордость, вместо того, чтобы убедить ее, и она все рассчитывала на какую-нибудь уловку, чтобы избежать подчинения требованиям мужа. Сообразив, что раз ей удастся бежать из замка, она избавится от его власти и, добившись

развода, может спокойно жить на доходы со своих имений, она сообщила об этом племяннице; та отнеслась сочувственно к ее желанию, но не верила в возможность его осуществления. Она поставила ей на вид всю трудность выбраться из ворот, запертых и охраняемых стражей, и крайнюю опасность доверить свой план слуге, который может выдать их случайно, или даже намеренно. В таком случае Монтони даст волю своей мстительности, и хотя Эмилия страстно желала вырваться на свободу и вернуться во Францию, но тут она беспокоилась только о безопасности г-жи Монтони и продолжала советовать ей уж лучше отказаться от своего состояния, не подвергая себя дальнейшим терзаниям.

Борьба противоположных чувств по-прежнему волновала ее тетку — она не могла отказаться от мечты попытать счастья в бегстве. Между тем пришел Монтони и, не замечая нездоровья жены, напомнил ей, что ей самой невыгодно долее морочить его и что он дает ей срок только до вечера, чтобы выбрать одно из двух: или согласиться на его требования, или, в случае отказа, быть посаженной в заключение в восточную башню. Он прибавил, что сегодня у него будет обедать большое общество офицеров и что он требует ее присутствия во главе стола, а также присутствия Эмилии.

Г-жа Монтони уже готова была отказаться наотрез, но вдруг сообразила, что во время приема гостей она будет пользоваться относительной свободой и это может способствовать осуществлению задуманного плана; поэтому она, скрепя сердце, дала согласие, и Монтони удалился. Его приказание удивило и испугало Эмилию; ей не хотелось появляться перед этими чужими и, вероятно, неприятными людьми; кстати вспомнились ей слова графа Морано, и это еще более встревожило ее.

Приготовляясь к обеду, она оделась еще проще обыкновенного, чтобы не привлекать внимания, но эта уловка не удалась ей, потому что Монтони, встретив ее, сделал ей выговор за ее пуританский наряд и настоял на том, чтобы она надела самое пышное из своих платьев, то, которое было приготовлено для ее свадьбы и которое, как теперь оказалось, тетка ее привезла с собой из Венеции. Платье это было сшито не по венецианской, а по неаполитанской моде, с целью выставить стан и фигуру девушки в самом выгодном свете. Ее прекрасные каштановые косы, перевитые жемчугом, висели распущенные по спине. В этом простом, но величественном наряде виден был тонкий вкус, на какой не была способна мадам Монтони, и неподдельная красота Эмилии никогда еще не казалась столь чарующей. Теперь ей оставалось только надеяться, что приказание Монтони было вызвано не каким-нибудь новым планом, касающимся ее судьбы, а просто желанием блеснуть своей родственницей перед гостями. Когда Эмилия спускалась вниз к обеду, у нее от волнения вспыхнул на лице легкий румянец и придал ему еще больше привлекательности; застенчивость удерживала ее в спальне до последней минуты, и когда она вошла в залу, где был накрыт банкет, Монтони и его гости уже сидели за столом. Эмилия намеревалась поместиться возле тетки; но Монтони сделал движение рукой, двое из гостей встали и предложили ей место между ними.

Старший из них был мужчина высокого роста с резкими чертами итальянского типа, орлиным носом, темными, пронизывающими глазами, которые вспыхивали огнем в минуты волнения и даже в спокойном состоянии сохраняли выражение какой-то дикой страстности. Узкое, длинное лицо его отличалось болезненной желтизной.

У другого гостя, человека лет сорока, черты были другого типа, хотя тоже итальянского; лицо загорелое, угловатое; маленькие, хитрые, темно-серые глазки, которые так и бегали.

Вокруг стола разместилось еще восемь человек гостей — все в мундирах; у всех на лицах были написаны или жестокость, или лукавство и другие низменные страсти. Украдкой наблюдая их, Эмилия вспоминала сцену предыдущего утра, и ей опять показалось, что она окружена бандитами; невольно оглядываясь назад, на свою прошлую спокойную жизнь, она с горестью и удивлением сравнивала ее со своим теперешним положением. Место, где они находились, гармонировало с ее мыслями: то была старинная зала, мрачная по стилю

архитектуры и по своим огромным размерам, и благодаря тому, что она получала свет из единственного готического окна и двухстворчатых дверей, откуда открывался вид на западный парапет и на далекие суровые Апеннины.

Средняя часть этой залы освещалась сводчатым потолком с богатой лепной работой и подпиралась с трех сторон мраморными пилястрами; за ними тянулись длинные колоннады, уходя во мрак. Легкие шаги слуг, сновавших под колоннадами, отдавались слабым эхом, и фигуры их, смутно вырисовывавшиеся в полумраке, казались фантастическими видениями. Эмилия глядела поочередно на Монтони, на его гостей и на окружающую обстановку; опять в ее памяти воскресали картины ее милой родной провинции, отчего дома, простоты и кротости ее утраченных друзей, и сердце ее наполнялось горем и недоумением.

Отвлечшись немного от этих мыслей, она заметила в обращении Монтони с его гостями оттенок властности, какого она раньше не видала в нем, хотя он всегда держался надменного тона; точно так же в манерах гостей было что-то, хотя и не раболепное, но несколько приниженное: заметно было, что они признают его превосходство.

За обедом разговор шел преимущественно о войне и о политике. Говорили о положении Венеции, об угрожающих ей опасностях, о характере правящего дома и главных сенаторов; потом перешли к римскому государству. Когда окончился обед, все встали и, наполнив кубки вином из позолоченного сосуда, стоявшего у каждого прибора, провозгласили: «За успех нашего дела!» Монтони уже поднес свой кубок к губам, чтобы выпить, как вдруг вино запенилось, поднялось до самых краев — едва успел он отвести стеклянный кубок, как он лопнул, рассыпался вдребезги...

Монтони знал свойство венецианского стекла лопаться от действия отравленного напитка, и у него мгновенно мелькнуло подозрение, что кто-нибудь из гостей покушался извести его; он приказал запереть все выходы, обнажил свой меч, окинул взглядом гостей, стоявших в безмолвном оцепенении, и воскликнул:

— Здесь, между нами, есть предатель; кто не виновен, пусть поможет открыть преступника!

Глаза гостей сверкнули негодованием, и все обнажили мечи; г-жа Монтони в ужасе бросилась бежать, но муж велел ей остаться: дальше его слов нельзя было разобрать, так как все заговорили разом. Наконец по его распоряжению собрались все слуги; они уверяли, что ничего знать не знают. Но этому мудрено было поверить: слишком очевидно было, что так как бокал Монтони, и только один его бокал оказался отравленным, то несомненно покушение на его жизнь произошло не иначе как с участием слуги, заведывавшего разливкой вина.

Этого слугу, а также и другого, на лице которого было написано сознание вины и страх наказания, Монтони приказал немедленно заковать в цепи и запереть в помещение, служившее прежде темницей. Туда же он охотно препроводил бы всех своих гостей, если бы не побоялся последствий такого смелого и несправедливого поступка.

Однако он поклялся, что никто не перешагнет за ворота замка, пока не будет выяснено это необыкновенное происшествие; затем он гневно приказал жене удалиться в свои апартаменты, позволив Эмилиии сопровождать ее.

Через полчаса Монтони сам явился в уборную супруги; Эмилия со страхом глядела на его потемневшее лицо и дрожащие губы, слушая угрозы, обращенные к ее тетке.

— Не оправдывайтесь, — говорил он жене, — не пробуйте отрицать вопиющий факт; у меня есть доказательства вашей вины. Единственное ваше спасение заключается в чистосердечном сознании. Ни строптивость, ни ложь не помогут вам. Ваш сообщник сознался.

При всем своем угнетенном состоянии духа Эмилия не могла не возмутиться, услышав, что тетку ее обвиняют в таком ужасном злодеянии; она ни на минуту не могла допустить, что она виновна. Между тем г-жа Монтони была так ошеломлена, что не имела сил говорить; лицо ее то багровело, то бледнело, как смерть; она вся дрожала — от страха или от негодования — трудно решить.

— Не тратьте слов по-пустому, — остановил ее Монтони, когда она собиралась заговорить, — ваша вина написана у вас на лице. Вы сейчас же будете переведены в восточную башню.

— Вы обвиняете меня нарочно, чтобы оправдать свою жестокость, — с трудом проговорила несчастная женщина, — я не стану даже оправдываться. Ведь вы сами не верите в мою виновность.

— Синьор! — начала Эмилия торжественным тоном, — это страшное обвинение ложно, за это я ручаюсь жизнью. Теперь не время для меня сдерживаться, — прибавила она, заметив суровое выражение на его лице, — я не постесняюсь сказать вам, что вы обмануты кем-то, кто желает погубить тетушку; невозможно предположить, чтобы вы сами могли измыслить такое чудовищное обвинение.

Монтони произнес дрожащими губами:

— Если вы дорожите жизнью, то советую вам молчать; если же вы будете настаивать, то я знаю, чем объяснить ваше вмешательство!

Эмилия спокойно подняла глаза к небу.

— Итак, я вижу, пропала всякая надежда, — промолвила она.

— Молчать! — крикнул на нее Монтони, — или вы увидите, что вас ожидает.

Он обернулся к жене, которая успела немного оправиться и начала горячо, всеми силами обороняться от возводимого на нее обвинения. Но по мере того как усиливалось ее негодование, разгорался и гнев Монтони. Эмилия, страшась его последствий, бросилась между ними, молча обхватила руками его колени и устремила на его лицо взор, способный смягчить сердце самого дьявола. Но или сердце Монтони было ожесточено уверенностью в виновности жены, или одно лишь подозрение возбуждало в нем жажду мести, но он казался безнадежно равнодушным к горю своей жены и к умоляющим взглядам Эмилии.

Он даже не сделал попытки поднять ее с колен, но стал злобно угрожать обеим женщинам, как вдруг кто-то позвал его из-за двери. Он вышел, и Эмилия заметила, что он запер дверь за собой и вынул ключ из замка; таким образом, обе женщины очутились пленницами. Эмилия понимала, что намерения Монтони должны быть ужасны. Она не могла объяснить себе его мотивов, не могла успокоить отчаяния тетки, в невинности которой она не сомневалась. Наконец, она догадалась, что Монтони, заподозрив жену, просто хотел оправдать свою собственную жестокость по отношению к ней; вообще, раз задавшись какой-нибудь целью, он достигал ее всякими средствами и действовал стремительно, пренебрегая и справедливостью, и человечностью.

По прошествии некоторого времени г-жа Монтони опять ухватила за мысль бежать из замка; она заговорила об этом с Эмилией, и та уже готова была подвергнуться всяким опасностям, хотя и не стала поддерживать в тетке надежду, которой сама не разделяла. Она слишком хорошо знала, как сильно укреплен замок и как строго он охраняется; она боялась отдать свою судьбу в руки слуг, а без их помощи они не могли обойтись. Старый Карло был добр и сострадателен, но он слишком усердно оберегал интересы своего господина, чтобы можно было положиться на него. Аннета сама по себе не могла оказать большой помощи, а Людовико Эмилия знала только по ее рассказам. Теперь, однако, все эти соображения оказались бесполезными; г-жа Монтони и ее племянница были отрезаны от всяких сношений с кем бы то ни было.

В сенях внизу все еще стояли шум и смятение. Эмилия с беспокойством прислушивалась к звукам, несущимся по галереям, и порою ей казалось, что она слышит звон мечей. Принимая в расчет дерзкий вызов Монтони и его горячность, представлялось вероятным, что распря разрешится только оружием. Между тем г-жа Монтони, истощив все свое негодование, а Эмилия весь запас утешений, умолкли. То была жуткая тишина, обыкновенно наступающая в природе вслед за бурей.

Какое-то оцепенение ужаса охватило душу Эмилии; события последних часов смутно проносились в ее памяти; в мозгу ее роились беспорядочные мысли. Из этого состояния сновидений наяву ее пробудил стук в дверь; она спросила, кто там, и услышала в ответ шепот

Аннеты.

— Барыня, впустите меня, я многое могу рассказать вам...

— Дверь заперта, — отвечала се госпожа.

— Так отприте, пожалуйста!

— Ключ у синьора. Где же Людовико?

— Внизу в зале, дерется вместе со всеми.

— Дерется? Кто дерется? — воскликнула г-жа Монтони.

— Как кто? Синьор и все синьоры и еще много народу.

— Есть раненые? — осведомилась Эмилия дрожащим голосом.

— Раненые! еще бы, барышня! несколько человек лежат, обливаясь кровью, а сабли так и бряцают, и... Ах, святые угодники! впустите меня скорее, сюда идут люди. Меня убьют!

— Беги прочь отсюда, спасайся! — крикнула ей Эмилия. — Скорее! ведь мы не можем отпереть тебе двери.

— Аннета еще раз повторила, что сюда идут, и поспешно скрылась.

— Успокойтесь, тетя, — проговорила Эмилия, — умоляю вас, успокойтесь; я не боюсь, право же, нисколько... И вам не надо тревожиться.

— Но ты сама едва держишься на ногах, — возразила тетка. — Боже милосердный! что они хотят сделать с нами?

— Может быть, они идут освобождать нас, может быть, синьор Монтони... побежден. — Внезапная мысль о его смерти так потрясла ее, что ей сделалось дурно — он представился ей в воображении распростертым у ее ног, умирающим...

— Идут, сюда идут! — крикнула г-жа Монтони, — я слышу их шаги... они у дверей.

Эмилия обратила томные глаза в сторону двери, но от ужаса не в силах была выговорить ни слова. Ключ зазвенел в замке; дверь распахнулась и появился Монтони, в сопровождении троих каких-то людей с разбойничьими лицами. «Исполняйте, что вам приказано», — обратился он к сообщникам, указывая на свою жену; та вскрикнула, но в ту же минуту ее подхватили и унесли из комнаты, между тем как Эмилия без чувств упала на кушетку, за которую уцепилась, чтоб не упасть. Когда она очнулась, она была одна и почти ничего не помнила кроме того, что г-жа Монтони только что была здесь; постепенно припомнились ей еще некоторые подробности предыдущих событий, но это еще усилило ее ужас. Озираясь кругом блуждающим взором, она точно искала, не увидит ли она свою тетку, однако мысль о собственной опасности и о том, чтобы бежать отсюда, даже не приходила ей в голову.

Когда память ее окончательно восстановилась, она поднялась и со слабой надеждой подошла к двери удостовериться, не отперта ли она. Дверь оказалась отпертой, и Эмилия робко вышла в коридор, но там остановилась в нерешимости, куда направиться. Первым ее желанием было узнать что-нибудь о своей родственнице, и вот она направилась к людской, где обыкновенно сидели слуги, а между ними и Аннета.

На всем пути она слышала издали возню и шум драки, всюду ей попадались навстречу люди, бежавшие по коридорам с испуганными лицами. Эмилия казалась светлым ангелом среди злых духов. Наконец она добралась до людской, где было тихо и безлюдно; запыхавшись от волнения, она села отдохнуть. Тишина и безмолвие, царившие здесь, были так же страшны и зловещи, как и сумятица, которой она избегла; но теперь, по крайней мере, она могла сосредоточить свои мысли, вспомнить, что ей самой грозит опасность, и подумать о средствах от нее избавиться. Она убедилась, что искать тетку бесполезно по обширным, запутанным лабиринтам коридоров, да еще в такое время, когда в каждом углу могли спрятаться злодеи. Опять-таки в людской она не могла решиться оставаться, зная, что сюда скоро соберутся слуги со всего замка; поэтому ей хотелось поскорее добраться в свою комнату. Но она боялась опять встретиться со злодеями.

Так она и сидела, дрожащая, смущенная, как вдруг отдаленный гул прервал тишину; он становился все громче, громче. Наконец Эмилия стала различать голоса и приближающиеся шаги. Она встала, собираясь уходить, но звуки шли из единственного коридора, по которому

она могла направиться, и вот ей пришлось ожидать в людской прихода тех лиц, шаги которых она слышала. Вскоре раздалась стона, и она увидела четырех каких-то людей, которые медленно несли носилки с раненым. При этом зрелище ей сделалось дурно; она прислонилась к стене, чтобы не упасть. Между тем носильщики вошли в залу, слишком занятые своим делом, чтобы заметить Эмилию; она пыталась уйти, но силы ей изменили и она опять опустилась на скамью. Ледяной холод сковал ее члены, зрение помутилось, она не сознавала, где она и что происходит, но стоны раненого отдавались в ее сердце. Через несколько минут кровь стала свободнее переливаться в ее жилах, она могла перевести дыхание, и сознание снова вернулось к ней. Однако с ней не было обморока, она даже не лишилась чувств окончательно и удержалась в сидячем положении на скамье. Между тем она не находила в себе сил, чтобы оглянуться на несчастного, находившегося возле и окруженного людьми, которые были слишком заняты им, чтобы обратить на нее внимание.

Когда силы вернулись к ней, она встала и беспрепятственно удалилась, хотя успела задать несколько вопросов о синьоре Монтони — вопросов, оставшихся, впрочем, без ответа. Теперь она спешила как можно скорее вернуться в свою комнату — на всем пути она слышала какой-то отдаленный шум, и нарочно пошла по целому ряду темных покоев, чтобы избежать встречи с подозрительными людьми, пугавшими ее своим зверским видом, и чтобы не попасть в те части замка, где еще продолжалась рукопашная.

Наконец-то добралась она до своей комнаты и, заперев двери в коридор, на минуту почувствовала себя в безопасности. Глубокая тишина стояла в этой отдаленной части здания, куда не долетали даже слабые звуки борьбы. Эмилия села у одного из окон и устремила взор на далекие горы; глубокий покой и красота вида поразили ее, представляя резкий контраст со сценами дикой вражды, бушевавшей в замке. Борющиеся стихии как будто покинули свои естественные сферы и сосредоточились в душах людей, подымая в них бурю.

Эмилия старалась успокоиться; но невольно прислушивалась к малейшему звуку и ежеминутно высовывалась поглядеть вниз на террасу, где, однако, было тихо и безлюдно. Сознание личной опасности в ней несколько улеглось, зато страх за тетку усилился; она помнила, что несчастной угрожали заточением в восточную башню, и боялась, что угроза уже приведена в исполнение. И вот она решила про себя, что, когда наступит ночь и все обитатели замка уснут, она отправится отыскивать дорогу к восточной башне, что казалось не особенно трудным, раз известно было направление, в котором она находится. Правда, Эмилия знала, что если тетка ее там, то ей нельзя будет оказать никакой помощи, но заключенной все-таки отрадно будет сознавать, что место ее заточения открыто, и услышать голос своей племянницы. Для самой же Эмилии всякое сведение о судьбе г-жи Монтони казалось все-таки отраднее, чем эта мучительная неизвестность.

Между тем Аннета все не показывалась. Эмилия несколько тревожилась, думая, не случилось ли с нею несчастья в смятении прошлой ночи, — иначе трудно было объяснить ее отсутствие.

Так прошло несколько часов в одиночестве, тишине и тоскливых думах. Ничто не потревожило Эмилии — не слышно было ни малейшего звука, и никто не приходил за нею; можно было подумать, что Монтони окончательно забыл о ней, и она старалась было не думать о своих тревогах, но мысли ее отказывались повиноваться — она не в состоянии была ни читать, ни рисовать, а звуки ее лютни так не вязались с настроением ее чувств, что она не могла переносить их ни минуты.

Наконец солнце село за горы; огненные лучи его погасли в облаках, печальная фиолетовая дымка подернула окрестную местность. Вскоре на укреплениях явились часовые.

Вечерний сумрак постепенно окутал все предметы; потемки в комнате навевали на Эмилию страшные мысли; для того, чтобы добыть освещение, ей надо было пройти чуть не через весь замок, а главное — через те залы, где она недавно натерпелась такого страха.

При теперешнем состоянии ее духа, в потемках, тишина и одиночество казались особенно ужасными; в темноте она не имела возможности отыскать дорогу в башню, и ей приходилось оставаться в неизвестности относительно судьбы своей тетки; а между тем ей

страшно было пойти за лампой.

Она продолжала сидеть у окна, ловя последние лучи заката, а тысячи смутных образов проносились в ее воображении. «Что, если кто-нибудь из этих злодеев, — размышляла она, — отыщет потайную лестницу и в темноте ночи заберется ко мне в комнату!» Потом, вспомнив про таинственного обитателя соседнего покоя, она перешла к опасениям другого рода: «он не изменник, — размышляла она, — хотя сидит безвыходно в одной комнате: ведь, выйдя оттуда, Монтони не запер за собою двери. Незнакомец сам это сделал, следовательно он может выйти, когда хочет». Она задумалась. Как ни жутко ей было одной в темноте, она не могла не сообразить, что кто бы он ни был, ему нет никакого смысла вторгаться к ней в ее одинокое убежище. Вдруг ею овладел новый приступ страха: вспомнив про близость той комнаты, где еще так недавно она увидела под покрывалом ужасное зрелище, ей пришло в голову подозрение — нет ли связи между этим покоем и незапертой дверью, ведущей на лестницу?..

Между тем окончательно стемнело, и Эмилия отошла от окна. Когда она сидела, устремив глаза на очаг, ей показалось, что она увидела в нем тлеющую искру: искра мелькнула, исчезла, потом опять появилась. Тогда Эмилия стала осторожно раздувать золу, еще не остывшую после топки; вспыхнуло пламя и с помощью него она зажгла лампу, постоянно стоявшую в комнате, и почувствовала радость, вполне понятную, если вникнуть в ее положение. Первой ее заботой было загородить дверь на лестницу; для этой цели она нагромодила к ней всю мебель, какую могла сдвинуть с места. Долго возилась она с этим, и когда кончила, то могла еще лишний раз убедиться, что всякое занятие доставляет развлечение в несчастье; обдумывая свои печальные обстоятельства, она и на будущее время предвидела все новые бедствия, и эти действительные и воображаемые беды одинаково терзали ее душу.

Так медленно тянулось время до полуночи; Эмилия сосчитала удары башенных часов, уныло прозвучавшие над укреплениями; других звуков не было слышно, кроме отдаленных шагов часовых, явившихся на смену. «Теперь, — думалось ей, — можно отважиться пойти к башне». Тихонько отворив дверь, чтобы заглянуть в коридор и прислушаться, не слышать ли движения в замке, она убедилась, что везде тихо и безлюдно. Однако едва успела она шагнуть через порог, как увидела свет, отразившийся на стене коридора; не дожидаясь, чтобы убедиться, кто идет с фонарем или лампой, она быстро отступила назад и затворила дверь. Но никто не подходил к ее комнате и она вывела заключение, что это сам Монтони являлся с ночным визитом к ее таинственному соседу, и решила подождать, пока он не удалится.

Когда на часах пробило еще половину, она опять приотворила дверь и, увидав, что коридор пуст, поспешно пересекла его, направляясь в проход, ведущий вдоль южного флигеля замка к лестнице; а оттуда, она надеялась, не трудно будет добраться до башни. Часто останавливаясь по пути, тревожно прислушиваясь к завыванию ветра и боязливо озираясь в потемках длинного коридора, она наконец достигла лестницы, но тут-то и начались затруднения: перед нею оказались два коридора — она не знала, который из них выбрать, и наконец пошла наугад. Проход, по которому она направилась, переходил в широкую галерею; по ней она прошла быстрыми, легкими шагами, пугаясь пустынности места и вздрагивая от звука собственных шагов.

Вдруг ей показалось, что она слышит откуда-то голос, и остановилась: идти вперед было боязно, возвращаться точно так же. Несколько минут она простояла в выжидании, вся съежившись и почти не решаясь оглянуться. Опять раздался тот же голос, теперь уже совсем близко, но от страха она не могла дать себе отчета, откуда он идет. Ей почудилось, однако, что звук его жалобный, и ее догадка скоро подтвердилась глухим стоном, доносившимся, по-видимому, из одной из комнат, выходящих на галерею. Сразу ее осенила мысль, что там-то, вероятно, и томится госпожа Монтони. Она было подошла к дверям, чтобы заговорить с нею, но ее остановило опасение попасть в руки какому-нибудь бандиту, который передаст ее

Монтони; хотя стонавший человек, кто бы он ни был, очевидно, страдает, но из этого еще не следует, чтобы он был пленником.

Пока эти мысли проносились в ее голове и оставляли ее в колебании, голос раздался снова: кто-то жалобно звал Людовико, и Эмилия догадалась, что это горничная Аннета. Тогда, собравшись с духом, она радостно ответила ей.

— Людовико! — кричала Аннета, рыдая, — Людовико!

— Это я, — отозвалась Эмилия, пробуя отворить дверь. — Как ты сюда попала? кто тебя запер?

— Людовико! — повторяла Аннета. — О, Людовико!

— Это не Людовико, это я — твоя барышня. Аннета перестала рыдать и замолкла.

— Если ты можешь отпереть дверь,пусти меня, — сказала Эмилия, — здесь никого нет, никто тебя не обидит.

— Людовико! О, Людовико! — твердила Аннета. Эмилия наконец потеряла терпение; боясь, что ее услышат, она собиралась отойти от двери, как вдруг сообразила, что Аннета что-нибудь знает о положении г-жи Монтони, или укажет ей дорогу к башне. Наконец она добилась ответа, хотя и не особенно удовлетворительного, потому что Аннете ничего не было известно о г-же Монтони, и она только умоляла Эмилию сказать ей, что случилось с Людовико. Но Эмилия ничего не могла ответить на этот счет и опять спросила, кто запер Аннету?

— Людовико, — отвечала бедная девушка. — Людовико запер меня. Давеча, когда я выбежала из барыниной уборной, я сама не знала, куда деваться от страха. В этой самой галерее я встретила Людовико: он поспешно увел меня в эту комнату и запер, чтобы я как-нибудь не попала в беду, как он выразился. Но сам он куда-то спешил и не успел проговорить и десяти слов, а все-таки сказал мне, что придет и выпустит меня на волю, когда все утихнет... а ключ взял с собою. И вот столько часов прошло, а о нем ни слуху ни духу! Его убили, уж я вам говорю, что убили!..

Эмилия вдруг вспомнила о раненом, которого на ее глазах внесли в людскую; она почти не сомневалась, что это и есть злополучный Людовико; но она скрыла это обстоятельство от Аннеты и, напротив, старалась успокоить ее. Желая узнать что-нибудь о своей тетке, она опять спросила, как пройти в восточную башню.

— Ах! да неужели же вы хотите уйти, барышня? — взмолилась Аннета, — ради Господа, не оставляйте меня одну!

— Послушай, Аннета, не могу же я всю ночь простоять в галерее, — отвечала Эмилия. — Расскажи мне толком, как пройти в башню, а утром я постараюсь как-нибудь освободить тебя.

— О, Царица небесная! — кричала Аннета, — неужели я останусь здесь всю ночь одна-одинешенька; я перетрушу до смерти, да и с голоду могу умереть — ведь я как есть ничего не ела с самого обеда.

Эмилия не могла не улыбнуться этим напастям Аннеты; но она искренне жалела ее и всячески старалась успокоить.

Наконец она добилась кое-каких указаний, как пройти в восточную башню, и отошла от двери; после многих препятствий и проплутав довольно долгое время, она достигла крутой витой лестницы, ведущей в башню; внизу она остановилась отдохнуть и приободриться. Оглядывая мрачные стены, она заметила какую-то дверь на противоположной стороне лестницы и, желая убедиться, не ведет ли она в темницу г-жи Монтони, попробовала снять железный засов. Ей пахнуло в лицо свежим воздухом; оказалось, эта дверь вела на восточную террасу; сквозным ветром чуть не потушило ее лампу, которую она теперь поспешила отставить в сторону; снова выглянув на темную террасу, она увидела только стабы очертания стен и башен, а над ними тяжелые тучи, гонимые ветром и еще более сгущавшие тьму ночи. Пока она глядела, в душе желая, чтобы продлилась неизвестность, так как впереди ожидала самого ужасного, звук отдаленных шагов напомнил ей, что ее могут увидеть часовые; поспешно затворив дверь, она взяла свою

лампу и пошла по лестнице. В потемках ее охватывала дрожь, расстроенная фантазия рисовала ей это место какой-то могилой — и действительно, мертвое, холодное безмолвие как будто подтверждало ее мрачные мысли. Сердце ее сжималось от тоски. Быть может, думала она, я пришла сюда только для того, чтобы узнать страшную истину или увидеть опять какое-нибудь ужасающее зрелище; я чувствую, что больше не вынесу...

Образ тетки, зарезанной, быть может, рукою самого Монтони, предстал перед нею; она вся дрожала, с трудом переводила дыхание и даже раскаивалась, что забралась сюда. Но, простояв на месте несколько минут, она очнулась к сознанию своего долга и пошла дальше. По-прежнему все было тихо кругом. Вдруг след крови на ступенях привлек ее внимание; она заметила также, что стены и несколько других ступеней забрызганы кровью. Она едва устояла на ногах и дрожащая рука чуть не выронила лампу. Кругом стояла тишина; казалось, в башне не было ни единого живого существа; тысячу раз Эмилия жалела, что ушла из своей спальни; она боялась продолжать свои исследования, боялась наткнуться на какое-нибудь страшное зрелище, а между тем не решалась отказаться от своей попытки, в особенности теперь, когда была уже близка к цели. Собравшись с духом, она продолжала путь и, поднявшись почти до половины башни, увидела перед собою другую дверь; но тут опять остановилась, прислушиваясь к звукам внутри; наконец, призвав на помощь все свое мужество, толкнула дверь и вошла в какую-то комнату, где при тусклом свете лампы увидела лишь отсыревшие, пустые стены. Оглядывая комнату и со страхом ожидая увидеть останки своей несчастной тетки, она заметила какой-то предмет, лежавший в темном углу. У нее мелькнуло страшное подозрение, она замерла без движения и почти без чувств. Но вот, набравшись отчаянной решимости, она бросилась к пугавшему ее предмету, схватила какие-то одежды, лежавшие на полу, и увидела, что это старый солдатский мундир, под которым валялась груда копий и другого оружия. Почти отказываясь верить собственным глазам, она несколько минут, не отрываясь, глядела на предмет своего недавнего испуга, затем вышла из кладовой, настолько успокоенная и убежденная, что тетки там нет, что собиралась уже сойти вниз из башни, бросив свои исследования; но, повернувшись назад, она увидела на ступенях пятна, похожие на кровь; вспомнив, что ей остается осмотреть еще одну комнату, она стала опять подниматься по винтовой лестнице. Под ее ногами беспрестанно виднелись на ступенях следы крови.

Они привели ее к двери на площадке лестницы, но дальше она уже не могла их проследить. Теперь, находясь так близко к желанной цели, она еще более прежнего боялась узнать страшную истину и не имела силы ни закричать, ни попробовать открыть дверь.

Тщетно прислушивалась она, стараясь уловить хоть какой-нибудь звук, подтверждающий или уничтожающий ее страхи; наконец она положила руку на замок и, убедившись, что дверь заперта, громко окликнула тетку. Последовало мертвое молчание.

— Умерла! — воскликнула Эмилия, — зарезана! вся лестница залита ее кровью...

Эмилии сделалось дурно, ноги ее подкашивались; но у нее хватило однако присутствия духа, чтобы поставить лампу на пол и присесть на ступеньку.

Придя в себя, она еще раз окликнула г-жу Монтони, еще раз попробовала отворить дверь; но, прождав некоторое время и не получая ответа, она сошла вниз и со всей быстротой, на какую способны были ее ослабевшие ноги, устремилась в свою спальню.

Когда она поворачивала в коридор, дверь одной из комнат отворилась и оттуда вышел Монтони; но Эмилия, в ту минуту более чем когда-либо боявшаяся встретить его, отступила в узкий проход, как раз вовремя, чтобы не быть замеченной; она успела разглядеть, что он запер за собой дверь и что это была та самая комната, в которую он тайно входил раньше. Она прислушивалась к удаляющимся шагам до тех пор, пока звук их не замер в отдалении, и только тогда решила идти дальше; запершись в своей комнате, она легла в постель, оставив лампу гореть на камине. Но сон бежал от ее взволнованных мыслей, — перед ее умственными очами рисовались страшные картины... Она старалась уверить себя, что ее тетку, вероятно, не запирали в башню; но, вспомнив прежние угрозы ее мужа и мстительный дух его; вспомнив зверскую наружность людей, насильно потащивших г-жу Монтони из ее

комнаты; вспомнив, наконец, красноречивые следы на ступеньках башенной лестницы, она не могла не прийти к убеждению, что тетку ее увлекли в темницу, и ей трудно было надеяться, что она жива.

Серый рассвет давно уже заглядывал в ее окна, а Эмилия еще не смыкала глаз. Наконец изнуренное тело не выдержало и благодетельный сон успокоил на время ее страдания.

ГЛАВА XXIV

Кто простирает окровавленную руку?..

Сэйер

Все утро Эмилия просидела одна в своей комнате. Монтони не присылал за нею, и вообще она не видала ни единой живой души, кроме вооруженных людей, иногда проходивших внизу, по террасе. Со вчерашнего обеда она ничего не ела и так отошала, что почувствовала необходимость выйти из своего уединения и добыть себе немного пищи; кроме того, ей хотелось освободить Аннету. Но она не решалась сейчас же выполнить свое намерение и задумывалась, к кому бы ей обратиться — к самому ли Монтони или к состраданию других лиц; наконец ужасное беспокойство за тетку преодолело ее неохоту обращаться к Монтони, и она решуца пойти прямо к нему и просить его, чтобы он позволил ей повидаться с теткой.

Между тем, судя по отсутствию Аннеты, можно было думать, что с Людовико случилось несчастье и что девушка все еще находится в заключении. Поэтому Эмилия решила также зайти и в ту комнату, у дверей которой она накануне разговаривала с нею, и если бедная Аннета все еще там заперта, то уведомить Монтони о ее печальном положении.

Было уже около полудня, когда она наконец вышла из своей спальни, и прежде всего направилась в южную галерею, по которой прошла, не встретив ни души, не услышав ни единого звука, кроме эха отдаленных шагов.

Звать Аннету не было никакой надобности; ее плач и причитания были слышны уже издалека; оплакивая судьбу Людовико и свою собственную, она объявила Эмилии, что непременно умрет с голода, если ее сейчас же не выпустят. Эмилия отвечала, что она намеревается просить за нее Монтони, но у Аннеты страх голодной смерти сменился теперь страхом перед синьором, и когда Эмилия уходила. Аннета отчаянно умоляла ее не открывать синьору места ее убежища.

По мере того как Эмилия приближалась к главным сеням, она стала встречать каких-то людей и слышать тревожные звуки, все более и более пугающие ее. Люди, впрочем, были все миролюбивые и не делали ей вреда, хотя некоторые как-то странно поглядывали на нее и заговаривали с ней. Пересекая сени и направляясь к кедровой зале, где обыкновенно сидел Монтони, Эмилия увидела на полу обломки мечей, лоскуты одежды, запятнанной кровью, и почти ожидала увидеть между ними распростертое мертвое тело; но от такого зрелища она была пока избавлена. Когда она стала приближаться к кедровой зале, оттуда послышался звук нескольких голосов, и страх появиться перед чужими людьми и своим приходом раздражить Монтони заставил ее остановиться и чуть не отказаться от своего намерения. Она бросила взгляд сквозь длинные аркады сеней, ища слуги, который мог бы передать ее поручение, никто, однако, не показывался, но, сознавая важность своего ходатайства, она не могла уйти ни с чем и замешкалась у дверей. Спора не было слышно, хотя она узнала по голосам некоторых из вчерашних гостей; но все-таки она долго не могла заставить себя постучаться в дверь и решила походить по зале, пока не появится кто-нибудь, чтобы вызвать Монтони; вдруг в ту минуту, как она уже собиралась отойти от двери, ее отворил не кто иной, как сам синьор. Эмилия задрожала и смутилась, а он вздрогнул от удивления и лицо его приняло страшное выражение. Она сразу позабыла все, что хотела сказать — справиться о тетке, просить за Аннету, — и стояла перед ним в молчании и смущении.

Затворив дверь, он стал упрекать ее за низость, в которой она вовсе не была виновна, и

сурово спросил, что именно она подслушала? Это обвинение сразу привело ей на память цель ее прихода. Она сказала, что пришла сюда вовсе не с намерением подслушивать его разговоры, а умолять его сжалиться над ее теткой и над Аннетой!.. Монтони, казалось, не доверял этим словам; он пронизывал ее пытливым взглядом. Тогда Эмилия объяснилась подробнее и закончила просьбой, чтобы он сообщил ей, где заключена ее тетка, и разрешил посетить ее; но он только взглянул на нее со злобной усмешкой, которая сразу подтвердила ее худшие опасения насчет ее родственницы; после этого она не в силах была повторить свои мольбы.

— Что касается Аннеты, — сказал Монтони, — то можете обратиться к Карло — он освободит ее: тот дурак, что запер ее, умер вчера.

Эмилия задрожала.

— А что же с тетей, синьор? скажите мне про тетю?

— О ней позаботятся, — поспешно отвечал Монтони. — Мне некогда отвечать на праздные вопросы.

Он хотел пройти мимо, но Эмилия тоном отчаяния, против которого невозможно было устоять, молила его сообщить ей, где находится г-жа Монтони; пока он стоял в раздумье, а она с тоскою наблюдала его лицо, вдруг раздался звук рога; в ту же минуту Эмилия услышала, что открываются тяжелые ворота, а затем раздался стук лошадиных копыт во дворе и шумный говор многих голосов. С минуту она простояла в колебании — идти ли ей следом за Монтони, который при первых же звуках рога вышел в сени; устремив взор в ту сторону, откуда послышался звук, она увидела в дверь, сквозь длинную перспективу арок, во дворе целый отряд всадников, которые показались ей, — насколько она могла судить издали, да еще в своем волнении, — как будто теми самими, что уезжали из замка несколько дней тому назад. Но она не успела рассмотреть их; раздался вторично звук рога, все гости выскочили из кедровой залы, и со всех концов замка сбежались люди в сени. Эмилия опять поспешила уйти в свою комнату, и там ее преследовали страшные картины. Она вспоминала слова и тон Монтони, когда он говорил со своей женой, и это только подтверждало ее ужасные подозрения. Слезы давно уже перестали облегчать ее горе; долго просидела она, углубленная в размышления, как вдруг ее вывел из задумчивости стук в дверь; она отперла и увидела старого Карло.

— Милая моя барышня, — начал он, — у меня было столько хлопот, что до сей поры я о вас-то и не вспомнил; вот я принес вам немного фруктов и вина, — наверное, вы очень нуждаетесь в подкреплении.

— Спасибо, Карло, как это мило с вашей стороны. Вероятно, сам синьор напомнил вам обо мне?

— Нет, синьора, у эчеленцы и без того полны руки дела.

Эмилия повторила свои расспросы относительно г-жи Монтони, но Карло был занят в другом конце замка как раз в то время, когда ее схватили, и с тех пор он ничего про нее не слыхал.

Пока он говорил, Эмилия пристально смотрела на него; она не могла понять, действительно ли он ничего не знает или только притворяется незнающим, чтобы не прогневать своего господина. На несколько вопросов относительно вчерашних стычек он дал ей весьма сдержанные ответы, но сказал, однако, что теперь все раздоры улажены полюбовно и синьор признается, что ошибался, подозревая своих гостей.

— Из-за этого и произошло столкновение, — заявил Карло, — но я надеюсь, что такого дня не повторится в замке, хотя тут творятся престранные вещи...

На ее вопрос, что это значит, Карло отвечал:

— Ах, синьора, не мне выдавать чужие секреты и говорить все, что я думаю, — но, погодите, время покажет.

Тогда Эмилия попросила освободить Аннету, описав ту комнату, где была заперта бедная девушка; Карло обещал сделать это немедленно и уже уходил, как вдруг она вспомнила, что надо узнать, кто эти только что приехавшие люди? Ее догадка оказалась

верной — это был Верецци со своим отрядом.

Эмилия несколько успокоилась после краткого разговора с Карло; при теперешнем ее положении ей доставляло облегчение слышать слова сострадания и видеть сочувствующие взгляды.

Прошло не менее часа, прежде чем появилась Аннета; она плакала и рыдала.

— О, Людовико, о, Людовико! — кричала она.

— Бедная моя Аннета, — сказала Эмилия и ласково усадила ее.

— Кто бы это мог предвидеть, барышня? О, злосчастный день! И дожила же я до такой беды!

Она продолжала стонать и причитать. Наконец Эмилия нашла нужным как-нибудь пресечь ее чрезмерное горе.

— Всем нам случается терять дорогих сердцу людей, — проговорила она со вздохом, исходившим из глубины души. — Надо покоряться воле Божией — слезами мы, увы! не можем воскресить мертвых!

Аннета отняла платок от глаз.

— Ты встретишься с Людовико в лучшем мире, я надеюсь, — прибавила Эмилия.

— Да, да, барышня, — рыдала Аннета, — и я надеюсь, что мы с ним встретимся и в здешнем, хотя он так опасно ранен...

— Ранен! — воскликнула Эмилия, — да разве он жив?

— Жив! святые угодники! Конечно жив и наверное не умрет! Сперва думали, что он уже мертв, и действительно, он не приходил в себя вот до сих пор...

Эмилия выразила надежду, что все окончится благополучно, но на Аннету эти слова не подействовали успокоительно — напротив, ее тревога усиливалась по мере того, как Эмилия старалась ее ободрить. На ее вопреку относительно г-жи Монтони девушка ничего не могла ответить толком.

— Я совсем забыла спросить у слуг, барышня. Я ни о чем не могла думать, как о бедном Людовико!..

Горе Аннеты несколько улеглось, и Эмилия послала ее навести справки о ее госпоже; но ей ничего не удалось разузнать — некоторые люди из тех, к кому она обращалась, в самом деле ничего не знали, другие же, вероятно, получили приказание молчать.

Весь день Эмилия провела в тоске и беспокойстве за тетку; но ее не тревожили со стороны Монтони, и теперь, когда Аннета была на свободе, Эмилия получала пищу, не подвергалась ни опасности, ни оскорблениям.

Два следующих дня прошли таким же образом, не случилось ничего особенного; Эмилия по-прежнему не получила никаких известий о г-же Монтони. Вечером второго дня, отпустив Аннету и улегшись в постель, Эмилия не могла заснуть; перед нею носились самые мрачные видения, касающиеся судьбы несчастной тетки. Не имея возможности забыться ни на минуту, или отогнать мучительные кошмары, она встала с постели и подошла к одйому из окон, чтобы подышать свежим воздухом.

Кругом было тихо и темно, при слабом мерцании звезд смутно обрисовывались очертания гор, западных башен замка и террасы внизу, по которой шагал одинокий часовой. Какая картина покоя! Свирепые, жестокие страсти, захватившие обитателей замка, также, казалось, замерли и притихли. В сердце Эмилии не было покоя, но и в страданиях, при всей их глубине, сказывалась ее кроткая душа. Горе ее было тихое, терпеливое, — это не была дикая энергия страсти, распаляющей воображение, разрушающей преграды рассудка, живущей в собственном мире.

Чистый воздух освежил ее, пока она стояла у окна, глядя на окутанную мраком окрестность, над которой ясным блеском горели звезды в темно-синем эфире, безмолвно преследуя свой намеченный путь. Вспомнилось ей, как часто она любовалась планетами со своим дорогим отцом, как бывало он указывал ей путь и законы движения каждой из них. Эти размышления вызвали в ней другие воспоминания, столь же тяжелые и полные горечи.

Снова пронеслись перед нею все странные и печальные события, пережитые ею со

времени смерти ее родителей. Для Эмилии, так тщательно воспитанной, всегда так нежно любимой, ничего не выдавшей кроме доброты и счастья, эти последние события и ее теперешнее положение на чужбине, в глухом замке, окруженной преступлением и пороком, — все это казалось видением расстроенного воображения, а не действительностью. Она заплакала при мысли, как сильно страдали бы ее родители, если бы могли предвидеть, что ожидало ее в жизни.

Подняв к небу глаза, полные слез, она заметила над восточными башнями замка ту же самую планету, которую видела в Лангедоке, в ночь накануне смерти отца, и припомнила разговор, происходивший в то время между нею и отцом о вероятном состоянии душ умерших, припомнила и торжественную музыку, которую она слышала и которой ее любящее сердце придавало, вопреки разуму, какое-то сверхъестественное значение. При этих воспоминаниях она опять заплакала и глубоко задумалась, как вдруг в воздухе пронеслись звуки прелестной музыки... Суеверный страх охватил Эмилию; она стояла несколько мгновений, прислушиваясь в трепетном ожидании, потом пыталась бороться с мыслями и с помощью рассудка заставить себя успокоиться; но человеческий разум не в состоянии устанавливать законы для вещей, теряющихся в туманных областях фантазии, точно так же как глаз не может различить форму предметов, только мелькающих среди тьмы ночной.

Ее удивление, когда она услышала эти стройные, прелестные звуки, было вполне понятно; давным-давно она не слыхивала ничего похожего на мелодию. Резкие трубы и дудки — вот единственные инструменты, которые ей доводилось слышать со времени приезда в Удольфо.

Когда ее чувства пришли в порядок, она старалась удостовериться, откуда несутся звуки; ей показалось, что снизу; но из подвалов замка или с террасы, она хорошенько не сумела определить.

Страх и удивление тотчас уступили место очарованию под влиянием мелодии, струившейся в тиши ночной с печальной, обворожительной прелестью. И вот мелодия стала отдаляться, слабо затрепетала и смолкла окончательно.

Эмилия все прислушивалась, погруженная в то сладостное спокойствие, какое всегда навеивает тихая музыка, но звуки уже не повторялись. Мысли ее долго не могли оторваться от этого странного явления; конечно очень странно было слышать музыку в глухую полночь, когда все обитатели замка давно отошли на покой, и в таком месте, где, вероятно, многие годы не раздавалось ни одного звука музыки. Долгие страдания сделали Эмилию особенно чувствительной к страху и способной воспринимать суеверные представления. Ей показалось, как будто дух ее отца беседовал с нею при посредстве этой мелодии, чтобы внушить ей мужество и утешение. Однако рассудок говорил ей, что это — дикое предположение, и она старалась отогнать его от себя; но с непоследовательностью, вполне естественной в тех случаях, когда мыслями руководит фантазия, она ударилась в другое предположение, столь же дикое. Она припомнила странное событие, связанное с замком, событие, благодаря которому замок перешел в руки теперешнего владельца, и, приняв во внимание странный способ исчезновения бывшей владелицы замка, она почувствовала священный ужас; так что, хотя, по-видимому, не было никакой связи между этим событием и слышанной ею таинственной музыкой, она склонна была вообразить, что они имеют какое-то отношение друг к другу. При этой мысли холодная дрожь пробежала по ее телу; она боязливо оглянулась назад в свою темную комнату: царившая там мертвая тишина еще усугубляла мрачность спальни.

Наконец она отошла от окна; но, подходя к постели, она едва устояла на ногах и пугливо оглянулась вокруг. Единственная лампа, освещавшая обширную комнату, погасла; на минуту Эмилии стало жутко окружающей темноты; но вслед затем, устыдившись своей слабости, которой она, однако, не в состоянии была победить, она направилась к постели. Забыться сном ей удалось не скоро. В голову лезли мысли о недавних происшествиях; ей страстно хотелось поскорее дожить до завтрашнего дня и услышать ту же музыку.

«Если эти звуки не были сверхъестественными, — размышляла она, — я вероятно опять услышу их».